

АКАДЕМИЯ НАУК СССР
Ордена Дружбы народов
Институт этнографии им. Н. Н. Миклухо-Маклая

Л. Е. Куббель

Очерки потестарно- политической этнографии

Издательство «Наука»
Главная редакция восточной литературы
Москва 1988

Ответственный редактор
А. И. ПЕРШИЦ

Рецензенты
С. Я. КОЗЛОВ, Л. И. РЕИСНЕР

Книга посвящена потестарно-политической этнографии — этнографической субдисциплине, предметом изучения которой служат отношения власти и руководства обществом в докапиталистических общественных организациях, преимущественно предклассовых и раннеклассовых. Рассмотрены предметная зона этой субдисциплины, ее понятийно-терминологический аппарат, понятие потестарной и политической культуры и его содержания и другие вопросы.

Книге предпослан краткий обзор развития потестарно-политической этнографии у нас в стране и ее аналога — политической антропологии — за рубежом.

. 0508000000-082

013(02)-88

К -----46-88

Главная редакция восточной литературы
издательства «Наука», 1988.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Работа, предлагаемая вниманию читателя, посвящена достаточно специфичной отрасли этнографической науки, сформировавшейся в самостоятельную субдисциплину сравнительно недолго, менее полувека назад. Эта субдисциплина занимается традиционными отношениями власти и властвования в докапиталистических, преимущественно доклассовых и раннеклассовых, общественных организациях. В круг ее интересов входят как сами эти отношения, так и сопряженные с ними институты и системы: их задачи, формирование, структура и функционирование, а также сравнительное изучение таких отношений, институтов и связанных с ними процессов в разных обществах, классификация и типологизация их. В наши дни предметная зона данной субдисциплины существенно расширяется за счет включения в нее проблемы, которая может быть обозначена как соотношение традиционного и современного в указанной сфере общественной жизни.

Проблемы руководства обществом, складывания политической, т. е. государственной, организации и соответствующих ей структур, как объективных, так и субъективных, общественно-психологических, точно так же как и вопросы исторической преемственности в эволюции этой сферы жизни человеческого общества, отнюдь не чужды марксистской науке. Хорошо известно, что ими много и углубленно занимались создатели марксистско-ленинской теории общественного развития. Но рассмотрите этой проблематики происходило главным образом на общетеоретическом уровне, а при конкретном исследовании внимание концентрировалось почти исключительно на развитых классовых обществах, прежде всего капиталистическом. После победы Великой Октябрьской социалистической революции объектом конкретного изучения сделалась также политическая жизнь и политическая организация социалистического общества, а после образования мировой социалистической системы стало возможно такое изучение политической организации социализма и на более широком фактическом материале. Однако все такие работы велись почти исключительно в русле политической науки — политологии. Специальному же этнографическому исследованию всех обозначенных выше вопросов в советской литературе не уделялось внимания практически до середины 70-х годов. Соответственно до этого времени в нашей науке не было и термина для обозначения той области этнографии, той этнографической субдисциплины, которой надлежит заниматься очерченным выше кругом проблем. Лишь в конце последнего

десятилетия был предложен термин «потестарная (от лат. *potestas* — «власть») и политическая»¹.

Содержание этого термина, равно как и обозначаемого им понятия, будет рассмотрено в дальнейшем (так же как и некоторые употребленные в предшествующем тексте понятия, например традиционный, власть или руководство). Здесь же хотелось бы сказать о том, что в западной науке, где потестарной и политической этнографией начали специально заниматься раньше, чем у нас, соответствующая область исследований носит название «политическая антропология». В кратком Предисловии не место разбирать разницу в объеме понятий «этнография» и «антропология» (в «западном» ее понимании), коль скоро этому посвящена достаточно обширная литература². Но для наших целей стоит подчеркнуть: в области изучения отношений власти и всего с ними связанного расхождения между потестарно-политической этнографией и политической антропологией как раз сравнительно невелики, почему второй термин может рассматриваться как очень близкий аналог первого.

Потестарная и политическая этнография — дисциплина в известном смысле пограничная, лежащая на стыке этнографии и политологии. По-видимому, не случайным совпадением было возрастание числа работ по сути своей политико-этнографических, ибо в них рассматривалась проблема взаимодействия традиционных (при всей условности, а порой и неопределенности этого понятия, что не раз отмечалось и в литературе)³ институтов и структур власти в африканских странах с колониальными административными институтами одновременно с заметным оживлением интереса к вопросам управления обществом и его политической структуры в 70-е годы. Актуальность указанной проблемы для многих развивающихся стран не представляет сомнения. Но само по себе исследование того, как соотносятся в новых исторических условиях новое и традиционное, невозможно без достаточно серьезного представления о том, что же такое это традиционное на самом деле, каковы закономерности его эволюции и сегодняшней трансформации?

Задачей настоящей работы, естественно, не может быть исчерпывающее исследование всех выдвигавшихся и выдвигаемых ныне проблем в области потестарно-политической этнографии и связанных с этим концепций. Ее цель скорее очертить главные из таких проблем, в частности: соотношение общего и особенного в формировании политической организации, государства; соотношение объективного и субъективного моментов в становлении власти вообще и ее последующей институционализации; соотношение этнического (этнокультурного) и потестарно-политического в историческом развитии; тенденции и формы взаимодействия традиционных и современных потестарных и политических институтов и структур в наши дни; наконец, важной задачей представляется критический анализ политико-антропологических теорий, выдвигаемых в зарубежной науке.

Особое место занимает в книге рассмотрение такого важнейшего при этнографическом анализе явления, как потестарная и политическая культура. Собственно говоря, именно эта категория кладется в основу авторского подхода к затрагиваемым в работе вопросам. Такой подход, насколько можно судить по литературе, нехарактерен для зарубежной политической антропологии: политическая культура остается там главным образом сферой интересов политологии.

Итак, как раз в попытке рассмотреть проблематику потестарно-политической этнографии «через» потестарно-политическую культуру и заключается главное отличие предлагаемой вниманию читателя книги. Соответственным образом строится и ее структура. После краткого историографического Введения в гл. 1 рассматриваются предмет и понятийный аппарат потестарно-политической этнографии — такие категории, как власть, руководство, авторитет и др. Последующие главы, со 2-й по 4-ю, посвящены анализу феномена потестарной и политической культуры, взятого самого по себе, и важнейшим его составляющим: формам обеспечения субъективного аспекта и объективным формам реализации.

Такой анализ позволяет коснуться проблемы, которая, с одной стороны, непосредственно связана с функционированием потестарно-политической культуры, а с другой — имеет и определенное общетеоретическое значение: соотношения потестарно-политического и этнического моментов в истории докапиталистических этносоциальных организмов (эсо)⁴. Эта проблема трактуется в гл. 5.

И наконец, завершает книгу глава, в которой предпринята попытка показать в общем виде принципиальные закономерности и некоторые конкретные результаты взаимодействия традиционной (т. е. в интересующем нас контексте — докапиталистической) потестарной и политической культуры народов освобожденных стран с развитой политической культурой сначала капиталистического, а в последние три десятилетия и социалистического общества.

Конечно, в такого рода работе та или иная степень «перекрещивания» с трудами зарубежных исследователей была неизбежна уже просто в силу чисто объективных причин, связанных с отбором материала и общностью проблематики. Кроме того, в изучении немалой доли этой проблематики приоритет иностранных ученых бесспорен. В частности, это можно сказать о научном творчестве французского этнографа и социолога Ж. Баландые. Ведь именно он в своей книге «Политическая антропология», первое издание которой увидело свет в 1967 г.⁵, впервые в мировой науке обрисовал едва ли не с исчерпывающей полнотой только что представленный читателю круг вопросов, подлежащих ныне первоочередному изучению в политической антропологии. Многие тезисы Ж. Баландые полностью сохраняют свое научное значение и два десятилетия спустя. И избе-

жать определенного сходства с его работами было просто невозможно, коль скоро речь шла об одних и тех же сюжетах. Тем более в некоторых случаях одним и тем же оказывался фактический базис выдвигаемых концепций.

Последнее обстоятельство также легкообъяснимо. Помимо того что африканский материал ближе автору предлагаемой работы в силу его профессиональных интересов, стало уже своего рода общим местом утверждение, что Тропическая Африка во многих отношениях предоставляет исследователю широчайшую и весьма репрезентативную гамму вариантов докапиталистического общественного развития. Это действительно так, и само становление политической антропологии на Западе строилось едва ли не главным образом на африканских фактах. Именно поэтому я и строил свою аргументацию преимущественно на данных, относящихся к народам Африканского континента (это, конечно, ни в коей мере не исключало обращения в необходимых случаях к материалам азиатским, океанийским или американским).

И наконец, последнее замечание. Книга построена на фактическом материале, собранном этнографами, представлявшими разные национальные научные школы, на протяжении более полувека, а в иных случаях — и в прошлом веке. Естественно, рассматривавшиеся в их исследованиях общества должны были претерпеть немалые изменения, особенно в послевоенный период, причем темп таких изменений все время нарастал. К тому же во многих случаях ощутимые перемены произошли уже к моменту контакта антрополога или этнолога с изучавшимся им обществом. Иначе говоря, принятая тогда в большинстве случаев западными учеными концепция «этнографического настоящего времени» (*ethnographic present*) была некорректна уже в то время⁶. Однако, хотя внимание наших зарубежных коллег с тех пор и обратилось преимущественно к динамике, мы, впрочем, далеко не всегда можем точно оценить степень трансформации того или иного эсо к нашему времени. Во-вторых же, не секрет, что многие черты традиционной общественной организации и традиционной культуры в освободившихся странах обнаруживают завидную устойчивость и сохраняются в качестве активных элементов жизни общества и поныне. Поэтому при описании таких черт вполне уместным оказывается употребление настоящего времени глагола даже в тех случаях, когда в общеисторическом смысле описываемые явления относятся иной раз к весьма отдаленному прошлому.

Считаю приятным долгом выразить самую искреннюю признательность своим коллегам из Сектора проблем истории первобытного общества и Сектора Африки Института этнографии АН СССР. Без постоянного и неизменно плодотворного обмена мнениями с ними появление предлагаемой читателю книги скорее всего было бы вообще невозможно.

ВВЕДЕНИЕ

ИЗ ИСТОРИИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭТНОГРАФИИ / АНТРОПОЛОГИИ

Научные историки изучают проблемы — они ставят вопросы и, если они хорошие историки, задают такие вопросы, на которые можно получить ответ.

Р. Дж. Коллингвуд. Идея истории

1. Говоря о развитии политической (и потестарной, о чем еще будет речь далее) этнографии, приходится с самого начала подчеркнуть обстоятельство, не слишком частое в истории науки (хотя и не уникальное). Политическая антропология на Западе (как уже говорилось, я буду использовать этот термин как аналог нашему «потестарно-политическая этнография») в научной традиции имеет четко зафиксированную дату рождения. Такой датой принято считать 1940 г., когда увидели свет сразу три книги, в которых были поставлены многие важные теоретические вопросы, связанные с организацией власти в некоторых африканских обществах, ее функционированием и институционализацией: «Нуэры» и «Политическая организация ануаков Англо-Египетского Судана» Э. Эванс-Причарда и «Африканские политические системы» — коллективный труд британских социальных антропологов под общей редакцией того же Э. Эванс-Причарда и М. Фортеса¹.

Несомненно, однако, корни новой этнографической субдисциплины уходят во времена намного раньше 30—40-х годов нашего века. Если не углубляться слишком далеко, то, пожалуй, самой ранней политико-антропологической работой придется считать «Лигу ирокезов» Л. Моргана; во многом может быть так охарактеризован основной труд Г. Мейна «Древний закон»; и уж конечно, как политико-антропологическое исследование следует рассматривать и книгу Р. Лоуи «Возникновение государства»². Причем речь идет в данном случае о трудах, написанных этнографами или построенных главным образом на этнографических материалах. Если же иметь в виду и те, какие созданы скорее в рамках общей политологии, как мы определили бы сейчас, скажем, вспомнить хотя бы имена Л. Гумпловича или Ф. Оппенгеймера, то число публикаций, которые можно так или иначе отнести к политико-антропологической проблематике, намного увеличится. Тем не менее справедливо, что в качестве особой отрасли этнографической науки (социальной антропологии британской и американской номенклатуре) исследование

традиционной власти и всего с нею связанного стало восприниматься именно после 1940 г. Хотя и здесь стоит оговориться: само ее название впервые было введено в обиход только в 1959 г. американским антропологом Д. Истоном³. К этому времени уже существовала школа политической антропологии в Великобритании, началось формирование таких школ в США и во Франции.

Если говорить о предпосылках, обусловивших конституирование политической антропологии в качестве самостоятельной антропологической (этнографической) дисциплины, то придется отметить, что помимо объективной логики развития науки немаловажную роль сыграли сугубо практические потребности европейских колониальных держав. Вопрос о роли западно-европейской этнологии (во Франции, Бельгии и Португалии) и социальной антропологии (в Великобритании) при становлении колониального управления достаточно сложен. Несомненно, не когда распространенные в нашей литературе взгляды на эти науки как на чуть ли не составную часть системы колониального управления⁴ рисовали значительно упрощенную картину реального положения дел. Этнографическая наука в странах Запада, конкретные исследователи, как правило, не принимали участия в организации управления колониями, эту задачу решали «практики» колониализма, и отношение их к науке бывало весьма нередко скептическим, а то и недоброжелательным⁵. Но в то же время бесспорно и другое: когда в колониях административная система более или менее устоялась, наметилась вполне определенная тенденция к использованию данных этнографических исследований для ее совершенствования. И именно к этому времени и относится формирование политической антропологии, которая может в немалой степени рассматриваться как порождение упоминавшейся только что тенденции, как определенная форма выполнения «социального заказа» — во всяком случае, в том, что касается ее объективного значения.

В наибольшей степени это проявилось в истории британской политической антропологии, имеющей к нашему времени самый продолжительный научный «стаж», если можно так выразиться. С самого начала ее характеризовал повышенный интерес к структурам и институтам власти; это вытекало из практически-политических нужд колониальной администрации. Широко распространенная в колониях Великобритании система так называемого «непрямого» управления (*indirect rule*) требовала основательного знакомства с «туземными» (*native*) социальными и потестарно-политическими установлениями, которые предполагалось в том или ином виде использовать. Причем вопрос этот был особенно актуален в африканских условиях, где богатейший опыт «непрямого» управления, накопленный британцами в Азии на протяжении XVIII—XIX вв. в обстановке обществ, гораздо более развитых, нежели африканские, зачастую не «срабатывал». При этом политико-антропологические штудии

оказали немалое обратное влияние на теоретические построения британской социальной антропологии. Именно они в большой мере послужили стимулом к тому сближению в британской науке функционалистского и структуралистского подхода, которым отмечено, например, научное творчество такого исследователя, как А. Рэдклиф-Браун, особенно в последний период его жизни⁶.

Британцы были не одиноки в использовании традиционных социальных и политических институтов, их приспособлении к нуждам колониальной администрации. Можно сказать, что так или иначе, но практически всем колониальным державам приходилось это делать, невзирая зачастую на официально принятую концепцию управления колониями. Даже французские колониалагоры, казалось бы всего последовательнее проводившие в жизнь принцип «прямого» управления, и те были вынуждены принимать как некую данность и в определенной степени на нее опираться традиционную политическую организацию народа моси на территории нынешней Буркина Фасо. Еще большим опытом использования «туземных» правителей в колониях располагали португальцы, привлекать этих правителей в качестве низшего звена администрации пробовали и немцы в период существования германских колоний (в частности, в материковой части нынешней Танзании наблюдалась довольно любопытная преемственность между формами германского колониального управления и теми, какие стали вводить британские власти, получив по Версальскому миру мандат на управление Танганьикой⁷). Специфичен, хотя и весьма богат, был опыт использования и приспособления традиционных социально-политических институтов к нуждам колониального управления, накопленный нидерландской администрацией в Индонезии. Но в голландской науке в отличие от британской исследование этих институтов приняло по преимуществу форму изучения мусульманских норм и идейных течений в жизни индонезийского общества⁸.

Таким образом, исторически сложилось, что становление западной политической антропологии в 40-х и начале 50-х годов происходило преимущественно на основе исследования африканских обществ — именно на нем выросла «классическая» британская школа, представленная помимо уже названных именами М. Смита, Дж. Барнса, Л. Мэр, М. Глакмена и др. В рамках этой школы работали и такие американские исследователи, как Э. Саутхолл и Л. Фоллерс, начинавшие с анализа потестарно-политической организации африканских народов алур и сога. Пожалуй, единственным примером политико-антропологического труда, построенного не на африканском, а на азиатском материале, оказалась в этот период классическая книга Э. Лича о политической организации бирманских кайнов⁹.

Со второй половины 50-х годов началось быстрое расшире-

ние географического ареала, в котором стали осуществляться политико-антропологические исследования: включением сначала Южной Азии (в частности, на материале народов Индостанского полуострова построены еще одна классическая работа британской политантропологии — книга Ф. Бейли об общих проблемах изучения политической деятельности — и, пожалуй, не менее известное исследование норвежского ученого Ф. Барта о политической организации пуштунских племен¹⁰), а затем также и Океании и Нового Света, прежде всего Латинской Америки. Причем в этих исследованиях все более активную роль стали играть ученые других стран, в первую очередь американские.

Если говорить об общетеоретических основах западной политической антропологии, то на первых порах новая этнографическая субдисциплина не выделялась в этом отношении сколько-нибудь заметно среди прочих гуманитарных наук, развивавшихся на немарксистской методологической базе. Например, британская политическая антропология, с одной стороны, обычно старательно ограничивалась чисто эмпирическим подходом, избегая по возможности каких-либо теоретических обобщений (сказывалось длительное господство функционализма в социальной антропологии вообще). Применимость к изучению традиционных потестарно-политических институтов и структур какой бы то ни было общесоциологической теории иной раз отвергалась с самого начала, в этом смысле характерны Предисловие А. Р. Рэдклиф-Брауна и первые же страницы Введения М. Фортеса и Э. Эванс-Причарда к «Африканским политическим системам»¹¹. Концепция сегментного общества, сформулированная Э. Эванс-Причардом в «Нуэрах» (более подробно о ней будет речь в последующих разделах книги), подчеркнута рассматривается самим ее творцом как теория, создаваемая на пустом месте, ибо общей антропологической теории, говорит Эванс-Причард, не существует¹².

И в то же время параллельно с этим британские политантропологи раннего периода, т. е. примерно до середины 50-х годов, в подавляющем большинстве в неявной форме исходили из созданной Максом Вебером концепции «чистых типов» политической власти. О взглядах М. Вебера нам тоже придется говорить в дальнейшем, пока же замечу, что его влияние достаточно заметно было в британской антропологии вплоть до второй половины 60-х годов¹³. И пожалуй, самой «веберианской» стала из всех работ, созданных в русле британской школы политической антропологии в этот период, книга американца Л. Фоллера «Бантуская бюрократия»; в ней Л. Фоллерс рассматривал трансформацию раннеполитических институтов в Бусоге вполне последовательно по М. Веберу: от «традиционной» к «бюрократической» организации власти¹⁴.

С середины 50-х годов начались попытки применения к изучению политических структур концепции «социальной сети», предложенной уже упоминавшимся Дж. Барнсом в 1954 г., при-

чем первым это сделал сам Дж. Варне, и опять-таки на центральноеафриканском материале¹⁵. Можно, видимо, полагать, что само обращение к этой теории отражало, во-первых, ощущавшуюся наукой потребность в общеметодологическом обосновании исследования, а во-вторых, осознание как недостаточности концепции М. Вебера для решения возникавших перед западной, политической антропологией новых задач (определявшихся распадом колониальной системы и процессами взаимодействия традиционных и современных институтов в молодых государствах), так и неспособности британского структурализма служить эффективным орудием анализа диалектики общественного развития.

Критический анализ теории «социальной сети» был проделан в нашей литературе Е. А. Веселкиным¹⁶, и это избавляет меня: от необходимости подробно ее рассматривать. Отмечу только главный методологический порок данной теории: вольно или невольно она используется как противоположность понятию общественно-экономической формации, и личные связи в ней подменяют классовые характеристики. Иными словами, вместо того чтобы идти «от класса» (что особенно важно в исследованиях политико-антропологического и политологического характера!), теория «социальной сети» идет «от индивида». Тем самым объективное и всестороннее рассмотрение процессов осуществления власти, реализации властных отношений делается невозможным..

Собственно говоря, само обращение к понятию «социальной сети» для применения ее к политико-антропологическому исследованию есть проявление сближения антропологических, т. е. с известными оговорками этнографических, исследований с социологическими. Подобная тенденция, несомненно, универсальна в науке. В исследованиях же по политической антропологии она в огромной степени вытекает из того, что важнейшее значение — не только научное, но прежде всего практически-политическое — приобрела проблема интеграции традиционных социопотестарных и политических структур в развивающихся странах и новые политические институты, представляющие независимое (и по своим функциям национальное) государство.

Естественно, такое сближение социологии и политической антропологии, даже будучи явлением универсальным, происходит на Западе в разных странах по-разному, в зависимости от сложившихся в их этнографической науке традиций.

Так, если рассматривать политико-антропологические исследования во Франции, то в общем мы сможем увидеть в них достаточно ощутимое влияние марксистской теории. В то же время хронологически конституирование политической антропологии как самостоятельной субдисциплины этнологии/этнографии здесь довольно заметно запаздывало по сравнению с Великобританией. Это в немалой степени объяснялось господствовавшими во французском колониализме формой «прямого» управления, которая, с точки зрения администрации, делала в принципе

ненужным изучение отношений и структур власти у «подданных», коих надлежало усилиями этой администрации поднимать к вершинам европейской культуры, и, так сказать, с порога отметала эти отношения и структуры как «варварские». Но это же обусловило и органическую связь политико-антропологических исследований с историческими: первые в качестве составной части входили во вторые, это очень хорошо видно в трудах классиков французской этнологии, таких, как африканисты М. Делафосс и Ш. Монтей или океанист М. Леенар.

Со своей стороны, послевоенное поколение французских историков и этнологов не могло не испытать прогрессивное влияние школы «Анналов», в частности идей основателей этого журнала М. Блока и Л. Февра. Все эти обстоятельства обусловили, во-первых, несомненное преобладание историзма в политико-антропологических исследованиях, проводимых во Франции, во-вторых (как развитие и логическое следствие этого), свойственный французской науке интерес к рассмотрению традиционных форм потестарно-политических отношений в неразрывной связи с отношениями социально-экономическими. Одной из конкретных форм проявления последней тенденции представляется активное изучение форм зависимости в традиционных обществах в связи с развитием отношений власти и властвования в этих обществах; как пример можно назвать работы Ж. Макэ, Ж. Ломбара и многих других¹⁷.

Французской науке в лице Ж. Баландье принадлежал приоритет в постановке перед западными исследователями проблемы адаптации и инкорпорации традиционных потестарных и политических институтов и структур в новых исторических условиях, сложившихся в развивающихся странах, причем как проблема не только практической, но и нуждающейся в теоретическом осмыслении¹⁸. И тот же Ж. Баландье — пожалуй, первым на Западе — попробовал очертить круг вопросов, которые относятся к сфере политической антропологии как самостоятельной отрасли этнографической науки. Таким образом, высказанное «неомарксистом» Н. Пуланцасом обвинение французской науки в «теоретическом провинциализме» едва ли может быть отнесено к французской политической антропологии¹⁹.

Развитие политико-антропологических исследований в США с 60-х годов протекает как бы в двух главных направлениях. Одно из них сформировалось сравнительно недавно и шло от социологии к антропологии, и о том вполне откровенно говорили представляющие его ученые. Связь с социологией выразилась здесь прежде всего в том, что в работах данного направления нашло широкое применение понятие «политического поля», а само внимание исследователей обращено главным образом не столько на структуры и институты, связанные с осуществлением власти, сколько на цели, формы и процессы политической деятельности (political action). Концепция «политического поля» есть в общем развитие и приложение к потестарно-полити-

ческой сфере жизни общества концепции «социального поля», восходящей к А. Р. Рэдклиф-Брауну²⁰ и позднее успешно разрабатывавшейся именно британскими политантропологамиафриканистами. Четкую формулировку того, что имеется в виду при таком подходе, дали редакторы первого в США сборника, озаглавленного «Политическая антропология»; предмет последней они определяли как изучение отношений между лицами и группами, образующими «политическое поле». При этом, подчеркивали они, имеются в виду прежде всего процессы, поэтому «важно сосредоточить внимание более на этих процессах, нежели на тех группах или полях, в рамках которых они протекают»²¹. Но в пределах таких процессов авторы обнаружили склонность все более рассматривать политическую деятельность как бы в сугубо формальных рамках, сопоставляя при изучении общественные организмы, представляющие совершенно разные стадии социально-экономического развития. К тому же исследование строилось преимущественно вокруг анализа индивидуальной психологической реакции на происходящее в «поле». Эта последняя тенденция характеризовала и другие американские работы, в том числе и ту статью Д. Истона, в которой впервые было употреблено словосочетание «политическая антропология» для обозначений новой отрасли науки. Такие взгляды подвергались вполне обоснованной критике²², в первую очередь за то, что при подобном подходе к проблеме зачастую вообще оказывается невозможно нарисовать сколько-нибудь убедительную картину эволюции потестарных или политических институтов и структур общества.

Рассмотренное выше направление политико-антропологических исследований все более сближается с политологией. В результате образуется как бы промежуточная зона, к которой можно отнести многие из американских работ, они оказываются в равной мере актуальны и для политической антропологии (или политической этнографии, как она была определена в Предисловии), и для собственно политической науки. Таковы труды, касающиеся прежде всего таких сюжетов, как общие проблемы теории власти, политическая культура, адаптация/интеграция традиционных институтов и т. п.²³

Но наряду с этим с начала 60-х годов в рамках становления американского неозолуционизма сложилось и другое направление политико-антропологических исследований, которое для нас представляет в данном случае, пожалуй, больший интерес. Характерной его чертой было то, что внимание здесь сосредоточено главным образом вокруг проблемы возникновения государства и социально-экономических и культурных предпосылок его появления. Это свидетельствует, с одной стороны, о преемственности по отношению к упоминавшейся ранее, например, работе Р. Лоуи, а с другой — и это сейчас существеннее — о неудовлетворенности традиционным для более ранней англоязычной антропологической литературы решением вопроса о происхождении

государства «по Оппенгеймеру», т. е. в результате завоевания. Общетеоретические основы американской этнографической науки подробно рассматривались в книге Ю. П. Аверкиевой, к которой я и отсылаю читателя²⁴. Для наших же целей более важны непосредственно этнографические концепции, легшие в основу нового этапа политико-антропологических исследований в американской науке. В самом общем виде такими концепциями могут считаться тезис об уровнях социокультурной интеграции, высказанный Дж. Стюардом в 1955 г., и созданная на этой основе шкала таких уровней, начиная от локальной группы (band), предложенная в 1962 г. Г. Э. Сервисом²⁵. Именно на этой базе была разработана в 60-е годы уже специально политико-антропологическая модель М. Фрида, включающая эгалитарное, ранжированное и стратифицированное общества как последовательные ступени, предшествующие государственной организации²⁶. Отдельные элементы этой модели в последние годы подверглись в зарубежной литературе довольно обоснованной критике²⁷. Можно также заметить, что стратифицированное общество допускает возможность рассмотрения его в качестве зарождающегося государства. В целом, однако, концепция М. Фрида остается достаточна, эффективным рабочим инструментом потестарно/политико-этнографического исследования.

Концепции Дж. Стюарда и Э. Сервиса отличает несомненная противоречивость. С одной стороны, они имеют совершенно определенную идеологическую направленность, так как первая выдвигалась в противовес марксистскому представлению о принципиальном единстве и закономерности всемирно-исторического процесса (с этой точки зрения характерен подзаголовок книги Дж. Стюарда — «Теория многолинейной эволюции»), а вторая объективно, а у иных авторов и намеренно противостоит марксистской концепции общественно-экономических формаций, подменяя четкие социально-экономические критерии типологии уровнями структурной сложности. Но, с другой стороны, взгляды Дж. Стюарда и Э. Сервиса были в какой-то мере отражением объективной потребности в новом осмыслении накопленного наукой фактического материала по сравнению с традиционными построениями американской буржуазной науки. И в таком своем качестве они оказались полезны для дальнейшего развития политике-антропологических исследований.

Упомянутая только что модель М. Фрида (с последующими ее модификациями, прежде всего с «изъятием» из нее такой ступени эволюции, как племя, с чем согласны далеко не все ее сторонники) легла в основу большинства более поздних зарубежных работ по политической антропологии, причем не только в США, но и в других странах Запада, включая даже консервативную Великобританию²⁸. Вводимая этой моделью четкая и достаточно объективно привязанная к эволюции экономического базиса общества последовательность ступеней эволюции институтов и структур власти дала возможность поставить

и подвергнуть серьезному анализу другие важные аспекты становления политической организации (в марксистско-ленинском её понимании, т. е. организации власти, свойственной классовому обществу), например вопрос о спонтанном или стимулированном характере политогенеза («первичные» и «вторичные» государства) или о роли «идеального» в становлении классовых отношений. Эти и многие другие вопросы служат объектом неизменного внимания таких исследователей, как американцы Р. Коэн и М. Салинз, голландец Х. Классен, француз М. Гольдье, англичанин М. Блок и многие другие.

Одним из важнейших достижений западной политической антропологии в период, последовавший за появлением вышеупомянутой модели М. Фрида, стала, несомненно, разработка проблемы вождества (этот русский аналог англ. *chiefdom* был впервые в отечественной науке предложен в конце 70-х годов²⁹). Речь шла о признании неизбежности такой формы организации отношений власти и властвования, которая предшествовала бы непосредственно складыванию организации государственной. Иными словами, здесь в опосредованной форме проявилось влияние марксистской теории, в частности в анализе вопроса о грани между вождеством и ранним государством. Важность этого вопроса делается очевидной хотя бы потому, что, даже не становясь последовательно на марксистскую точку зрения относительно государства как орудия классового господства, многие зарубежные исследователи вынуждены признавать принципиальное отличие государственности от всех предшествовавших ей форм организации власти и властвования. Это хорошо видно, например, в тех сборниках, посвященных изучению государства, особенно раннего, организатором и редактором которых выступает Х. Классен³⁰. Следует при этом сказать, что сам Х. Классен стремится найти общую почву с марксистами, проявляя серьезный и объективный интерес к их взглядам и привлекая к участию в совместных исследованиях советских этнографов и историков.

Тем не менее при всем несомненном прогрессе, который можно наблюдать в анализе западной наукой проблемы перехода от безгосударственного общества к государственному, сама постановка вопроса о раннем государстве в определенной степени была обусловлена стремлением избежать признания классово антагонистического характера зарождавшейся государственности. Раннее государство как форма общественной организации молчаливо противопоставляется марксистскому понятию раннеклассового общества. По существу, и в данном случае мы имеем дело с дальнейшим развитием отмечавшейся выше тенденции подменять классовые критерии уровнями структурной сложности, хотя признается и наличие «дифференциального доступа» к средствам производства, и существование эксплуатации в разных ее формах. Иногда создается впечатление, что, вплотную подойдя к признанию классового характера государ-

ственности, исследователь не решается переступить последнюю грань, отделяющую его от такого признания; это можно в определенной мере наблюдать и у самого М. Фрида, и у М. Салинза, и у таких исследователей, как, скажем, Л. Крэйдер или Ч. Коттак³¹. Причем в последних случаях (и у многих других авторов) прослеживается также склонность к преувеличению роли экологических переменных, т. е. в конечном счете географического фактора, в процессах формирования государственной организации общества.

В американской науке такая переоценка значения внесоциальных моментов в становлении государства имеет и еще один вариант. Речь идет о направлении политико-антропологических исследований, которое можно обозначить (понятно, с известной долей условности) как энергетическое. Оно представлено прежде всего трудами Р. Н. Адамса, который видит смысл развития структур власти и ее оформления, как и вообще всего общественного развития, в овладении максимальным для данных условий потоком энергии и сохранении контроля над ним. Р. Н. Адаме подчеркивает преемственную связь своей концепции со взглядами Л. Уайта, т. е., по существу, технологическим детерминизмом, который в нашей литературе не раз уже подвергался критике³². Однако у Р. Н. Адамса энергетический подход оказывается гораздо более усложненным, чем у его предшественников. Теоретические построения Р. Н. Адамса до последнего времени, насколько мне известно, не привлекали особого внимания наших этнографов, поэтому позволительно будет остановиться на них несколько подробнее.

Рассматривая общественное развитие с позиций соответствия или несоответствия его основным законам термодинамики, Р. Н. Адаме в основу своего исследовательского подхода кладет теорему, предложенную лауреатом Нобелевской премии по физике И. Пригожиным и гласящую, что при внешних условиях, препятствующих достижению системой равновесного состояния, стационарное ее состояние соответствует минимальному производству энтропии³³. Система не может в принципе достичь равновесия, не перестав существовать. Неравномерный приток энергии вызывает флюктуации в системе, но для ее защиты от нерегулируемых флюктуации в нее «встроены», по определению Р. Н. Адамса, «автокатализаторы», действующие в рамках обратных связей и приспособляемости системы. Такие «автокатализаторы» особенно важны при складывании в обществе новых, более активных структур.

Именно в таком плане рассматривает Р. Н. Адаме вождество и предпосылки его формирования как особой структуры власти. Более высокая концентрация власти требует контроля над большим потоком энергии и преобразования этой энергии. Но простого возрастания потока недостаточно: требуются «автокатализаторы», которые обеспечили бы сохранение этой энергии именно в данных немногих руках. И такими катализаторами

оказываются передача богатства по наследству, наследование по крови, сакрализация правителя, символическая стратификация и т. п. Причем все эти явления возникали и вступали в действие непременно до того, как могло появиться вождество, К тому же вполне возможно, что время от времени вождество «изобретали» заново и с разными «автокатализаторами».

Небезынтересно то, как Р. Н. Адаме формулирует свое отношение к марксистской теории общественного развития. Марксизм, говорит он, это важная попытка создать целостную модель общества в эволюционной перспективе; к тому же он дает и прогноз будущего развития, считать ли это плюсом или нет. Из марксистской теории можно взять многое: особенно важен тезис о том, что историю можно творить, т. е. некий оттенок индетерминизма, позволяющий действующему субъекту влиять на будущий ход событий. Не устраивает же Р. Н. Адамса в марксизме «его неудача в соотнесении себя с нашим растущим пониманием естественного мира»³⁴ (включая экологические и демографические его рамки) — воистину, в чем только не обвиняли марксизм западные ученые!

Не приходится отрицать, что в концепции Р. Н. Адамса присутствуют определенные позитивные моменты, например, его анализ важнейших структурно-функциональных составляющих вождества или стремление надлежащим образом учитывать влияние экологических переменных (это, впрочем, не исключительная заслуга исследователя: внимание к экологии характерно для всего американского неозволюционизма, начиная со Стюарда). Однако в целом его взгляды страдают тем же, пожалуй, типичным для большинства американских исследователей недостатком, что и теория Л. Уайта, — своего рода технологическим фетишизмом, желанием все объяснить и обосновать чисто технологическими причинами. Едва ли стоит доказывать, что такой подход упрощает реальную сложность исторической эволюции человечества, «спрямляя» его действительный путь.

Что же касается отношения Р. Н. Адамса к марксизму — и не только самого Адамса, но и очень многих неозволюционистов, тем более «культурных материалистов» (например, М. Харриса), — то опыт показывает бесперспективность эклектического соединения отдельных марксистских тезисов, вырванных из контекста всего учения, с элементами тех или иных буржуазных теорий. И такую бесперспективность вполне осознают сами же западные ученые-немарксисты. Это очень хорошо, видно по все нарастающему скептицизму в оценках того же культурного материализма³⁵.

В целом картина западной политической антропологии оказывается достаточно пестрой. Несомненно, однако, объективные требования развития науки, интерпретации все более обогащающегося фактического материала подталкивают серьезных ученых в направлении сближения с марксистскими взглядами, хотя, конечно, процесс этот протекает очень противоречиво и

неравномерно. Тем не менее общее его направление становится все более очевидным. Надо сказать, что в последние годы заметно возросла активность действительно марксистов среди западных антропологов, особенно в Европе. При этом как раз вопросы, принадлежащие к сфере интересов политической антропологии, нередко оказываются в таких исследованиях на первом плане. В качестве примеров можно было бы указать на некоторые работы, вошедшие в сборник «Марксистский анализ и социальная антропология»³⁶, отчасти на аналогичный сборник «Антропология докапиталистических обществ» (хотя иные авторы этого выпущенного в США сборника и его редакторы провозглашают лозунг «К новому марксизму и новой антропологии», однако они благоразумно завершили его не восклицательным, а вопросительным знаком)³⁷, на многие публикации М. Годелье, в частности на его последнюю книгу «Идеальное и материальное»³⁸.

Конечно, в кратком Введении нет возможности дать сколь-нибудь развернутый очерк истории политико-антропологических штудий за рубежом, тем более этому было уделено немалое место в упоминавшихся уже работах Ж. Баландье и Ж. Копана. Задача Введения заключалась скорее в том, чтобы составить у читателя более или менее связное представление о главных направлениях и национальных школах этой научной субдисциплины. Что же касается важнейших концепций, выработанных в ней на Западе,— скажем, теорий сегментного общества, ритуализованного конфликта как средства стабилизации общества или переходных стадий от общества, не знающего институционализованной власти, к государству, и в частности вождества,— то представлялось более целесообразным рассматривать их с той или иной степенью детализации в соответствующих главах основного текста книги. При этом приходилось считаться и с тем, что «пограничное» положение политической антропологии на Западе (о чем говорилось в Предисловии) в ряде случаев могло сделать до известной степени произвольным выделение тех или иных предметных зон исследования: они могут в равной степени относиться к политической этнографии и к общей политологии или социологии политических отношений. В науке западной эта особенность находит, может быть, даже не вполне осознанное выражение в терминологическом разграничении работ, посвящаемых иногда не просто политической антропологии, а «антропологии власти»³⁹.

2. Отечественная этнографическая литература, специально посвященная организации власти и отношениям властвования в докапиталистических обществах, практически ограничивалась относящейся к периоду становления советской этнографии статьей М. О. Косвена об организации общественной власти у австралийцев, где главный интерес исследователя был направлен не столько на структуру власти, как таковую, сколько на возможность доказать, что власть эта во многом основывалась

уже на собственности⁴⁰, да работой И. И. Потехина о военной демократии у ндебеле Центральной Африки⁴¹. Причем в последнем случае в центре внимания тоже была не сама организация власти в форме военной демократии, а скорее еще одна попытка доказать универсальность последней на африканском материале.

Это не означает, конечно, что наши этнографы не уделяли никакого внимания формам организации власти и отношениям, властвования в изучавшихся ими обществах. Они получали достаточное освещение в общих трудах по этнографии, в частности в выпускавшейся с 1954 г. серии «Народы мира», в исследованиях по отдельным народам, выполнявшихся ведущими советскими учеными С. П. Толстовым, С. А. Токаревым, Д. А. Ольдерогге, М. О. Косвеню, Ю. П. Аверкиевой, А. И. Першицем и др. Но все же это было как бы побочным результатом изучения более общих проблем, прежде всего перехода от доклассового общества к классовому. Соответственно власть, ее институты и структуры закономерно рассматривались преимущественно именно под углом зрения их места в таких глобальных процессах. Не были исключением из общего и во время правила и исследования, связанные с проблемой так называемого азиатского способа производства, хотя здесь уже по самому характеру затрагивавшихся вопросов формам политической организации «посчастливилось» больше, в качестве примера назовем «Общее и особенное в историческом развитии стран Востока»⁴².

Специальное исследование вопросов, которые непосредственно относятся к предметной зоне политической этнографии (определение этой зоны см. в гл. 1), началось у нас с середины 70-

годов. Причем в данном случае, как и на Западе, происходило оно на материалах Африканского континента, хотя, конечно, с диаметрально противоположной целевой установкой. Ликвидация колониального режима в большинстве стран Африки и появление на месте бывших колоний независимых государств особенно остро поставили вопрос о формах взаимодействия традиционных институтов, причем едва ли не в первую очередь институтов политических, с новыми общественными институтами, во многом заимствованными из прежних метрополий. Естественная заинтересованность советской науки в изучении возможных путей социально-экономического и социально-политического развития африканских государств требовала выяснения с марксистских методологических позиций того, с чем приходится иметь дело новым правительствам, какие традиции способствуют, а какие препятствуют движению по пути социального прогресса.

Впрочем, проблема традиционного и нового в организации политической власти в условиях колониального режима привлекала внимание советских этнографов и до того, как она сделалась после крушения колониальной системы одной из центральных в научном осмыслении путей развития молодых государств.

В частности, плодотворно занимался ею С. Р. Смирнов, посвятивший специальное исследование попыткам британской администрации создать в населенных народом ибо юго-восточных областях Нигерии так называемые «туземные» власти, создать заново, так как у ибо к моменту колониального завоевания не существовало крупных политических единиц и соответственно не было правителей, на которых мог бы опереться колонизатор. И он же уделил заметное место рассмотрению организации «непрямого» управления⁴³ в закрытых районах Судана в период британского господства. В последнем случае исследователь двигался в русле, достаточно обычном для нашей этнографической науки.

Издавна в советской этнографической литературе заметное место отводилось рассмотрению такого института, как традиционные вожди. Институт этот достаточно однозначно оценивался отрицательно, однако при этом считалось, что использовался он в колониальном управлении едва ли не в первоизданном виде, хотя, конечно, и феодализация и обуржуазивание его носителей представлялись исследователям вполне очевидными. Вожди трактовались как один из главных тормозов прогресса, естественно поэтому было обратить внимание на изучение именно их.

И как раз в силу этого в 70-х и 80-х годах увидели свет несколько работ, специально посвященных изучению традиционных политических институтов Нигерии, Танганьики и Уганды в колониальное время⁴⁴. Строго говоря, это были по характеру не столько этнографические, сколько исторические исследования; во всяком случае, такими их считали сами авторы. Но сам предмет исследования, как и вынужденное обращение к этнографическим материалам, лишний раз свидетельствовал о хрупкости междисциплинарных границ в наше время.

И все же появление политико-этнографических работ в полном смысле этого слова едва ли было бы возможно без тех успехов в разработке общетеоретических проблем этноса и этнического, которыми отмечены в нашей науке конец 60-х и начало 70-х годов. Более строгое определение предмета этнографической науки имело логическим следствием и более широкий взгляд на соотношение этнической культуры и культуры этноса, а это, в свою очередь, позволило по-новому взглянуть на место культурных явлений, отражающих (и выражающих) отношения власти и властвования, в культуре в целом. И это же разграничение культуры этноса и этнической культуры дало возможность уточнить соотношение между политической культурой и политической структурой общества. Существенную роль сыграло и выделение категории потестарного, т. е. тех моментов и форм, какие приобрели отношения власти и властвования в доклассовых обществах⁴⁵: оно должным образом подчеркивало принципиальный рубеж между этими отношениями до и после преодоления порога классового общества.

Именно в связи с разграничением потестарного и политиче-

ского развернулось в нашей этнографической науке — и опять-таки на африканских материалах — обсуждение вопроса о действительном характере тех общественных организмов, которые по традиции относились к государствам, хотя зачастую не обладали сложившейся классовой структурой⁴⁶. Примечательно, что протекало это обсуждение практически синхронно с аналогичной дискуссией в западной науке. Итогом такой дискуссии можно, по-видимому, считать заметно усложнившиеся представления о реальных путях, какими шел политогенез в африканских обществах, осознание того, что число переходных ступеней на пути от «негосударства» к государству было (и не только в Африке к югу от Сахары) намного большим, чем это представлялось нашим историкам и этнографам еще недавно.

Уточнению ряда представлений в интересующей нас области отечественной этнографической науки, несомненно, способствовало развитие исследований в параллельной, граничащей с нею сфере — нормативной этнографии. Такое параллельное движение позволило после нескольких специальных публикаций в обеих областях⁴⁷ поставить и более общий вопрос — о связи этнографической науки с науками о государстве и праве в целом, о роли и месте этнографических материалов и исследований в практическом осуществлении тех или иных мер в сфере государственно-правового строительства как у нас в стране, так и за рубежом⁴⁸.

Естественно, «родословная» работ по потестарной и политической этнографии у нас в стране в 70-е годы восходила не только к традициям отечественной этнографической науки. Огромную роль сыграли и достижения советской медиэвистики, в особенности труды, рассматривавшие такие проблемы, как становление феодального общества в Европе, включая и существование дофеодального периода в качестве особой переходной стадии, как специфика средневековой культуры, включая и ее политическую составляющую. Труды А. И. Неусыхина, С. Д. Сказкина, А. Я. Гуревича и других исследователей во многом создали тот общеисториографический фон, на котором стали появляться отечественные работы, относимые их авторами непосредственно к потестарной и политической этнографии⁴⁹.

Число таких публикаций пока невелико. И до самого недавнего времени они ограничивались сугубо африканскими материалами. Помимо статей автора настоящей книги сюда относятся работы О. С. Томановской и В. В. Бочарова, с разных сторон подходящие к одной и той же проблеме — каким был характер отношений и институтов власти в доколониальных африканских обществах (соответственно в Западной Экваториальной и в Восточной Африке)⁵⁰. Хотелось бы думать, что в дальнейшем исследования советских ученых в этой достаточно интересной и имеющей самые непосредственные связи с практикой области этнографической науки приобретут более широкий размах.

Нельзя в то же время не заметить, что объективная потребность в изучении, по существу, этнографической проблемы формирования политической власти на месте потестарной, складывания власти институционализованной как неперменного элемента такого формирования, равно как и не менее этнографического по своему характеру вопроса о роли традиционных, зачастую восходящих еще к доклассовому обществу институтов власти и ее структур, включая и психологические структуры, в современных развивающихся странах Азии, Африки и Океании, несомненно, ощущается советской исторической наукой. Скажем, немаловажное значение для исследования форм становления политической власти не только в региональном, но и в общеисторическом масштабе имеют работы В. И. Гуляева, построенные на месоамериканском материале⁵¹. Л. С. Васильев, с одной стороны, посвятил специальные работы обобщению сложившихся к настоящему времени в мировой науке взглядов на вождество как на особую стадию в социально-политическом развитии, а с другой — практически применил концепцию вождества как такой стадии в исследованиях, рассматривающих формирование классового общества и государственности в древнем Китае⁵². Определенные попытки обобщения выводов многих исследований наших востоковедов и африканистов по поводу интеграции (или невозможности такой интеграции) традиционных институтов в модернизируемое развивающееся общество можно видеть и в соответствующих главах коллективной работы «Эволюция восточных обществ», увидевшей свет в 1984 г.⁵³, и в трудах, посвященных анализу политологических концепций, относящихся к современным развивающимся странам⁵⁴. Число названий можно было бы без особого труда умножить, и это свидетельствует о том, что перспективы дальнейшего развития исследований в области потестарио-политической этнографии в нашей науке достаточно благоприятны.

Настоящий краткий очерк не ставит и не может ставить перед собой цель детального историографического анализа мировой политической этнографии/антропологии. Более подробное ее рассмотрение читатель найдет и работах как уже упоминавшихся авторов — Ж. Баландые, Ж. Копана, Д. Истона, — так и в других монографиях и справочных изданиях⁵⁵. Автор же видел свою задачу в том, чтобы показать самую общую картину того пути, который эта этнографическая субдисциплина прошла за неполных полвека своего существования.

**ПРЕДМЕТ И ПОНЯТИЙНЫЙ АППАРАТ
ПОТЕСТАРНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ
ЭТНОГРАФИИ**

Известно, что без власти
Далеко не уйдешь.

*А. К. Толстой. История Руси
от Гостомысла до Тимашева*

1. Как уже сказано, интерес потестарной и политической (потестарно-политической) этнографии обращен на традиционные отношения власти, ее институты и системы главным образом в докапиталистических, преимущественно до- и раннеклассовых общественных организациях: их задачи, формирование, структуру и функционирование; сравнительный анализ этих отношений, институтов и процессов в таких обществах — различных как территориально и этнически, так и стадийно,— их классификацию и типологизацию. В современных исторических условиях предметом изучения во все большей мере становится также адаптация и/или инкорпорация традиционных структур власти во вновь создаваемые административные и политические институты развивающихся стран.

Будучи вполне правильным с содержательной стороны, такое определение тем не менее вызывает по крайней мере два вопроса: почему научная дисциплина, рассматривающая указанный выше круг явлений, относится к этнографии в качестве ее отрасли, или субдисциплины? В каком соотношении она находится с такими науками, как политология и социология политических отношений?

По-видимому, ответы на эти вопросы следует начинать с объяснения того, почему для интересующей нас дисциплины избрано «двойное» определение, т. е. «потестарная и политическая (потестарно-политическая)». Такое обозначение вызывается принципиальным различием в понимании политики и политического, существующим между марксистской и немарксистской наукой. Оно сводится к тому, что для марксиста политика, как определяет ее новейшее отечественное справочное издание, это «сфера деятельности, связанная с отношениями между классами, нациями и другими социальными группами, ядром которой является проблема завоевания, удержания и использования государственной власти». Более развернутое определение политики принадлежит, например, Ф. М. Бурлацкому: «Политика — это форма взаимоотношений между классами, социальными

группами, нациями, связанная прямо или косвенно с проявлениями власти и деятельности властвования, понимаемом как способность принудить большие массы людей к выполнению тех или иных задач и решений»². Нетрудно видеть, что в такой формулировке присутствует важнейший элемент, без которого политика немыслима — власть и отношения, с нею связанные, — однако, по существу, это определение не отличается от первого в основном. В самом деле, определяющая черта марксистского понимания политики — отнесение к политическим лишь отношений, присущих общественным организациям, располагающим уже сложившейся в целом классовой структурой и потому имеющим ту или иную форму государственной организации. Это вполне очевидно следует из ленинского определения политики: «Политика есть участие в делах *государства*, направление государства, определение форм, задач, содержания деятельности государства»³.

Между тем в западной политической антропологии политическими считаются в равной степени отношения власти и властвования в современных высокоиндустриализованных обществах и те, какие существуют в обществах без антагонистических классов (во всяком случае, в их сложившейся форме), а соответственно и без присущего классовому обществу надстроечного оформления, например у жителей Тробрианских островов. И тем более проявляется эта черта политантропологических исследований, когда в качестве объекта исследования выступают народы, пребывающие на разных стадиях перехода от доклассового общества к классовому, как, например, некоторые общества доколониальной, да и постколониальной Африки⁴.

Само собой разумеется, марксистская наука ни в коей мере не отрицает существования определенных органов и механизмов руководства обществом, а стало быть, осуществления власти и властвования и в доклассовых общественных организациях. Однако деятельность этих органов и механизмов по самой своей направленности принципиально отлична от аналогичной деятельности в обществе классовом. Именно поэтому для обозначения отношений власти и властвования в доклассовом обществе и был предложен термин «потестарный», к настоящему времени достаточно утвердившийся в отечественной этнографической литературе⁵.

Таким образом, название «потестарная и политическая (потестарно-политическая) этнография» подчеркивает тот факт, что объектом, изучаемым этой субдисциплиной, оказываются и общества прежде всего доклассовые или пребывающие на разных стадиях перехода от доклассовости к классовости, равно как общества раннеклассовые и общественные организмы со сложившейся докапиталистической классовой структурой.

Как известно, в обществах до- и раннеклассовых вся культура в целом может рассматриваться в качестве традиционно-бытовой в силу своего бесписьменного характера (это означает

опору прежде всего на устно передаваемую традицию) и недостаточной специализации отдельных своих сфер⁶. Вместе с тем значительная степень нерасчлененности свойственна и культуре античного и восточного обществ (исключением была, пожалуй, древняя Греция, на многие столетия опередившая другие регионы мира на пути специализации частей культуры), да и феодальному обществу на довольно продолжительном этапе его развития. Но совершенно очевидно, отношения власти и властвования образуют особую область человеческой деятельности и соответственно особую сферу культуры любого общества — культуру потестарную и политическую. О ней у нас еще пойдет речь особо; пока же хочу сказать только, что, не будучи до конца выделена из традиционной культуры любого докапиталистического общества, эта ее часть оказывается вполне закономерно входящей в предметную зону этнографической науки, тем более что организация отношений власти и властвования на этом этапе общественного развития служит весьма существенным элементом этнической специфики⁷. И вместе с тем, в силу того что этнография отнюдь не ограничивается изучением только особенного, а рассматривает также и общее в жизни народов, обусловленное формационными и историко-культурными признаками, не вызывает сомнений и правомерность анализа в рамках этнографических исследований также и общих черт потестарной и политической организации и ее эволюции.

Таким образом, можно сказать, что предметную зону потестарной и политической этнографии составляет традиционная потестарная и политическая культура докапиталистических обществ. При этом, по мере того как общественный организм развивается в качестве классового общества, происходит специализация отдельных областей, или сфер, его культуры, и в конечном счете политическая культура становится относительно самостоятельной. Процесс этот находит завершение только при капитализме, однако степень специализации бывает достаточно высока уже в развитом феодальном обществе, и тем самым политическая культура такого общества оказывается вне пределов предметной зоны этнографии, все более утрачивая этнически специфичные черты в пользу общеклассовых характеристик.

Именно здесь, на мой взгляд, и проходит граница между политической (и потестарной тем более!) этнографией и политологией. Последняя занимается изучением отношений власти и властвования в условиях относительно самостоятельной и вполне уже специализированной политической культуры, к тому же в капиталистическом и социалистическом обществах понятие политической деятельности оказывается шире понятия политической культуры и не ограничено ее пределами. Классовое содержание политической деятельности и ее форм решительно преобладает над локальными и региональными особенностями, в значительной степени нивелируя их. Конечно, специфика в той или иной мере сохраняется, но она уже не носит этническо-

го характера, вернее, этническое в данном случае присутствует как бы в «снятом» виде, в форме национально-особенного, т. е. тоже нивелировано. Соответственно и исследовательские методы, и инструментарий политологии оказываются во многом отличны от этнографических.

Что же касается соотношения между потестарно-политической этнографией и социологией политических отношений, то различны прежде всего предметные зоны этих научных дисциплин. Если, как уже говорилось, такой зоной для потестарной и политической этнографии служит традиционная потестарно-политическая культура обществ докапиталистического уровня развития, то социология политических отношений занимается в первую очередь, как специальная социологическая теория, изучением «социальных основ и социальных действий (силы, цели, результаты) установившейся в обществе власти»⁸, т. е., по существу, общесоциологической теорией политики. Кроме того, в приложении этой теории к специальным разделам социологии политических отношений, например социологии политических партий, социологии политического сознания, социологии политического поведения и т. п., центр тяжести лежит именно на изучении высокоиндустриализованных современных обществ — как социалистических, так и капиталистических — и «современного» сектора в развивающихся странах.

Впрочем, как раз в последнем случае интересы политической этнографии и социологии политических отношений довольно близко соприкасаются друг с другом. Ведь само по себе отношение к предмету потестарной и политической этнографии только традиционной потестарной и политической культуры докапиталистических обществ, свойственных этим обществам форм отношений власти и их организации вовсе не означает отказа от изучения таких явлений и в тех общественных организациях, которые находятся также и на стадии капиталистического развития или даже избрали в постколониальную эпоху социалистическую ориентацию (в условиях развивающихся стран). Собственно говоря, упоминавшаяся в самом начале этой главы проблема адаптации и/или инкорпорации уже есть определенная форма изучения этих обществ, но с существенным ограничением: потестарная и политическая этнография рассматривает их в той лишь мере, в какой речь идет именно о судьбах традиционной потестарной и политической культуры — отношений, институтов и структур — в новых условиях. Ведь именно эти отношения, институты и структуры служили и сейчас еще нередко служат одним из главных выражений этнической культурной специфики, о чем уже была речь. С такой точки зрения изменения, происходящие, например, в политическом сознании и поведении членов традиционных обществ, включаемых в той или иной форме в современный мир, оказываются предметом изучения в равной мере и потестарно-политической этнографии, и социологии политических отношений.

В целом, однако, возможности потестарной и политической этнографии в изучении современных общественных организмов ограничены достаточно жесткими пределами. Усложнение структуры общества превращает изучение его политической культуры, не говоря уже о его политической организации в целом, в комплексную задачу, решать которую можно только совместными усилиями политологов, социологов, экономистов и представителей других научных дисциплин. Характерно, что в этом смысле расхождения между предложенным выше пониманием предметной зоны потестарно-политической этнографии и тем, как понимаются задачи политической антропологии на Западе, оказываются меньшими; нежели между пониманием предмета этнографии, с одной стороны, и социальной и культурной антропологией в целом — с другой⁹, если, конечно, отвлечься от того принципиального различия, о котором говорилось выше.

Из данного выше определения предметной зоны потестарной и политической этнографии как традиционной потестарно-политической культуры обществ докапиталистического уровня развития вытекает весьма существенное следствие: неизбежность определенной степени совпадения понятийно-терминологического аппарата этой этнографической субдисциплины с политологией. В самом деле, такое совпадение неизбежно в той мере в какой политология (и социология политических отношений) изучает политическую культуру капиталистического и социалистического обществ, т. е., несколько забегая вперед, отношения власти и властвования в их объективном (через институты и структуры) и субъективном (ориентации, мотивации политического поведения, системы политических ценностей и т. п.) аспектах. Это приводит к тому, что потестарно-политическая этнография у нас и в еще большей мере политическая антропология за рубежом до сего времени практически не располагают собственным понятийным и терминологическим аппаратом, используя инструментарий, почерпнутый у других наук, в первую очередь, естественно, у социологии и политологии. Конечно, коль скоро речь идет об изучении разных сторон одного и того же объекта — общества, подобное совпадение аппарата не может рассматриваться ни как нечто неожиданное, ни тем более как нечто отрицательное. Необходимо, однако, все же учитывать известную специфику потестарной и политической культуры докапиталистического уровня, в особенности то, что такие категории, как власть или авторитет, в этих культурах никогда не выступают в том «чистом» виде, в каком они предстают перед политологом, изучающим современное высокоиндустриализированное общество. В частности, это относится к проявлению этнической специфики в потестарной и докапиталистической политической культуре.

Кроме того, конечно, сохраняются расхождения в понятийно-терминологическом аппарате, связанные с принципиальной разницей в методологическом подходе между марксистской и не-

марксистской наукой. Привычные для нас категории типа «доклассового», «предклассового» или «раннеклассового» общества зарубежные политантропологи (включая даже и часть марксистов) используют в общем редко и как бы неохотно, предпочитая им различие государственного и догосударственного общества. Вольно или невольно при этом «смазывается» принципиальная разница между глубинными социальными структурами таких обществ¹⁰. Вместе с тем в ряде случаев; терминология и понятия, предлагаемые западными коллегами, могут достаточно успешно использоваться и в рамках марксистского подхода к изучению потестарной и докапиталистической политической культуры. Так, например, весьма плодотворной оказывается типология догосударственных (т. е. до- и предклассовых) обществ, предложенная в свое время М. Фридом¹¹; в известной мере могут быть полезны при изучении традиционной потестарно-политической культуры и некоторые категории экономической антропологии¹². Тем не менее использование понятийно-терминологического аппарата, заимствуемого у зарубежных политантропологов, неизменно требует определенной осторожности, а главное — сугубо конкретного исторического подхода.

2. Известное совпадение понятийно-терминологического аппарата потестарно-политической этнографии, с одной стороны, и социологии политических отношений и политологии — с другой, о чем была речь выше, касается в первую очередь некоторых ключевых понятий и категорий — власти, управления, руководства и авторитета. Все это категории общесоциологические, и анализу их посвящено великое множество работ. Для наших целей достаточно определить указанные понятия и их объем, а также в общем виде рассмотреть соотношение между ними, точнее, между властью и остальными названными категориями, ибо центральным понятием, вокруг которого строится потестарно-политическая этнография, служит, как это явствует из самого определения этой этнографической субдисциплины, понятие власти.

Общепризнано, что власть, как таковая, есть волевое отношение между людьми в рамках той или иной социальной системы. Такое ее понимание было с полной определенностью, сформулировано основоположниками научного социализма¹³. Что же касается конкретных дефиниций, то они достаточно многочисленны, подчеркивая внутри этого понимания те или иные его стороны с разной степенью детализации. Это легко видеть из сравнения нескольких таких дефиниций между собой, что мы сейчас и сделаем.

Так, Ф. М. Бурлацкий в новейшем справочном издании понимает власть как «в общем смысле способность и возможность осуществлять свою волю, оказывать определяющее воздействие; на деятельность, поведение людей с помощью какого-либо средства — авторитета, права, насилия (экономического, политиче-

ского, государственного, семейного и др.)», развивая и обобщая более раннее определение, принадлежащее ему же¹⁴.

Н. М. Кейзеров рассматривает власть как «присущее обществу и определяемое его базисом волевое отношение между людьми (а в классовом обществе — между классами), при котором применение ее носителем особой системы средств и методов обеспечивает выявление и доминирование властной воли посредством общественной организации в целях управления и обеспечения соблюдения социальных норм на основе принципа социальной ответственности»¹⁵.

Наконец, определение власти М. Вебером, из которого, как правило, исходит и западная политическая антропология, и западная политология, гласит: «Власть означает любую возможность проводить внутри данных общественных отношений собственную волю даже вопреки сопротивлению вне зависимости от того, на чем такая возможность основана»¹⁶.

При всей близости этих определений для целей настоящей работы самым общим и в то же время полным мне представляется первое. Оно и принимается в дальнейшем в качестве рабочего.

Признание власти волевым отношением само по себе еще не дает ответа на вопрос о причинах, вызывающих к жизни такое отношение. Не отвечает оно и на вопрос о целях и причинах проявления властной воли индивида или социальной группы в том или ином общественном организме. Наконец, непроясненным остается и вопрос об условиях и факторах, способствующих выделению разных видов власти, упомянутых в принимаемом здесь определении. Впрочем, последнее в самом общем виде объясняется достаточно просто: ростом и усложнением общественного производства, а соответственно и организации общества, социальной и всей общественной жизни, что влечет за собой все возрастающую специализацию отдельных ее сфер. Но в таком случае мы опять-таки в конечном счете приходим к иной формулировке самого первого и самого общего из названных выше вопросов, а именно какие причины вызывают вообще необходимость видов власти, специализированных в соответствии со специализацией важнейших сфер жизни общественного организма. Понятно, при этом потестарно-политическую этнографию занимают самые общие вопросы власти, относящиеся в наибольшей степени ко всему общественному организму в целом, а не к отдельным областям его жизнедеятельности.

Представляется вполне очевидным, что исходным путем возникновения власти, как таковой, послужила потребность в регулировании функционирования общественного организма. Такого рода потребность, вне всякого сомнения, ощущалась уже на самых ранних стадиях эволюции человеческого общества, притом более или менее безотносительно к масштабам тех или иных коллективов. Эти масштабы, конечно, определяли большую или меньшую сложность самого процесса удовлетво-

рения такой потребности, но ни в коей мере не изменяли факта ее объективной необходимости на любых уровнях.

В основе лежала нужда в обеспечении функционирования того или иного человеческого коллектива как самовоспроизводящейся общественной единицы, и в частности в таком распределении имеющихся в его распоряжении естественных ресурсов, которое бы позволило данной группе людей сохраняться как ясно определенному целому и обеспечивать нормальное биологическое воспроизводство своего численного состава, а затем и свое социальное воспроизводство. В этом смысле власть необходимо присутствовала в любом человеческом обществе, начиная с самых отдаленных эпох его существования. Как подчеркивал В. И. Ленин, «принудительная власть есть во всяком человеческом общегитии, и в родовом устройстве, и в семье, но государства тут не было»¹⁷. Иначе говоря, власть вовсе не обязательно должна была иметь строго организованные формы, хотя задачи ее в конечном счете оставались одни и те же, а именно, во-первых, сохранение целостности данного социального организма, противодействие любым факторам, внешним и внутренним, угрожающим такой целостности, и, во-вторых, обеспечение нормального функционирования данного организма в рамках заданной социальной структуры. Задачи эти всегда находятся в теснейшей взаимосвязи и одна без другой немислимы. В то же время в обществе классовом они решаются в форме обеспечения власти меньшинства над большинством и эксплуатации этого меньшинства, т. е. классового господства, которое сохраняет общество именно как антагонистическую структуру и его функционирование в качестве таковой.

Среди внутренних деструктивных факторов, угрожающих самому существованию общества, в особенности на ранних стадиях социальной эволюции, на первом месте стоит тенденция к нарушению объективно необходимых пропорций между общественным производством и потреблением. И как раз в пресечении таких тенденций через отношения власти и властвования заключается тот, по определению К. Маркса, верный инстинкт всякого общества, который препятствует последнему своими действиями ставить под угрозу собственное воспроизводство¹⁸.

В этой связи нелишним будет заметить, что некоторые западные авторы рассматривали в качестве одной из главных практических задач политической (по их терминологии) власти именно сдерживание соперничества между членами общества, имеющего в конечном счете материальную подоплеку. И сама власть есть согласно такой точке зрения продукт этого соперничества¹⁹. Подобный взгляд на вещи в определенной мере справедлив, но только в определенной мере, и нуждается в существенном ограничении. Справедлив он лишь в отношении власти политической, противопоставляемой дополитической или в крайнем случае предполитической (потестарной или позднепотестарной) власти, существующей в обществах, далеко уже продви-

нувшихся по пути классовобразования (стратифицированные общества типологии Фрида с дифференцированным доступом к важнейшим ресурсам). Когда подобная оговорка не делается, результатом оказывается неправомерная экстраполяция на всю историю доклассовых обществ представлений, верных лишь для самого позднего, предклассового ее периода. Едва ли правомерно утверждать, будто соперничество из-за ресурсов было характерно для родового общества периода его расцвета: гораздо более типичны в данном случае были отношения сотрудничества. Но в том-то и дело, что и сотрудничество внутри таких первобытных человеческих коллективов тоже нуждалось в каком-то регулировании и каком-то минимуме организации. Эту-то функцию и выполняла власть — общественная власть! — в родовом обществе эпохи его расцвета.

Не изменяя самого факта объективной необходимости тех или иных форм регулирования общественной жизни, масштаб социального организма (т. е. в конечном счете численность входящих в него людей), как уже говорилось, влиял на сложность; такого регулирования. Естественно, эта сложность возрастала с усложнением и ростом масштабов данного организма, особенно под давлением демографического роста на наличные естественные ресурсы. Именно такое возрастание сложности определяла ведущую тенденцию в развитии общественных институтов, складывавшихся ради регулирования функционирования общества — тенденцию к их специализации.

Проблема масштабов социального организма непосредственно связана с таким вопросом, как установление пределов функционирования потестарных и политических отношений. В самом деле, достаточно очевидно: несмотря на наличие власти и властных отношений в семье, эту власть и эти отношения едва ли можно отнести к потестарным, тем более к политическим. Повидимому, можно утверждать, что существует определенный «порог», ниже которого власть утрачивает потестарный или политический характер. Если исходить из предложенного Ю. И. Семеновым понимания социального организма как «самостоятельной единицы социального развития»²⁰, то придется признать, что семья в такой роли выступать не может. Другое дело — община в различных ее стадийных и хозяйственно-культурных вариантах. Вопрос о «пороге» потестарно-политических отношений будет еще рассматриваться далее в связи с необходимостью разграничить сферы потестарно-политической и соционормативной культуры. Пока же можно утверждать, что таким «порогом», вероятнее всего, следует считать в некоторых случаях непосредственно общинный уровень, т. е. уровень отношений власти и властвования внутри самой общины, а в более общем случае — таких отношений между общиной и племенем как этносоциальным организмом (*эсо*), а позднее вождеством и, наконец, государством; эти отношения уже могут рассматриваться в качестве потестарных или политических, в то время

как внутрисемейные таковыми считаться не должны. Собственно говоря, это прямо вытекает из точки зрения Ю. В. Бромлея, предложившего сам термин «потестарный»; социальным организмом, иначе говоря, самостоятельной единицей социального развития он считает племя-эсо и именно его понимает как потестарно-социальный организм²¹.

В принципе возможно, видимо, говорить о том, что к потестарным или политическим принадлежат лишь отношения власти и властвования, возникающие именно между такими самостоятельными единицами. Но при этом надо сделать две неперенные оговорки. Во-первых, община сохраняется в качестве субъекта политических отношений, даже утратив положение самостоятельного социального организма и превратившись в суборганизм в составе государства²². Во-вторых, по мере стадийного продвижения того или иного эсо в рамках вторичной общественно-экономической формации (что чаще всего сопровождается разрушением общинной организации) может происходить и повышение «порога» политической деятельности. В этом случае происходит укрупнение самостоятельных — самостоятельность эта, понятно, в большой мере относительна—социальных единиц. Как правило, субъектами политических отношений становятся здесь прежде всего этносоциальные области и расселенные в них человеческие общности, которые за неимением луч-шего термина можно обозначить как протонародности³ (понятно, не сами по себе, а через возникающие у них политические структуры).

Объективной основой любых отношений власти и властвования, их материальной предпосылкой в любом обществе всегда было и остается материальное производство. Неразграниченность же различных сфер общественной жизни на ранних этапах его развития означает прежде всего неразграниченность на первых порах, с одной стороны, производства, как такового, и непосредственного руководства им — с другой, руководства всеми прочими аспектами функционирования общественного организма. Здесь еще не выделены разные уровни властных отношений, и такие важнейшие категории, связанные с осуществлением власти, как руководство, управление, авторитет, образуют некое синкретическое единство.

В то же время уровни потестарного и политического оказываются четко разграничены с точки зрения их соотношения с общественным производством. В самом деле, под потестарным понимается состояние общества, при котором нет еще антагонистических классов, нет эксплуатации и, следовательно, нет надобности в особом механизме для регулирования отношений между этими классами в пользу одного из них. Однако классовая структура общества, ее наличие или отсутствие могут в определенном смысле рассматриваться как производные. Ибо первичной, определяющей всегда была дифференциация по уровню общественного производства, т. е. в конечном счете по уров-

ню общественной производительности труда и, следовательно, по наличию или отсутствию избыточного продукта, который можно было бы превращать в прибавочный, отчуждая его у непосредственного производителя и тем самым создавая необходимые предпосылки для формирования антагонистических классов и для преобладания в характере власти в обществе отношений господства и подчинения.

Понятно, что разделение разных уровней властных отношений и того единства форм проявления власти, о котором была речь выше, отнюдь не было разовым процессом, а заняло очень и очень продолжительный период. Строго говоря, и здесь можно говорить о полном его завершении только после победы капиталистического способа производства. Тем не менее, пусть и не в законченной форме, руководство, управление, авторитет к моменту формирования классового общества обретают относительную автономию друг от друга, характеризуя разные стороны и аспекты выявления властных отношений при регулировании функционирования общества как самовоспроизводящейся системы. При этом образуются как бы три пары понятий, диалектически связанных между собой: власть и руководство, власть и управление, власть и авторитет. Притом помимо связей внутри каждой из этих пар вторые их члены, разумеется, связаны и друг с другом. И к тому же, как обычно бывает в таких случаях, в социальной практике все эти категории настолько тесно переплетены, что рассматривать их в изолированном виде можно только на логическом уровне.

Такое переплетение хорошо видно, например, при рассмотрении первой из трех перечисленных выше «диалектических пар» — власти и руководства. Ф. М. Бурлацкий определяет руководство как «способность осуществлять свою волю путем воздействия в различных прямых или косвенных формах на руководимые объекты»²⁴. Нетрудно видеть, что подобное определение очень близко к приводившемуся выше определению власти, как таковой. Однако при всей близости этих понятий они несводимы друг к другу. Руководство, бесспорно, есть одна из форм проявления власти. Но в то же время она в принципе шире последней; скажем, может строиться и на одном только моральном авторитете, с одной стороны, а с другой — обязательно сопряжено с осуществлением власти²⁵.

Со своей стороны, власть, будучи по определению волевым отношением, вовсе этим не исчерпывается. В самом деле, проявлению властной воли, т. е. фактору изначально субъективному, должна соответствовать и сопутствовать и объективная способность осуществить те или иные акты руководства; об этом достаточно ясно сказано во всех цитированных выше определениях понятия «власть». В таком смысле, несомненно, заслуживает внимания предложенное недавно М. Бентоном выделение двух понятий: власти как способности решать те или иные задачи (*power to*) и власти как отношений социального

контроля (*power over*)²⁶. Однако эта объективная способность неотделима от такого фактора, как авторитет, т. е. опять-таки фактора в значительной мере субъективного, о чем еще пойдет речь.

Выяснение соотношения между властью и управлением, которое тоже представляет одну из форм проявления властных отношений, несколько затруднено тем, что само понятие управления может рассматриваться, так сказать, на нескольких уровнях, приобретая соответственно достаточно разный смысл. В наиболее общем значении управление трактуется как «функция организованных систем различной природы... обеспечивающая сохранение их определенной структуры, поддержание режима деятельности, реализацию программы, цели деятельности». Соответственно управление социальное «есть свойство любого общества, вытекающее из его системной природы»²⁷. Однако такое общее определение едва ли может быть пригодно для исследования конкретных общественных организмов и требует уточнения. Собственно говоря, это определение близко к тому процессу, который ранее в этой главе обозначался как регулирование общественного развития. В то же время на уровне конкретно-практического управления во многом совпадает с руководством, как оно определялось выше. Дело обстоит, именно таким образом, это можно видеть хотя бы из того, что как раз в этом смысле пользуются понятием управления некоторые из советских авторов²⁸.

Неоднозначность термина «управление» может порождать, определенные неудобства, и это вызывает необходимость разграничения понятий управления в широком смысле, т. е. регулирования жизни общества в целом, и непосредственно управления, т. е. решения тех или иных конкретных задач, как частных, так и общих, или их комплексов. Такого рода разграничение, на необходимость которого обратил ранее внимание Ф. М. Бурлацкий²⁹, принимается и в настоящей работе. Несколько упрощая, можно сказать, что речь в данном контексте идет о различии управления в качестве общего свойства организованный материи и управленческого труда как выражения деятельности человека по реализации этого свойства³⁰.

Именно при понимании управления в последнем смысле становится очевидной объективная необходимость и потребность различения управления и власти. Она вытекает из факта возможности и реального существования двух типов руководства, или управленческого труда, характеризующихся разной ориентацией — «на результат» или «на процесс». По этому критерию, власть как связанная с руководством способность заставить, индивидов или группы (вплоть до больших масс людей) выполнять те или иные предварительно принятые решения имеет в виду достижение тех целей, которые ставились при принятии этих решений. Управление же касается непосредственно самой реализации достижения указанных целей, т. е. направлено в

первую очередь «на процесс», точнее, на то, чтобы обеспечить максимально благоприятные условия его протекания и максимальную его эффективность. Естественно, в таком случае требуется внимание к отдельным стадиям и моментам этого процесса, иначе говоря, как раз к промежуточным стадиям реализации управленческих решений³¹.

Отмеченная необходимость разграничения власти и управления вполне осознается в зарубежной политической антропологии. Насколько мне известно, первым, кто рассмотрел эту проблему в плане выделения разных уровней руководства жизнью общества, был британский африканист М. Смит в 1956 г. Он различал уровни политический (в данном контексте как раз очень хорошо видно различие между марксистским и немарксистским подходами к проблеме: политический уровень М. Смит выделял в обществах, строившихся как система сегментных линиджей и не имевших ничего такого, что хотя бы отдаленно напоминало государственную, т. е. политическую, структуру) и административный. На первом происходит принятие решений, которые касаются общества,— точнее было бы, видимо, сказать, социального организма в отмечаемом выше смысле в целом; во втором такие решения реализуются³². Нетрудно видеть, что схема М. Смита в принципе совпадает с только что изложенной. Надо только всегда помнить, что, как и все исследователи, относившиеся к британской школе политической антропологии 50-х — начала 60-х годов, М. Смит исключал из рассмотрения в составе «общественных дел» (public affairs) общественное производство со всеми принимаемыми по его поводу решениями, ограничиваясь только «политическим» аспектом дела, определяемым по чисто формальному критерию.

Уже говорилось о неразрывной связи объективного и субъективного моментов в осуществлении властных отношений, находящей свое выражение в третьей из выделенных выше пар понятий—*власть и авторитет*. Собственно, в данном случае соединены оба смысла понятия авторитета: с одной стороны, «неформальное влияние какого-либо лица или организации в различных сферах общественной жизни... основанное на знаниях, нравственных достоинствах, опыте», с другой — одна из форм осуществления власти³³. Нас здесь в принципе более интересует второе из этих значений, хотя, говоря о субъективном моменте реализации власти, приходится принимать во внимание и неформальный аспект авторитета. Авторитет в качестве одной из форм осуществления власти более удачно может быть определен вслед за Н. М. Кейзеровым «как соответствие характера, структуры и функций власти интересам всего общества или отдельных социальных групп (классов). С субъективной стороны авторитет представляет основанное на данном соответствии добровольное и сознательное подчинение общества, социальных групп (классов), индивидов нормам и правилам, установленным существующей в этом обществе властью»³⁴. Из этого определе-

ния очевидно, насколько важен в отношениях властвования как: отношениях волевых субъективный аспект авторитета, т. е. именно «добровольное и сознательное подчинение». Средствами, которыми достигается такое подчинение, будет далее уделено специальное место. Здесь же можно отметить, что понимаемый таким образом авторитет в определенной мере близок к понятию легитимности, по М. Веберу³⁵. Иными словами, если власть и управление располагаются, так сказать, по одну сторону процесса регулирования жизни общества, то власть и авторитет, оставаясь неразрывно друг с другом связаны, могут тем не менее рассматриваться как лежащие на противоположных его сторонах. Естественно, при этом характер авторитета, носитель его определяются как стадийным уровнем развития того или иного общества, так и конкретно-исторической обстановкой, в которой это общество функционирует, хотя следует сказать: как раз в области авторитета традиция отличается особой устойчивостью в том смысле, что становление новых его форм, изменение субъекта авторитета обнаруживают тенденцию к сохранению старых внешних форм даже при коренном изменении социального содержания с особым упрощением.

3. Заканчивая рассмотрение главных понятий потестарной- и политической этнографии, будет, видимо, целесообразно возвратиться к понятию власти как центральному в этой субдисциплине и постараться в самом общем виде обрисовать те ее черты, которые имеют для нас особую важность.

По-видимому, главнейшее из свойств власти с точки зрения ее содержания заключается в том, что она в любом случае предполагает с самого начала принципиальное различие между субъектом и объектом властных отношений; в таких отношениях они непременно неравны. Иными словами, любая власть изначально асимметрична³⁶. Это предопределено тем, что в обществе, каков бы ни был уровень его социально-экономического развития, вообще не может быть, так сказать, «автоматического» равенства уже хотя бы потому, что даже в рамках самого элементарного первобытного разделения труда — разделения по половозрастному признаку — функции членов общества различны. Соответственно и в самых эгалитарных доклассовых обществах эгалитаризм оказывается достаточно относительным³⁷. Не вдаваясь в подробное обсуждение этого вопроса, хочу подчеркнуть более существенный для нас аспект проблемы. Признание обязательной асимметричности отношений власти ни в коей мере не означает отрицания того, что сама эта асимметрия, само это неравенство оказываются качественно различны на разных стадийных уровнях общественного развития, в том числе и в рамках потестарной организации.

В самом деле, в развитом родовом обществе, не затронутом еще сколько-нибудь заметно процессом классовообразования³⁸, неравенство такого рода в целом не нарушает общего равноправия членов коллектива. Неравенство здесь имеет как бы част-

ный характер. Никаких привилегий у субъекта власти нет, а элемент господства и подчинения в его отношениях с соплеменниками отсутствует. Впрочем, и сама-то власть может быть весьма относительна, сводясь иногда просто к, если можно так выразиться, «признанию права на посредничество», как это, например, было с нуэрским «вождем — носителем леопардовой шкуры»³⁹.

Но по мере разложения первобытнообщинного строя, в особенности на поздних этапах этого процесса, в обществе предклассовом, положение коренным образом меняется. Власть начинает в принципе обозначать большие возможности для того, кто ее осуществляет, по сравнению с теми, кто служит ее объектом. Эти возможности обнаруживаются в первую очередь в материальной сфере: ведь неравенство, существующее между субъектом и объектом власти в процессе регулирования общественного производства, руководства им, есть и результат, и важнейшее условие такого развития последнего, при котором становилось возможным появление в обществе регулярного избыточного продукта с последующим его перераспределением в пользу руководителей. И в конечном счете именно власть служила важнейшим катализатором того процесса, существование которого Л. Г. Морган выразил фразой: «Собственность и должность были почвой, на которой выросла аристократия»⁴⁰. И не просто катализатором, но и активным элементом.

Именно зарождение в реализации власти отношений господства и подчинения образовывало главный рубеж на пути превращения власти потестарной в политическую. Господство, несомненно, есть одна из форм проявления власти (хотя строгое определение его возможно только через одновременное существование подчинения)⁴¹. Однако в общеисторическом плане оно возникает в качестве таковой позднее, нежели управление, руководство, контроль. В этом смысле двузначность немецкого Herrschaft, обозначающего как «власть», так и «господство», употребленного М. Вебером при разработке им социологической теории власти, ведет к затушевыванию разницы между властью доклассовой и властью классово-политической.

Последнее обстоятельство достаточно существенно уже потому, что веберовская концепция «чистых типов» власти-господства (*reine Typen der Herrschaft*) до самого недавнего времени служила концептуальной основой большинства западноевропейских исследований по политической антропологии⁴². Впрочем, в отечественной литературе критика социологии власти, по М. Веберу, касалась не столько отсутствия разграничения власти политической и дополитической, сколько, пожалуй, принципиального порока исходной позиции немецкого исследователя. В самом деле, у Вебера речь идет не просто о «чистых типах», но и о «чистых типах легитимной власти» (*reine Typen der legitimen Herrschaft*). Иными словами, в основе типологии лежит субъективный критерий: отношение к власти ее объекта,

признание им этой власти (само по себе это отнюдь не предполагает стопроцентного повиновения — Вебер говорит лишь о возможности, о шансе встретить повиновение)⁴³. В то же время достаточно очевидно, что единственно строгими критериями могут быть только объективные — в данном случае характер общественного строя в целом, качественные признаки субъекта власти, либо общества в целом, либо какого-то одного класса.

Собственно, как раз по такому признаку в конечном счете разграничиваются потестарная и политическая формы власти. Но вместе с тем критика советскими авторами этого аспекта концепции М. Вебера не исключает, с одной стороны, признания в качестве его несомненной заслуги историзма подхода к эволюции типов власти и ее форм, а с другой — признания того, что выделенные немецким социологом типы власти при всех их недостатках находят определенное соответствие в конкретно-исторической реальности⁴⁴.

Из всех трех «чистых типов» власти, по М. Веберу, для потестарной и политической этнографии могут быть существенны два, обозначенные исследователем как традиционный и харизматический. Не вдаваясь глубоко в описание этих типов, достаточно пространно рассматривавшихся в нашей литературе, замечу только, что речь идет в принципе о прямо противоположных друг другу явлениях: если традиционный тип власти держится, как показывает само его название, на традиции, на «привычке к определенному поведению» и потому совершенно естественно апеллирует к древности существующих порядков, их священному характеру (момент не абсолютный, но встречаемый очень часто) по принципу «чем древнее, тем правильнее», то харизматический означает резкое нарушение традиции. Харизма, по Веберу (греч. *charisma* — «дар богов»), есть какая-то из ряда вон выходящая способность индивида, выделяющая его из среды ему подобных, притом способность, обязательно сверхъестественного происхождения, дарованная ему свыше предками, божеством, роком и т. п. Эта способность позволяет харизматику добиваться выдающихся, порой в принципе недостижимых в традиционных рамках результатов в любой сфере общественной жизни, т. е. в интересующем нас контексте — в руководстве человеческим коллективом. Тем не менее в обоих случаях — и при традиционном, и при харизматическом типе власти — в основе последней лежат личные отношения между субъектом и объектом власти, господствует личностный, тип связей⁴⁵. Нетрудно видеть, что власть такого типа характерна в наибольшей степени для обществ до- и раннеклассовых. Конечно, в докапиталистических классовых обществах влияние традиции было огромно. Конечно, история дает нам немало примеров существования власти харизматического типа даже и в капиталистических условиях. И все же, по мере того как докапиталистическое классовое общество переставало быть раннеклассовым и консолидировалось именно как классовый социальный

организм, неизбежно нарастала роль формально-рационального элемента в отправлении и обосновании власти, а сама власть все более бюрократизировалась. В перспективе происходило становление власти, основанной на рациональном целеполагании; образцом таковой была для М. Вебера буржуазно-демократическая власть в капиталистической Западной Европе⁴⁶. В этом смысле анализ некоторыми политантропологами изменений, происходивших, например, в африканских странах под воздействием европейской колонизации, проводился вполне в рамках веберовской концепции перехода от традиционного к бюрократическому (сам М. Вебер обозначал его как «легальный») типу политической власти — в качестве примера можно назвать уже упоминавшуюся работу Л. Фоллера о «княжествах» сога в Уганде⁴⁷.

При всей условности теоретических построений М. Вебера и их схематизме нельзя все же отрицать, что его теория может с немалой пользой быть применена в исследованиях по потестарной и политической этнографии.

Сам процесс превращения господства в одну из главнейших форм проявления власти в обществе породил получившие затем весьма широкое распространение представления об амбивалентности власти, как таковой. Подобные взгляды в работах некоторых западных авторов связываются с рассматривавшимся выше асимметричным характером власти, непременно неравным положением сторон во властных отношениях. С одной стороны, власть необходима, ибо существовать и функционировать без нее (вернее, без управления в широком смысле, необходимым условием которого служит в социальном организме власть) общество не может. И факт этот в полной мере осознается членами данного общества. Но одновременно власть, в их понимании, представляет и определенную опасность, так что ее надлежит удерживать в достаточно жестких рамках обычая или правовой нормы. Такие рамки обеспечивали бы, во-первых, наиболее эффективное выполнение властью ее общественно полезных функций, связанных с регулированием всех отраслей жизни общества, при соответствующем подчинении ей, во всяком случае, основной массы членов общества, а во-вторых, должны были бы и могли бы ограждать последних от «опасных» сторон и качеств власти.

Более подробно это вполне реальное явление будет рассмотрено при анализе идеологического обеспечения отношений властвования. Пока же надлежит внести в приведенную выше точку зрения довольно существенное уточнение, вернее, временное, или стадийное, ограничение. Дело в том, что представление о двойственности власти как органически ей присущей особенностью могло возникнуть и действительно возникло лишь на сравнительно поздних этапах общественного развития. Это происходило уже в предклассовом обществе, когда в результате эволюции базиса начиналось отделение власти от коллектива.

В родовом обществе эпохи его расцвета, когда в максимальной степени совпадали власть и авторитет, не существовало достаточных объективных условий для возникновения ощущения амбивалентности власти. Иначе говоря, в последнем случае мы имеем дело с феноменом, типичным уже для позднепотестарной, а тем более для раннеполитической власти, и рассматривать его надлежит исторически, не распространяя на власть вообще. И именно здесь в страхе перед отчужденным от человека и непонятным ему отражением реальных общественных отношений, которое принимало форму власти, стоящей над обществом, заключался один из важнейших зародышей будущих социальных и идеологических противоречий, характерных для общества с антагонистическими классами. Не случайно как раз на этапе перехода к такому строю, т. е. непосредственно предклассовом, ясно проявлялась тенденция в некоей «институционализации антагонизма», что А. Рэдклиф-Браун считал одним из важнейших условий нормального функционирования общественного организма (хотя сам по себе этот вывод британский ученый делал в применении к «сегментным» обществам, которые, если выразиться в привычных нам терминах, еще сравнительно мало продвинулись по пути классовобразования)⁴⁸.

Асимметричность власти и ее амбивалентность на заключительном этапе существования первобытнообщинного строя обусловливали и значительное усиление в представлениях о ней сакрального элемента. Вопрос о формах его проявления и степени его универсальности будет специально рассмотрен в последующих главах работы, опять-таки в связи с идеологической санкцией власти и отношений властвования. Здесь же нужно только, так сказать, в предварительном порядке заметить: связь власти с религиозными представлениями заключена в том, что, власть в ее конкретно-исторической реальности делает возможным представление о том или ином этносоциальном организме как об определенной целостности, воплощающей нормы мирового порядка и обеспечивающей их соблюдение. Более того, в глазах членов общества она и олицетворяет эти качества. На предклассовой стадии общественного развития, тем более в обществе раннеклассовом восприятие в общественном сознании неравенства субъекта и объекта власти и «опасных» для последнего (в первую очередь для него, но отнюдь не только для него: власть опасна и для своего носителя) свойств ее как неотъемлемых составных частей целостности человеческого коллектива, выступящего в роли воплощения мирового порядка, в конечном счете делает и ассиметрию и амбивалентность психологически приемлемыми для массы членов общества. Тем самым облегчается и обеспечивается проведение жизнь властной воли, особенно тогда, когда власть отделяется от коллектива и возвышается над ним. Аналогичную роль с точки зрения организации и структуры власти в обществе выполняют религиозные представления.

Затронутые в настоящей главе вопросы, понятия и категории принадлежат в основном к общесоциологическому аспекту власти, ее проявлений и форм, отчасти к социологии потестарно-политических отношений в целом. Для этнографического же исследования, предметную зону которого, как было сказано, составляет потестарная и политическая культура, преимущественный интерес заключен в тех конкретных формах, вариантах осуществления власти и властвования, включая их организационное и идеологическое обеспечение, какие можно наблюдать в доклассовых и раннеклассовых обществах. При всей неповторимости исторического опыта тех или иных этнических (этносоциальных) общностей, отраженного в их культуре в целом, в том числе и в культуре потестарной или политической, можно проследить вполне определенные общие закономерности и черты в развитии и оформлении потестарных или политических отношений.

Поэтому в последующем наше внимание будет обращено именно на выявление как особенного, этнически специфичного, так и общего, стадияльно определенного в потестарной и политической культуре докапиталистических обществ. Предварительно, однако, будет, мне думается, целесообразно более подробно рассмотреть само понятие потестарной или/и политической культуры с точки зрения его содержания и специфики.

К такому рассмотрению понятия потестарной и политической культуры я сейчас и перейду.

Есть мненья
Различные на этот счет.
Но что б ни думал этот или тот,
А все предмет достоин размышленья.

М. Ю. Лермонтов. Маскарад

1. Выше я старался показать, что существо потестарной и политической культуры составляют отношения власти и властвования в их объективном и субъективном аспектах. Однако такая общая характеристика все же представляется слишком широкой и потому малопригодной для применения в конкретном исследовании. Она не дает ответа на несколько весьма существенных вопросов, которые неминуемо возникают при анализе этой сферы жизни общества. Прежде всего каково соотношение формационной принадлежности последнего и форм, какие принимает его потестарная или политическая культура? Как соотносятся культура общества в целом и его культура потестарная или политическая? В какой мере можно говорить об этнической окрашенности потестарной или политической культуры и, значит, о ее роли в этнических процессах? И конечно, последнее по счету, но не по значению: что, собственно, включать в само понятие потестарной или политической культуры?

Ответ на первый из этих вопросов частично вытекает уже из самого разграничения потестарного и политического. Совершенно очевидно, что отношения власти и властвования в обществе с антагонистическими классами неизбежно должны строиться — и действительно строятся — иначе, чем в обществе доклассовом. Но за таким глобальным различием скрываются и различия внутри самой политической культуры, обусловленные тем, какое общество такая культура обслуживает¹. Можно даже априорно предположить, что в обществе капиталистическом она будет весьма существенно отличаться от того, что этнограф в состоянии проследить в обществах феодальных или рабовладельческих, тем более обществах «азиатских», или политарных, как предлагают их называть некоторые исследователи² (если допустить существование такого рода обществ как самостоятельной общественно-экономической формации). Естественно, еще более глубоким будет различие между культурой политической и потестарной. Здесь оно будет касаться самого существа отношений власти и властвования, их общей направленности, определяясь в первую очередь тем, что в политическом общест-

ве они в значительной мере сливаются с отношениями господства и подчинения.

Отсюда следует, что политическая культура докапиталистических классовых обществ и потестарная культура обществ доклассовых отличались несомненной спецификой, и это обстоятельство необходимо учитывать при использовании понятийно-терминологическим аппаратом, выработанным на сегодня в политической науке. Этот аппарат сложился на Западе на основе изучения современного капиталистического общества, а у нас — общества социалистического. Принципиальным моментом здесь служит то, что в обоих случаях мы имеем дело с достаточно четко отграниченной и специализированной частью культуры общества в целом. В то же время в обществах докапиталистических степень специализации политической культуры, если речь идет об обществах классовых, намного ниже, а потестарная культура доклассового общественного уровня вообще начинает специализироваться лишь на последней, собственно предклассовой стадии его развития. До этого времени потестарная культура образует неотъемлемую часть синкретического целого, каким представляется культура первобытного общества. Таким образом, можно, по-видимому, говорить о том, что движение в сторону специализации было определяющей тенденцией эволюции потестарной и политической культуры, и каждая последующая формационная ступень такой эволюции оказывалась все более специализированной и относительно самостоятельной, и так до превращения политической культуры капиталистической в более или менее автономную область культуры вообще.

К сожалению, анализу потестарно-политической культуры обществ докапиталистических в науке уделялось неизмеримо меньше внимания. Строго говоря, она не была предметом специального исследования даже в трудах западных политантропологов, в частности британских, рассматривавших общества, пребывавшие на разных стадиях перехода от общества безгосударственного, по их терминологии, к государственности (хотя, конечно, так или иначе конкретные формы потестарно-политической культуры анализировали и Б. Малиновский, и А. Рэдклиф Браун, и Э. Эванс-Причард, и многие другие). В применении же к докапиталистическим классовым обществам лишь в последние два-три десятилетия обнаружился все нарастающий интерес к политической культуре феодального общества, как западноевропейского, так и восточного³. Этим и определяется необходимость использования понятий и терминов, сформировавшихся на совершенно иной эмпирической основе. К тому же приходится учитывать и то, что сам термин «политическая культура» сравнительно недавнего происхождения: на Западе, например, его впервые употребил Г. Алмонд в 1956 г.⁴. В советской же литературе понятие политической культуры стало широко использоваться с 60-х годов, причем в последние годы наблюдается несомненное увеличение интереса к ней как к объекту изучения⁵.

Надо заметить, что ни у нас, ни за рубежом нет единства в определении самого предмета политической культуры (речь именно о политической культуре, так как постаршая культура вообще затрагивается только в немногих этнографических работах⁶). В трудах отечественных авторов можно встретить определения, достаточно друг от друга отличающиеся, хотя в ряде случаев расхождения следует относить скорее за счет разницы в угле зрения. В качестве примера можно привести три определения, в том числе два, принадлежащие одному автору — Ф. М. Бурлацкому. В 1970 г. он писал: «Политическая культура означает, по нашему мнению, уровень знаний и представлений различных слоев общества и индивидов о власти и политике, а также определяемую этим степень их политической активности». В коллективной работе 1978 г. политическая культура характеризовалась как «определенное образование, состоящее как из совокупности средств организации политической жизни (формы политического процесса, стереотипы политического поведения, политические роли, политические традиции и т. п.), так и из совокупности мотивирующих политическую деятельность факторов (политические настроения, знания, верования, политические ориентации, политические ценности и идеалы)». Наконец, в последней по времени работе Ф. М. Бурлацкого «под политической культурой понимается институализированный и неинституализированный исторический и социальный опыт национальной или наднациональной общности, оказывающий большее или меньшее воздействие на формирование политического поведения индивидов, малых и больших социальных групп. Иными словами, политическая культура — это зафиксированная в законах, обычаях и политическом сознании „память“ о прошлом общества в целом, а также его отдельных элементов, в первую очередь классов и социальных слоев»⁷. Как нетрудно видеть, различие определяется здесь именно тем, что берется за основу оценки: в первом случае это оценка через политическое сознание, во втором — общая характеристика, стремящаяся учесть как объективную, так и субъективную сторону изучаемого объекта, в третьем — взгляд на явление сквозь призму его исторического развития.

Н. М. Кейзеров рассматривает политическую культуру как «специфическую форму выражения и реализации коренных классовых политических интересов, представляющих объективное по своей природе явление, непосредственное выражение положения людей в обществе, в системе общественного производства и обусловленных этим положением потребностей»⁸. Иными словами, политическая культура понимается исследователем в виде совокупности интересов, идей, убеждений и поведения, без включения в ее сферу институциональной стороны, о которых говорится в определении Ф. М. Бурлацкого.

Впрочем, нельзя, видимо, говорить о всеобщем признании в нашей науке необходимости выделения и анализа политической

культуры в качестве самостоятельного явления. Характерно, что само понятие это отсутствует в «Философском энциклопедическом словаре» 1983 г. издания не только в форме отдельной статьи, но и не упоминается в таких статьях, как «Политика», «Политическая наука» и «Политическая система»⁹. В то же время «Юридический энциклопедический словарь» рассматривает политическую культуру в качестве одного из факторов, характеризующих политическую систему социализма, определяя ее следующим образом: «комплекс ценностей и образцов поведения, адекватных потребностям развития» этой системы¹⁰.

Как бы то ни было, легко заметить, что во всех приведенных выше определениях политической культуры одно из центральных мест занимает поведенческая сторона дела — образцы и нормы политического поведения. В западной науке такая поведенческая ориентация нередко оказывается фактической основой понимания политической культуры, как таковой, т. е. содержание понятия сужается до одной только субъективной стороны явления. Так, уже упоминавшийся Г. Алмонд усматривал в политической культуре, собственно, лишь модель (pattern) ориентации политической деятельности, существующую в данном обществе¹¹. В еще более узком смысле трактует это понятие, скажем, Дж. Пэден, для которого политическая культура сводится лишь к ценностям и верованиям, действующим в политической сфере¹².

Точка зрения Г. Алмонда, хотя и во многом дополненная и расширенная и им самим в более поздних работах, и другими политологами функционалистского направления, получила значительное распространение как в специальных работах по политической культуре, так и в исследованиях, посвященных тем или иным конкретным обществам¹³. Тем не менее она с самого начала встретила и весьма критическое отношение со стороны многих западных немарксистских политологов из-за своей нечеткости и весьма абстрактного характера¹⁴. Возражения же со стороны исследователей-марксистов сводятся к тому, что Т. Алмонд и его последователи прежде всего обходят классовую обусловленность политической ориентации и отвечающего ей поведения, и в то же время политическая культура предстает у них как нечто неизменное, коль скоро ни причины ее складывания, ни факторы, ее изменяющие, вообще не рассматриваются. Кроме того, за наивысший образец политической культуры в работах этого направления имплицитно (а порой и явно) принимается современная американская политическая система с обслуживающей ее политической культурой, точка зрения, неприемлемая отнюдь не для одних только марксистов¹⁵.

Сам по себе анализ споров вокруг определений политической культуры, предлагавшихся в западной политологии, выходит за рамки настоящей работы. Небезынтересно, однако, отметить, что среди критических голосов довольно рано выделились и такие, которые достаточно справедливо обратили внимание на

возможность неодинакового понимания самого этого термина в разных научных дисциплинах. Так, еще в 1964 г. И. Ким писал о различии восприятия политической культуры глазами политолога и социального (культурного) антрополога. Для последнего это понятие обозначало бы политическую организацию данного общества, тогда как в первом случае имелся бы в виду лишь один из аспектов этой организации, т. е. составная часть политической деятельности в целом¹⁶. И хотя отождествление политической культуры и политической организации едва ли может считаться верным, поскольку второе понятие значительно шире, включая, по существу, все элементы политической системы, остается справедливым, что точка зрения этнографа (антрополога — в данном случае различие между этнографией и социальной антропологией практически отсутствует¹⁷) должна существенно отличаться от точки зрения специалиста-политолога.

В самом деле, при всем несходстве предлагавшихся в политической науке толкований понятия «политическая культура» в них есть общая черта. Все они рассматривают эту культуру главным образом, а то и исключительно с точки зрения принадлежности охватываемого ею комплекса явлений и форм общественной жизни к политической системе, а не к культуре общества в целом как самостоятельной сфере исследования. Между тем с точки зрения этнографической науки, главным объектом изучения для которой служат этнос и связанные с ним процессы развития этнического и культурного, более перспективным оказывается иной аспект проблемы: исследование политической культуры в качестве составной части культуры того или иного народа. Именно на эту сторону дела было обращено внимание в отечественной литературе — на «раскрытие политических отношений и институтов в их конкретной исторической форме в ходе культурного процесса»¹⁸. Конечно, и в данном случае главный интерес оказывается обращенным на политические отношения и институты, однако основывается такой подход на бесспорном, как мне кажется, тезисе: «Политика должна рассматриваться в качестве определенного выражения культуры»¹⁹. Подобный подход представляется вполне плодотворным, если, конечно, понимать его в том смысле, что политика в своих конкретных проявлениях так или иначе несет на себе отпечаток определенной культуры (но не определяется ею!).

К тому же он позволяет преодолеть довольно существенное затруднение, связанное с определением объема понятия «постетарная культура» в его соотношении с культурой политической. Как нетрудно заметить, все приводившиеся выше определения последней оставляли в стороне собственно политические институты, обособленно полагая их более частью политической структуры, нежели культуры. Такая позиция, по-видимому, вполне бесспорна для общества социалистического или капиталистического. Но по мере нашего продвижения в глубь истории

имеется в виду главным образом продвижение стадийное, так как спектр докапиталистических форм политической и потестарной культуры, дошедших до наших дней, достаточно широк) оказывается, что соотношение культуры, т. е. способа деятельности, и структуры, т. е. социальной системы, не остается неизменным. Выше уже говорилось о специализации как основной тенденции эволюции потестарной, а затем и политической культуры. Конкретно это означает, что в обществе доклассовом и даже предклассовом институты потестарные столь тесно «встроены» в иные социальные институты (более подробно об этом пойдет речь при рассмотрении форм выражения потестарных и политических отношений), что, определяя потестарную культуру, приходится включать в число общественных форм и явлений, образующих ее объективную сторону, и потестарные институты. Более того, и после перехода рубежа классового общества раннеполитические институты отнюдь не сразу конституируются как составная часть именно политической структуры, отделяясь от собственно культурной сферы, хотя следует с самого начала сказать, что само разделение объективных и субъективных элементов даже в развитой политической культуре — проблема довольно деликатная. В самом деле, если включать в число средств организации политической жизни (см. цитированное выше определение Л. С. Мамута из коллективной работы 1978 г.) стереотипы политического поведения и политические традиции, то приходится признать: объективное сохранение и того и другого из поколения в поколение как фиксированного социального опыта коллектива не исключает огромной роли субъективного момента в актуализации этого опыта в каждом данном поколении.

2. Правомерность подхода к потестарной и политической культуре как к определенной части культуры общества в целом достаточно очевидна, если исходить из наиболее общего в научной литературе определения культуры через человеческую деятельность, в частности из предложенного в свое время Э. С. Маркаряном понимания ее в качестве специфически человеческого способа деятельности, передаваемого из поколения в поколение внебиологическим путем. При этом для целей нашего исследования не имеет существенного значения, включаются ли в такое понимание результаты деятельности, объективированные в той или иной форме, или они полагаются включенными в само понятие «способ деятельности»²⁰.

Абстрагируясь от различий в точках зрения исследователей, рассматривавших общие вопросы теории культуры²¹, можно заметить, что практически все они, как советские, так и зарубежные, считают неотъемлемым элементом и условием существования человеческого общества организацию. Так, скажем, Э. С. Маркарян выделяет в социальной системе три структурных элемента: собственно социальную организацию, организацию культуры и организацию деятельности, как таковой, а 3. На-

дель исходил из возможности применения понятия организации именно к культуре²². Но организация по самому своему смыслу неизбежно предполагает руководство, а следовательно, как уже говорилось выше, и отношения власти и властвования. А отсюда следует, что такие отношения вместе с соответствующими им и реализующими их организационными и общественно-психологическими структурами с самого начала должны составить, неотъемлемую и важную часть культуры общества в целом, именно ту ее часть, которую мы и обозначаем как культуру потестарную, если речь идет об обществе доклассовом, или культуру политическую, когда имеется в виду общество с антагонистическими классами.

Как составная часть культуры вообще, культура потестарная и политическая в принципе выполняет те же основные функции, которые присущи культуре в целом. В свое время Э. В. Соколов выделил семь таких функций: освоения и преобразования мира; коммуникативную; сигнификативную; информационную (накопление и хранение информации); нормативную (точнее, соционормативную); проективную разрядки; защитную²³. Если отвлечься от выдвигаемых против такой классификации обвинений в разномасштабности из-за отсутствия единого принципа выделения²⁴, то следует сказать, что относительное значение этих функций неодинаково и изменяется во времени. Это особенно очевидно, если рассматривать их в применении к потестарной и политической культуре. Так, при всем значении первой из этих функций, которая может быть кратко обозначена как инструментальная, надлежит признать бесспорный факт: как бы ни были важны технические средства осуществления властвования и управления обществом (понимая эти средства весьма широко и включая в их число, например, такие общественные явления, как мораль и в последующем право), они на ранних этапах общественного развития занимали гораздо более скромное место, чем то, какое им принадлежит в обществе капиталистическом, особенно в эпоху НТР. К тому же, рассуждая на чисто логическом уровне, можно предположить, что эта функция и проявилась не сразу: на первом месте хронологически стояла, по-видимому, коммуникативная функция, необходимость в которой ощущалась с самых ранних этапов существования человеческого общества.

Говоря о различных функциях потестарной и политической культуры, надо иметь в виду, что раздельное их рассмотрение возможно именно только на чисто логическом уровне. В реальной жизни, особенно если говорить о культуре потестарной, все эти функции составляли неразрывное единство. Притом отдельные элементы культуры перекрывали несколько сфер, по идее обслуживавших разные функции. В частности, только что упомянутые в качестве технических, т. е. инструментальных, средств осуществления власти мораль и право в такой же, если не большей степени выполняют соционормативные функции.

И еще: все перечисленные функции культуры, включая потестарную и политическую, играют активную роль в этнических процессах — как консолидационных, так и дифференциационных. Наконец, не всегда бывает просто выделить в качестве самостоятельных функций коммуникативную и информационную: ведь коммуникация по самой своей сути означает обмен информацией в той или иной форме. Это тем более справедливо для доклассовых этапов развития человеческого общества с характерной для них синкретичностью культуры. Как раз поэтому в последующем коммуникативная и информационная функции потестарной и политической культуры будут рассматриваться как единая, нерасчлененная функция, которую можно условно называть по-прежнему коммуникативной²⁵.

Эта функция обеспечивает циркуляцию информации внутри социального организма, что необходимо для его нормальной жизнедеятельности в качестве самовоспроизводящейся системы. Такая необходимость ощущается в первую очередь в сфере общественного производства (или на самых ранних этапах при добычании пищи). Самоочевидно, что именно эту сферу деятельности требуется регулировать прежде всего. А коль скоро движение информации осуществляется в рамках определенной информационной сети, то в данном случае задача потестарной и политической культуры как составной части культуры в целом заключается в том, чтобы обеспечивать целостность этих рамок в данном общественном организме. Тем самым решается и более широкая задача: сохранение последнего именно в качестве самовоспроизводящейся системы, хотя здесь действует отнюдь не одна только коммуникативная функция потестарной и политической культуры (да и не одна только эта часть культуры общества, а вся его культура, взятая как определенное единство).

Тесно связана с коммуникативной сигнификативная функция потестарной и политической культуры, задача которой в первую очередь отличие коммуникации именно в данной системе. Иначе говоря, здесь опять-таки идет речь об отграничении потестарной и политической культуры общества как системы от других аналогичных систем. Именно поэтому в качестве одного из главных, если не самого главного проявления сигнификативной функции фигурирует символика культуры, с которой теснейшим образом связаны разнообразные ритуальные формы последней: ритуал выступает как отличительная черта или даже как символ определенной человеческой общности. Не случайно символике политической культуры уделяется столько внимания и в политологических исследованиях, и в работах этнографического или общекультурологического характера²⁶. И в то же время как раз сигнификативная функция всей культуры и ее потестарной или политической составляющей, выражая в символической и ритуальной форме исторический опыт взаимодействия человеческой общности с другими коллективами людей,

оказывается органически связана с особенностями этнической или в капиталистическом обществе национальной психологии, присущей членам такой общности. А через все эти моменты делается очевидной важность данной функции в процессе осознания людьми своей принадлежности именно к данному человеческому коллективу, противостоящему другим аналогичным коллективам. Причем в составе потестарной и политической культуры сигнификативная функция указывает именно на организационные рамки такого коллектива.

В нашей литературе не раз уже обращалось внимание на особую важность рассматривавшихся выше функций культуры, играющих в ходе этнического развития роль факторов этнической интеграции и этнической дифференциации²⁷. К тому же, что уже говорилось по этому поводу, можно, по-видимому, добавить, что их положение в таком контексте не вполне одинаково. Различие между ними заключено в том (хотя это различие и никоим образом не должно абсолютизироваться, коль скоро обе функции участвуют в обоих процессах, разница лишь в относительной роли), что в этнодифференцирующем качестве выступает все же главным образом сигнификативная функция. В отличие от этого коммуникативная функция проявится в первую очередь в качестве фактора этнической интеграции и консолидации. Можно, впрочем, заметить и то, что две эти функции обнаруживают свою роль в разнонаправленных этнических процессах тоже неодинаково: чтобы быть фактором этнической дифференциации, сигнификативная функция нуждается в контакте данного этноса и его культуры с другим этносом и культурой последнего. В отсутствие же такого контакта она выполняет только этноинтеграционную роль. Коммуникативная же функция культуры с самого начала ориентирована преимущественно «внутри» общества, и ее внешняя роль выражается скорее опосредованно — через консолидацию общества, приобретающего способность противостоять тем обществам, с которыми оно вступает в контакт.

Этноинтеграционная (этноконсолидационная) направленность как преимущественная характерна и для соционормативной функции потестарной и политической культуры. Впрочем, этим характеризуется и вся соционормативная сфера культуры (или соционормативная культура), и это выдвигает дополнительный вопрос: в каком соотношении находятся культура соционормативная и культура потестарная/политическая?

По-видимому, помимо того что их нельзя рассматривать как единицы разного таксономического уровня, — это объясняется несовпадением сферы их действия: соционормативная культура действует практически целиком внутри данного общественного организма, тогда как потестарная/политическая в значительной степени обеспечивает внешние связи и взаимодействия, — придется говорить и о различии таких сфер и в рамках общества. Круг проявлений жизнедеятельности общественного организма,

охватываемый соционормативной культурой, заметно шире. Эта происходит потому, что, как уже говорилось, существует определенный «порог», ниже которого отношения власти и властвования при всей несомненности их существования нельзя рассматривать как потестарные или политические. Скажем, к ним нельзя причислить отношения внутри семейных коллективов, поскольку здесь дело касается прежде всего естественного половозрастного разделения труда и соответствующего распределения социальных ролей. Точно так же в общем не могут быть подведены под определение политических отношения внутриобщинные, так как здесь социальная норма действует в рамках связей несамостоятельных малых коллективов. Но в то же время внутриобщинные отношения власти должны быть отнесены к потестарным, особенно когда община выступает в роли самостоятельного социального организма. Конечно, тезис этот отнюдь не абсолютен, из него возможны были и исключения. Как раз тогда, когда община функционировала как самостоятельный социальный организм, внутриобщинные потестарные отношения в определенных конкретно-исторических условиях могли перерасти в политические отношения внутри самой общины, превращая ее в политическую структуру. Так шло развитие полисных общин древней Греции и раннего республиканского Рима²⁸. И все же, насколько можно судить при современном уровне наших знаний, во всемирно-историческом масштабе то были именно исключения. В общем же случае в качестве того «порогового» уровня, начиная с которого власть и властвование приобретают предполитический, а тем более политический характер, надлежит, как это мне представляется, рассматривать уровень связей общины с надобщинными организациями, будь то племя-эсо, вождество или государство. Но и внутри семьи, и внутри общины всегда существуют и действуют достаточно строго соблюдаемые социальные нормы, регулирующие поведение индивидов или их категорий. Таким образом, культура потестарная и политическая, с одной стороны, оказывается уже, нежели культура соционормативная, пронизывающая все без исключения сферы и уровни жизни общества. С другой же стороны, она действует и за пределами данного общественного организма, там, где ему приходится иметь дело с другими такими организмами.

Главная задача нормативной функции потестарной и политической культуры — обеспечивать стабильность и регулярный характер поведения отдельных индивидов и групп в сфере отношений власти и властвования выше отмеченного «порогового» уровня, т. е. отношений потестарных и политических. Такой контроль над поведением отдельных составляющих системы есть необходимое условие нормального функционирования последней. Вместе с тем следует сказать, что, взятая сама по себе, нормативная функция потестарной и политической культуры вне сочетания с коммуникацией и без различения именно «сво-

ей» коммуникативной сети оказывается как бы этнически нейтральной по отношению к своему этносу. Однако дело обстоит так, строго говоря, тогда, и только тогда, когда рассматривается один отдельно взятый этнос с его культурой. Но когда мы, имеем дело с общественным организмом, объединяющим несколько этнических общностей при господствующем положении одной из них (ситуация, которую М. Смит обозначает термином «дифференциальная инкорпорация»²⁹), нормативная функция потестарной или политической культуры этой господствующей общности приобретает совершенно четкий этнодифференцирующий оттенок, разграничивая господствующих и подчиненных.

Впрочем, это еще одно доказательство того, что все перечисленные функции потестарной и политической культуры в исторической реальности существуют лишь в сочетании и взаимодействии. В любой потестарной или политической культуре докапиталистических обществ эти функции сосуществовали, хотя и могли быть выражены в разной степени в зависимости от конкретного этапа социально-экономического развития и от конкретной исторической обстановки. По всей видимости, классическим образом такого нерасчлененного единства отмеченных выше функций в потестарной культуре развитого родового общества можно считать первобытную мононорму. Правда, предложивший это понятие А. И. Першиц непосредственно имел в виду прежде всего соотношение права и морали в первобытном обществе³⁰. Думается, однако, что расширение первоначального содержания понятия достаточно оправдано: ведь мононорма, как таковая, не охватывая целиком ни коммуникативную сеть общественного организма, ни механизмы ее отличения от других аналогичных сетей, ни даже нормативную сторону потестарной культуры, тем не менее содержит весьма существенные элементы, во многом определяющие и конфигурацию информационных связей в обществе, и то, чем именно эта конфигурация отличается от других. В частности, не следует упускать из виду различие мононорматики ранних этапов первобытности и более зрелых ее этапов: степень дифференциации, начатки институционализации, особенно ясно обнаруживающиеся по мере перехода родового общества в предклассовую его стадию, появление на этом этапе лиц, постепенно приобретавших право на преимущественное толкование нормы, — все это в немалой степени трансформировало систему информационных связей общества, создавая в ней новые узлы или «размывая» ранее существовавшие. К анализу потестарной и политической культуры в ее роли коммуникативной системы мы еще вернемся, поэтому вышесказанное следует рассматривать лишь как предварительные замечания.

Было бы неверно думать, что дело ограничивалось одной только специализацией потестарной и политической культуры по мере продвижения общества по лестнице социально-экономической эволюции. И тем более будто такая специализация раз-

вивалась неизменно по восходящей линии. В ходе превращения предклассового общества в классовое, при становлении государственной, т. е. политической, организации сугубо политический смысл приобретали порой нормы, первоначально к потестарно-политической сфере не относившиеся или связанные с нею лишь косвенным путем и незначительно. В качестве примера можно сослаться на нормы полового поведения, которые резко изменили свой смысл именно на этом этапе общественной эволюции. И дело не в том только, что прелюбодеяние, особенно если речь шла о жене человека, принадлежавшего к высшему социальному слою, влекло за собой обычно самые суровые санкции: ведь оно становилось покушением на и без того трудно устанавливавшиеся нормы, диктовавшие увеличение социальной дистанции - между управляющими и управляемыми³¹. И. Коэн выдвинул представляющуюся достаточно обоснованной данными кросскультурного анализа гипотезу, согласно которой «становящееся» государство вообще стремится утвердить среди своих подданных «сдержанность в проявлении чувств» (affective austerity). Делается это с целью максимального переключения симпатий и эмоций населения на поддержку молодого государства и тем самым облегчения легитимации все той же социальной дистанции между управляющими и управляемыми³².

Будучи составной частью культуры в целом, культура потестарная и политическая, а также концентрированное ее выражение (хотя и не совпадающее с нею) — потестарная или политическая организация общества — во многих случаях могут рассматриваться в качестве черт той культурной специфики, утратив которую та или иная человеческая общность «перестает существовать как отдельный самостоятельный этнос»³³. Это особенно ясно обнаруживается в тех исторических условиях, когда этническая специфика этой общности еще не успела устояться, т. е. когда еще не завершен процесс этнической консолидации (что характерно именно для предклассового и раннеклассового уровней общественного развития). Таким образом, сама по себе потестарная и политическая культура в большой степени оказывается этнически специфичной.

Конечно, степень такого рода специфичности не следует преувеличивать. Тому есть по меньшей мере два основания. Первое — наиболее общее — заключено в том, что, как справедливо отмечалось в нашей литературе, неправоммерно (и, добавлю я, опасно с точки зрения доказательности результатов исследования) смешивать культуру этническую и культуру этноса³⁴. Специфична только первая, в составе же второй присутствуют и элементы межэтнического, и, чем выше по шкале социально-экономического развития стоит конкретное общество, тем большим будет их число. Второе основание в применении к потестарной и политической культуре — то, что в ней этническая специфика, строго говоря, выражается лишь в формах проявления, свойственных этой культуре. Основная задача данной ча-

сти культуры общества в целом остается одной и той же вне-зависимости от особенностей того или иного этносоциального организма: это — регулирование функционирования общества, руководство им и соответственно оформление отношений власти и властвования в нем. Принципиальное же различие заключено здесь лишь в разнице между обществами доклассового, т. е. потестарного, и классового, т. е. политического, уровней развития. Тем не менее, как уже говорилось в связи с нормативной функцией потестарной и политической культуры, в случаях многоэтнического классового общества, когда политическая культура господствующей этнической общности становится навязываемой сверху всем остальным, именно этнически специфичные моменты последней приобретают значение важнейших социально-политических индикаторов. Причем происходит это и при навязывании такой культуры, и тогда, когда, наоборот, она осуществляется достоянием единственно господствующей этнической общности.

3. Правомерность отнесения потестарной и политической культуры и органически с нею связанной потестарной и политической организации в докапиталистических обществах к этнически специфичным явлениям особенно подчеркивается огромной ролью ритуальных форм культуры в их функционировании. Конечно, докапиталистические общества ни в коем случае не могут считаться исключением в данном отношении: развитые формы ритуальной культуры существуют и в высокоразвитых капиталистических обществах, причем иной раз они сознательно консервируются, сохраняя свой архаичный облик, примером тому может служить политическая культура современной Великобритании. Определенные ритуальные формы присущи и политической культуре социалистического общества. Но разница заключена здесь в степени проникновения ритуала в повседневное функционирование политической культуры докапиталистических обществ с антагонистическими классами и тем более потестарной культуры организмов доклассовых. В них сигнификативная функция потестарной культуры выступает едва ли не на первый план: власть в потестарном смысле, как правило, органически сочетается в этих обществах с властью ритуальной, которая, в свою очередь, образует одну из важнейших частей соционормативной культуры, отличающей данный общественный организм от других. По существу, мы сталкиваемся снова с неоднократно уже упоминавшейся нерасчлененностью культуры доклассового общества, в частности такой ее сферы, как руководство функционированием социального организма. В докапиталистических классовых обществах — рабовладельческих, феодальных или "азиатских" (политарных) — ритуал тоже сохраняет активную роль в осуществлении власти и властвования, активную прежде всего в том смысле, что служит реальным механизмом осуществления власти и властных отношений, хотя непрерывно развивающийся процесс специали-

зации сфер культуры, в том числе политической культуры, неуклонно сужал значение ритуала в этой его роли. В конечном счете в полностью специализированной политической культуре капиталистического общества он превратился как бы в орнаментально-пропагандистское прикрытие сугубо политического по своему характеру механизма управления в обществе, построенного на эксплуатации человека человеком.

Единство власти потестарной и ритуальной весьма хорошо можно наблюдать в момент перехода от доклассового общества к классовому, особенно в обществе предклассовом, когда преобладающей формой потестарной надстройки становится вождество. Возрастание роли ритуального момента на этом этапе развития отношений власти и властвования нашло отражение в достаточно частом объединении в руках правителя власти собственно потестарной (более точно было бы, вероятно, говорить о позднепотестарной или даже «предполитической власти») и религиозной власти, т. е. в одновременном его функционировании в качестве первосвященника, или сакрального, или даже обожествляемого правителя. В западной науке весьма широкое распространение получило представление, будто кумуляция в одних руках власти духовной и светской и составляла чуть ли не важнейшую черту политической, по западной терминологии, структуры вождества³⁵. Все же делать из такого рода совмещения глобальное правило, по-видимому, неправомерно: при всей многочисленности подобных примеров нельзя утверждать, что они имеют универсальный характер. К слову сказать, А. Р. Рэдклиф-Браун, которого нередко считают как раз «родоначальником» этой концепции, рассматривал проблему более осторожно. Еще в 1940 г. в Предисловии к классической работе британских исследователей он, основываясь на изложенных в ней итогах изучения политических, по терминологии авторов, структур восьми африканских обществ, как государственных, так и безгосударственных («акефальных»), довольно справедливо подчеркивал, что в подобных случаях соединение в руках правителя «политической» должности со статусом духовного главы общины надлежит рассматривать не столько в качестве объединения самостоятельных функций, сколько как проявление разных аспектов единой функции управления обществом, т. е. был достаточно далек от абсолютизации³⁶.

Итак, мы снова имеем дело с нерасчлененностью отдельных сфер внутри такой специфической формы человеческой деятельности, как руководство жизнедеятельностью общественного организма. И коль скоро верования и обряды, с ними связанные, образуют одну из важнейших областей, где с полной ясностью видна этническая специфика культуры, их органическая связь с потестарной и позднее политической организацией (которая, подчеркнуто это еще раз, представляет как бы концентрированное выражение соответствующей потестарной или политической культуры в смысле форм и проявления) предполагает такую же

этническую специфичность этой последней, даже с учетом всех высказанных выше оговорок.

Вопрос об этнической специфике имеет существенное значение в связи с диалектическим характером взаимодействия культуры общества вообще и ее потестарной или политической составляющей. Диалектика эта в самом общем виде заключена в том, что последняя, входя в виде составной части в культуру того или иного этноса (точнее, этносоциального организма), выступает в то же время в качестве одного из самых действенных средств сохранения целостности (а стало быть, и «этничности») такой культуры. И больше того, по мере разложения первобытнообщинного строя и складывания предклассовых эсо — таких, как военно-демократические или военно-иерархические, а равным образом и складывавшиеся «аристократическим» путем, — позднетестарная надстройка которых приобретала форму вождества, и в не меньшей (если не большей) степени в обществах раннеклассовых потестарная и ранние формы политической культуры все чаще становились средством распространения культуры данной конкретной этнической общности на все более обширную территорию, и притом все чаще насильственным путем.

Здесь следует сделать некоторое отступление. Вполне очевидно, что культура, как таковая, не может быть реальным инструментом ни защиты целостности, ни распространения «своей» культуры на чужих территориях. Эти задачи непосредственно выполняет потестарная или политическая организация общества, т. е. определенная часть его социальной структуры. Отсюда возникает и вопрос: в каком соотношении находятся эта организация и потестарная и политическая культура?

Если исходить из сформулированного в начале главы (примеч. 1) представления о социальном строе общества как о структуре, а о культуре — как функции, т. е. способе деятельности, различие между ними становится достаточно очевидным. Действительно, потестарная и политическая организация выполняет самостоятельные структурные задачи, но то, как она их выполняет, определяется соответствующей сферой культуры общества, взятой в целом. В этом и заключен, по-видимому, смысл соотношения такой организации с потестарной и политической культурой. Иными словами, потестарная и политическая организация может рассматриваться как система культурно-детерминированных ролей в масштабе всего общества в целом; содержание этих ролей и характер их функционирования зависят от содержания соответствующих норм данной культуры. При этом в развитом родовом обществе, тем более на его ранних стадиях, вследствие общего синкретического характера культуры еще не разделены роль и институты, т. е. не выработан культурный код, сопровождающий всякую институционализацию³⁷. Как раз это обстоятельство и позволяет включать ответственные институты, выполняющие потестарные задачи на этих

этапах общественного развития, в число объективных элементов потестарной культуры, о чем говорилось ранее.

И в то же время именно понимание потестарной или политической организации (речь в данном случае преимущественно об относительно поздних стадиях потестарной организации) как системы культурно-детерминированных ролей, пронизывающей всю структуру общества, позволяет рассматривать эту организацию в качестве концентрированного выражения потестарной или политической культуры.

С учетом сказанного можно обратиться к рассмотрению места потестарной и политической культуры в защите и распространении этнической культуры в целом. Отнюдь не случайно Р. Нэрролл, пытаясь как-то уточнить ту базовую форму этнической единицы, которая представляла бы большие удобства для кросскультурного изучения, нежели столь широко распространенная в науке категория племени, ввел в число критериев, определяющих предлагаемую им «культурную единицу» (*cultunit*), и такой, как принадлежность к одному и тому же государству или же по крайности «к одной и той же контактной группе»³⁸. При подобной постановке вопроса потестарная или политическая культура (ибо именно она только и может обеспечить сохранность «контактной группы», уже не говоря о государстве) оказывается защитным механизмом культуры общности в целом. Собственно, такая интерпретация потестарной или политической культуры, выраженной в соответствующих формах организации, представляется частным случаем понимания культуры как универсального адаптивно-адаптирующего механизма, понимания, восходящего в конечном счете к Дж. Стюарту и нашедшего широкое применение в зарубежной и отечественной науке³⁹.

Именно в качестве защитного механизма культуры предстает перед нами потестарная и политическая культура этнической общности, действующая через соответствующие формы организации, в тех случаях, когда в качестве одного из главных критериев при определении этой общности выдвигается ее «внешняя независимость»⁴⁰. Вполне очевидно, что вне каких-то организационных рамок такую независимость обеспечить невозможно. Но в данном случае организация, оставаясь составной частью социальной структуры общества, в то же время выражает и закрепляет и определенные субъективные факторы, направляющие потестарную или политическую деятельность членов этого общества, их ценности, ориентации, традиции, связанные с подобного рода деятельностью. Иными словами, прежде всего именно через эту организацию выражаются коммуникативная, сигнификативная и нормативная функции потестарной или политической культуры, не говоря уже о ее инструментальной функции, т. е. организация отношений власти и властвования — неперемный элемент существования и жизнедеятельности, более того, необходимое их условие в любой «контактной

группе», применяя термин Р. Нэролла (если, конечно, эта группа представляет нечто более или менее стабильное).

Но потестарная и политическая культура не только защитный механизм той или иной этнической культуры (впрочем, она может оказаться таковым и в применении к культуре этноса, включающей не одни лишь этнически специфичные элементы культуры, но и восходящие к межэтническому общению: ведь в любом случае сочетание этих двух категорий образует более или менее неповторимую конфигурацию именно культуры этноса). По мере того как расширяются границы потестарной или политической структуры — более точно было бы говорить о позднепотестарной и раннеполитической, коль скоро именно для эпохи перехода от предклассового к раннеклассовому обществу более всего типично такое расширение, — она активно вмешивается в динамику культурных изменений. Происходит заметное ускорение этой динамики и в рамках самой расширяющейся этнической общности — эсо, объединяемой данной структурой, и у тех общностей, с которыми она вступает в контакт при своем расширении.

Процесс этот имеет, как, впрочем, и во всех других случаях, диалектический характер. С одной стороны, потестарная или политическая культура играет стабилизирующую роль в составе культуры в целом, защищая ее целостность. Но, с другой стороны, само по себе расширение границ потестарной или политической системы влечет за собой заметное расширение возможностей случайного накопления изменений, которое впоследствии может привести к существенному изменению самого характера культуры, представленной этой системой. Речь идет, таким образом, об увеличении возможности культурного дрейфа⁴¹. Причем такой дрейф распространяется и на саму потестарную или политическую культуру. Ее неизбежное взаимодействие с другими такими же культурами имеет следствием изменение сложившихся этнически специфичных форм организации отношений власти и властвования у этносоциального организма, расширяющего свою территорию⁴². Процесс этот может заметно ускоряться, если наблюдается своего рода этническая и связанная с нею потестарная непрерывность — явление, достаточное характерное для тех общественных организмов, в которых эволюция и потестарной культуры, и связанной с нею потестарной структуры еще не продвинулась настолько далеко, чтобы сделаться в большей или меньшей степени этнически специфичной⁴³.

В качестве примера, притом весьма показательного, можно назвать общество алуоров — нилотского народа, живущего по обе стороны границы между Угандой и Заиром. Именно алуорские этнопотестарные организации послужили Э. Саутхоллу в 50-х годах основой для выдвинутой им концепции «сегментного государства», т. е. пирамидальной структуры, образованной множеством фокусов власти, повторяющих на более низких уровнях организацию власти на самой вершине пирамиды. Кон-

троль этой вершины над нижестоящими локальными сегментами оставался весьма слабым. Более того, в качестве отличительной черты «сегментного государства» исследователь выделил крайнюю неопределенность границ его сегментов по мере движения от центра к периферии. Нарастание такой неопределенности приводит к тому, что на окраинах страны алуров локальные сегменты могли входить в той или иной форме не только в алурскую потестарную систему, но и в пирамидальные структуры, принадлежащие другим общностям. Э. Саутхолл проанализировал свою концепцию на довольно широком сравнительном материале, в частности западноевропейском (как сегментные он рассматривал, например, «королевства» кельтов и германцев в Британии и Северо-Западной Европе), и показал значительное распространение таких структур в прошлом у многих народов мира⁴⁴.

Мы оказываемся, таким образом, перед определенным противоречием: с одной стороны, стабилизация культуры, с другой — расширение возможностей ее изменения, причем обе роли одновременно играет одна и та же ее составная часть. Чтобы понять механизм этого явления, целесообразно будет рассмотреть проблему с точки зрения движения культурной информации в информационной сети социальной, точнее, этносоциальной общности.

4. Начнем с того, что при изучении процесса культурного взаимодействия — а мы имеем дело именно с ним — нужно все время учитывать весьма деликатное соотношение потестарной или политической культуры и соответствующей организации. Как уже было замечено, они не совпадают, хотя потестарная или политическая структура общества может в известном смысле рассматриваться в качестве концентрированного выражения его потестарной или политической культуры. Тем не менее несовпадение существует, и обусловливается оно тем, что здесь представлены информационные связи разного характера.

Как показали в свое время С. А. Арутюнов и Н. Н. Чебоксаров, информационная сеть социальной общности строится преимущественно на горизонтальных, т. е. синхронных, связях. В общности же этнической преобладают связи вертикальные, т. е. диахронные. Конечно, абсолютизировать такое различие невозможно: взаимоотношения информационных связей разного вида диалектичны, и связи синхронные и диахронные неизбежно в какой-то степени переплетаются⁴⁵.

В интересующем нас случае потестарная или политическая организация общества образует важнейшую составную часть его социальной структуры в целом. И в этом своем качестве она представляется исследователю как система, или сеть, связью преимущественно синхронных, горизонтальных. В то же время потестарная или политическая культура общества входит неотъемлемой частью в состав всей культуры данного эсо; и, как таковая, она, естественно, включена в систему, или сеть,

главным образом диахронных, т. е. вертикальных, информационных связей.

На пересечении двух этих сетей располагаются определенные, присущие данному конкретному обществу традиции потестарной или политической организации. Именно эти традиции, с одной стороны, обеспечивают преемственность в развитии организации отношений власти и властвования. В этом своем качестве они образуют едва ли не важнейшую составную часть, культуры — потестарной или политической. Но, с другой стороны, эти же традиции служат одним из самых действенных элементов, скрепляющих потестарную или политическую организацию данного эсо, т. е. систему информационных связей, в основном синхронную. Таким образом, традиция выполняет роль связующего звена между структурой и культурой.

Изложенная выше схема, будучи, по-видимому, вполне справедлива в принципе, все же не дает должного представления как раз о механизме передачи и изменения традиции, без чего практически трудно представить двойственность «поведения» потестарной и политической культуры в условиях межэтнического контакта. Поэтому я попытался ввести в нее помимо чисто временного также и пространственное измерение⁴⁶. В этом случае информационная сеть культуры приобретает вид, напоминающий некую кристаллическую решетку, и превращается уже не в сеть, а в трехмерное историко-культурное пространство, в котором и происходят культурные взаимодействия.

В таком пространстве через любую точку пересечения вертикальной и горизонтальной сетей может проходить множество плоскостных сетей информационных связей. Такие сети могут строиться по разным критериям, но относиться тем не менее к одному и тому же факту культурной традиции (в нашем случае — потестарно- или политико-культурной). Но и любая диахронная связь должна в принципе пересекать любое число синхронных срезов коммуникации. В результате все возможные сочетания синхронных и диахронных временных связей, относящихся к одному и тому же факту в разных его аспектах, создают в историко-культурном пространстве определенный информационный пучок.

Если рассматривать сечение такого пучка какой-либо синхронной плоскостью, надлежит принимать во внимание, что передача основного содержания традиции — вовсе не единственная задача этого пучка. Он одновременно отражает и более раннее состояние передаваемой традиции, и воздействие на нее других: — социальных и культурных явлений на более ранних синхронных срезах. Под влиянием контакта с этими другими явлениями конфигурация синхронной проекции информационного пучка подвергается изменению. В результате ее периферийные части испытывают более сильное давление, тогда как центральная сохраняется более или менее неизменной с точки зрения плотности: в ней информационных связей. Этим и обеспечивается стабиль-

ность традиции, как таковой, ее основного социально-культурного содержания, И в то же время меньшая плотность связей на периферийных участках создавала больше возможностей для появления здесь новых моментов, которые на более поздних синхронных срезах воспринимались уже как часть всей традиции в целом. А так как при определяющем влиянии центральной части «пятна» на содержание традиции эта центральная часть тем не менее неизбежно воспринимает информацию, поступающую с периферии, с течением времени такая новая информация накапливается в количестве, достаточном для того, чтобы повлиять и на основное содержание традиции, изменяя его в том или ином смысле.

Понятно, что при расширении зоны действия той или иной культуры в пространстве происходит двойной процесс. С одной стороны, центральное ядро традиции сохраняется, пусть даже и с известным разрежением плотности образующих его информационных связей. С другой стороны, такого рода разрежение оказывается на периферии расширяющегося культурного ареала гораздо большим и, значит, позволяет более активное внедрение здесь новых элементов, иначе говоря, интенсификацию культурного дрейфа. Нужно при этом иметь в виду, что сам процесс изменения конфигурации синхронных проекций информационного пучка протекает неравномерно как во времени, так и в пространстве, а это тоже расширяет число возможных вариантов изменения традиции.

Последнее обстоятельство немаловажно, потому что традиция—и особенно традиция потестарной и политической культуры—обладает относительно самостоятельностью. Это обеспечивает ей значительную способность к тому, чтобы восприниматься этническими общностями иной культуры в сравнении с другими элементами культуры. Тем не менее это восприятие подчиняется весьма четко выраженным закономерностям. Первой такой закономерностью и неперменным исходным условием/усвоения служит стадияльная близость вступающих в контакт эсо, хотя, конечно, степень такой близости сама подвержена варьированию. При условии стадияльной близости разные сферы потестарной и политической культуры оказываются более проницаемы для внешних влияний. Помимо стадияльной близости немалую роль играет и сходство природной среды, в большей или меньшей степени повышающее вероятность принятия аналогичных решений в процессе адаптации к ней общества, в первую очередь вероятность близости хозяйственно-культурного типа (ХКТ), к которому относятся взаимодействующие эсо, или же, наоборот, взаимодополняемость их ХКТ.

Вместе с тем неравномерность изменения конфигурации синхронной проекции информационного пучка культурной традиции, которая затрагивалась выше, предполагает, что реакция различных частей традиции на внешний контакт, степень его усвоения ими не могут и не должны быть одинаковыми. Помимо

специфики конкретной исторической обстановки в каждом отдельном случае существуют некие общие рамки, в которых должна проявляться реакция отдельных областей, или функций, потестарной и политической культуры на действие внешних факторов, нарушающих их первоначальную деятельность. Или, в иной формулировке: в какой мере неизбежные сами по себе изменения обнаруживаются в сфере действия разных функций потестарной и политической культуры?

По-видимому, общим исходным принципом при попытках ответить на этот вопрос должен быть тот, что при контакте двух обществ и их культур реципиент воспринимал из культуры общества-донора лишь те ее элементы, к которым он бывал подготовлен уровнем своего собственного развития. В отечественной этнографической литературе этот принцип, восходящий, строго говоря, еще к философам эпохи Просвещения, в последние годы весьма плодотворно использовался при изучении контактов между классовым миром и его первобытной периферией⁴⁷. Однако он, несомненно, имеет универсальное значение и в такой же мере применим и к культурному взаимодействию между обществами классовыми⁴⁸, равно как и между обществами, еще не достигшими этого рубежа.

В процессе изучения таких контактов становится вполне очевидно, что разные сферы жизни общества неодинаково реагируют на вносимые в них новшества: скажем, сфера технологии оказывалась в этом смысле более восприимчива, нежели социальная или идеологическая⁴⁹. Общим, однако, было то, что интегрировались, как правило, отдельные элементы, но не целостные их системы: практически не происходило прямого копирования форм социальной организации, а идеологические влияния, прежде всего религиозные, подвергались иногда столь сильному приспособлению, что могли изменяться до неузнаваемости. И даже в технологической сфере заимствование было выборочным.

5. Потестарная и политическая культура докапиталистического уровня располагается как бы на стыке социальной и идеологической сфер жизни общества. И, следовательно, условия для восприятия внешних влияний были достаточно сложны, так как всякое заимствование представляло вторжение в едва ли не самую важную и деликатную область руководства обществом. Я говорю здесь о контакте между равными партнерами, когда взаимность влияния предполагалась, так сказать, по определению. Однако историческая практика, особенно в эпоху перехода от общества предклассового к раннеклассовому, далеко не всегда предоставляла возможности для таких равноправных отношений. Возрастание роли военного фактора на этой стадии развития все чаще приводило к тому, что позднепостарая или раннеполитическая культура общества-победителя навязывалась более слабому участнику контакта. Соответственно по-разному влиял контакт в разных исторических условиях

на выполнение потестарной и политической культурой отдельных ее функций. Это и понятно: при неизменном сохранении за этой частью культуры того или иного этноса-эсо роли защитного механизма культуры последнего в ее целостности неодинаковые условия контакта с культурой других этносов выдвигали на передний план то одну, то другую из таких функций.

Конечно, вопрос равноправного или неравноправного характера контакта зависел прежде всего от соотношения военно-технических потенциалов партнеров; причем этот термин следует понимать в данном контексте в широком смысле — с включением в него и экономических, и организационных, и обществено-психологических моментов (хотя и при таком подходе было бы неверно в принципе абсолютизировать значение такого соотношения потенциалов). Для «выравнивания» условий контакта первостепенную роль играла инструментальная функция потестарной или политической культуры общества. К тому же новшества в этой сфере, особенно те, которые были непосредственно связаны с техникой и технологией, вообще принадлежали, к наиболее легко усваиваемым культурным элементам. И именно технические заимствования, скажем более эффективные виды вооружения, могли существенно повысить эффективность потестарной или политической структуры, эффективность «внешнюю», т. е. направленную на защиту целостности данного этносоциального организма и его культуры от внешних факторов, и «внутреннюю» (в предклассовом и тем более в раннеклассовом обществе), т. е. ориентированную на подавление социального протеста и стабилизацию складывавшейся классово антагонистической социальной структуры этого же эсо.

В качестве примера такого резкого повышения действенности можно было бы привести западноафриканские этнопотестарные образования эпохи, непосредственно предшествовавшей колониальному разделу континента⁵⁰. Пишущий эти строки в свое время как раз таким образом и поступил⁵¹. Однако при более внимательном рассмотрении эта проблема представляется мне не столь простой. Дело в том, что в данном случае мы сталкиваемся со взаимодействием обществ предклассового уровня развития с уже высокоразвитым капитализмом Западной Европы, в крайнем случае с испытавшими сильное воздействие того же капитализма позднефеодальными обществами Северной Африки. Да, действительно, традиционная потестарная или раннеполитическая культура ряда обществ Западной Африки претерпела существенные изменения. Но речь-то шла уже, в сущности, о «зависимом развитии» этой культуры, когда она приспособлялась «резким изменениям потестарной или политической структуры, происходившим в форме переориентации на обслуживание европейской работorgовли как важнейшего фактора экономической и социальной жизни. И такое приспособление означало в условиях второй половины XVIII—первой половины XIX в. не просто повышение эффективности структу-

ры, но и резкое, не вызванное внутренним развитием общества изменение всей системы ценностей, связанных с потестарными и политическими отношениями, и распределения ролей, и мотивации потестарного и политического поведения. Подобный же процесс происходил и на восточном побережье континента под воздействием ближневосточной работорговли, хотя и на несравненно более низком уровне социально-экономического развития участвовавших в нем сторон.

Таким образом, изменения в инструментальной функции потестарной и политической культуры в рассмотренном случае характерны скорее для самых ранних этапов складывания будущей колониальной политической культуры, точнее, ее предпосылок, нежели для нормального протекания контактов между обществами докапиталистического уровня, особенно предклассовыми и раннеклассовыми. Здесь технологические заимствования в силу сравнительно небольшого разрыва в этой области между контактировавшими эсо не могли за короткое время существенно изменить относительное равновесие между потестарной и политической культурой вступающих во взаимодействие этносов, существовавшее к началу такого взаимодействия. Поэтому именно в данном контексте мы можем ограничиться рассмотрением того, как реагировали на контакт три другие важнейшие функции потестарной или политической культуры — коммуникативная, сигнификативная и нормативная. Или, что, в сущности, то же самое, насколько восприимчивыми оказывались сферы действия этих функций к влияниям со стороны и соответственно как эта восприимчивость воздействовала на оформление конфигурации всей потестарной или политической культуры общества. При этом предполагается, что последняя может в определенном смысле рассматриваться как совокупность традиций потестарной или политической жизни, т. е. коллективного опыта, выраженного в социально организованных стереотипах восприятия окружающей действительности и поведения⁵².

По-видимому, в наименьшей степени оказывалась подвержена изменению первая из этих функций — коммуникативная. В самом деле, взаимодействие с другим эсо примерно одинакового уровня развития и соответственно более или менее сходной плотности информационной сети культуры, или историкокультурного пространства, не вызывает надобности в сколько-нибудь заметном видоизменении коммуникативной сети данного общества, во всяком случае, в том, что касается внутренней жизни этого общества. Иными словами, плотность информационных связей не претерпевает сколько-нибудь заметного увеличения. Правда, общая конфигурация «пятна» при этом может изменяться: оно, в частности, расширяется вовне, образуя размытую зону информационного взаимодействия с другими этносами-эсо. Но плотность связей в таких периферийных зонах намного ниже, особенно на первых порах. К тому же в эти связи вовлекается несравненно меньшее число индивидов (да и

групп), чем участвует во внутренних связях общества. Таким образом, обеспечение движения информации в обществе не требует ни принципиального усиления роли коммуникативной функции, ни ее активизации. Понятно, что все это до поры до времени: рано или поздно количественный рост информации, получаемой при контактах, потребует качественного изменения сети, а значит, возрастет и роль коммуникативной функции потестарной или политической культуры.

В то же время любой контакт сразу же приводит к заметному возрастанию значения сигнификативной функции этой культуры: изменение конфигурации последней вследствие расширения коммуникативной сети (пусть даже и в периферийной зоне) вовне угрожало бы постепенным «растворением» этнической специфики культуры общества в целом, если бы параллельно не происходило укрепление механизмов, отграничивающих внешние звенья сети от внутренних. Аналогичным же образом должны возрасти роль и интенсивность осуществления нормативной функции. Та же самая угроза «растворения» этнической границы требовала обязательного ужесточения контроля над соблюдением стереотипов массового и индивидуального потестарного или политического поведения, характерного для соответствующей потестарной или политической культуры того или иного общества.

Но параллельное возрастание значения сигнификативной и нормативной функций отнюдь не было равномерным и никак не означало, что они одинаково легко усваивают и допускают в сферу новшества, которые могли появляться в культуре данного эсо в результате контакта. Казалось бы, можно ожидать, что сигнификативная функция, именно поскольку она отграничивает прежде всего этническую специфику данной потестарной или политической культуры, должна была реагировать на такого рода новшества особенно отрицательно или по меньшей мере сдержанно. В действительности же, насколько можно судить по имеющемуся в распоряжении науки фактическому материалу, новые элементы этой культуры быстрее всего проявлялись как раз в сигнификативной функции, т. е. как знаковая система. Правда, при этом они неизменно в большей или меньшей степени переосмысливались, приспособлялись к условиям и потребностям общества-реципиента и его культуры. И тем не менее, каким это ни покажется парадоксальным на первый взгляд, легче всего пополнялись и обновлялись те аспекты потестарной или политической культуры, которые должны были символизировать именно данную коммуникативную сеть, отличая ее от других. Но зато существо, основное содержание социально-культурной информации, циркулировавшей в этой сети, отличала относительная стабильность; она поддерживалась бесперебойным функционированием традиционной нормы, которая (особенно на первых порах контакта) в меньшей мере подвержена изменениям. Иначе говоря, нормативная функция поте-

старной и политической культуры проявлялась в относительно-менее широкой зоне, чем функция сигнификативная.

В качестве иллюстрации к высказанным соображениям можно, скажем, привести взаимодействие ислама и традиционной африканской потестарной и политической культуры в рамках вожеств и раннеполитических образований сахельской зоны континента — в Западном и Центральном Судане. Здесь принятие ислама правящей социальной верхушкой не сопровождалось, особенно в первое время после такого акта, сколько-нибудь заслуживающими внимания изменениями в коммуникативной и нормативной функциях соответствующих потестарных или политических культур. Но в то же время все внешние, так, сказать, формальные черты мусульманской политической организации утверждались очень быстро и присутствовали на самых высоких уровнях руководства и управления. В подобных случаях с полной ясностью обнаруживалась, с одной стороны, большая восприимчивость сигнификативной сферы, а с другой — чисто внешняя ориентация заимствований, которые почти немедленно занимали видное место в проявлении сигнификативной функции начинавшей модернизироваться политической культуры (или потестарной, перераставшей в политическую). Но внутри общества, вне пределов мусульманских столиц и торговых центров, в полной мере продолжали действовать традиционные потестарные или политические нормы, а коммуникация, связанная с отправлением в этом обществе власти и, управления, практически не подвергалась сколько-нибудь ощутимым изменениям⁵³. Это положение сохранялось, по существу, таким же вплоть до попыток религиозных реформаторов XVIII—XIX вв. привести политическую культуру общества в большее соответствие с мусульманской правовой теорией, да и сами успехи этих предприятий оказывались непрочными. В итоге у многих этносов региона сформировалась синкретическая культура, где ислам находит выражение почти исключительно в сигнификативной сфере.

Выше говорилось о таких факторах, делающих возможным усвоение элементов иноэтничной потестарной или политической культуры и делающих ее основные сферы более проницаемыми для таких элементов, как стадияльная близость взаимодействующих эсо и сходство природно-хозяйственных условий существования последних. При благоприятном сочетании этих факторов нередко становится возможным формирование своего рода макропотестарных и макрополитических метаобщностей, характеризовавшихся общностью именно потестарного или политического компонента культуры. Они могли строиться вокруг какого-либо одного центрального эсо, но потестарная или политическая гегемония последнего, не говоря уже о прямом подчинении ему остальных, вовсе не была обязательна, общность же других компонентов культуры могла быть выражена, довольно слабо. Ареалы такого рода метаобщностей могли бы-

рассматриваться как определенные потестарно- или политико-культурные регионы⁵⁴. В этих регионах преобладали формы потестарной или политической культуры и ее традиций, которые в наибольшей степени находили свое выражение в каком-то центральном для данного региона эсо, как общее правило, далее других продвинувшемся в своем социально-потестарном или социально-политическом развитии. Впрочем, и наличие такого центра было необязательным: иногда природные условия в сочетании с сильным воздействием какого-то внешнего фактора формировали такой регион в его отсутствие. Например, так развивалась потестарная организация у конных охотников североамериканских прерий⁵⁵.

При складывании подобных метаобщностей вариации затрагивали в первую очередь опять-таки сигнификативную функцию потестарной или политической культуры, хотя степень воздействия на коммуникативную и нормативную функции ее в таких условиях должна была быть относительно большей, чем при простом сосуществовании разных этносов-эсо.

6. И коммуникативная, и сигнификативная, и нормативная функции потестарной или политической культуры так или иначе реализуются через потестарное или политическое сознание и самосознание (точно так же как вся политическая культура реализуется через политическое поведение⁵⁶). Эту форму сознания можно определить как «систему представлений, которые складываются у индивидов и социальных групп по поводу политической власти и политической динамики»⁵⁷, дополнив такое определение введением в него потестарных власти и динамики. Это важно, учитывая то обстоятельство, что в задачу потестарной и политической этнографии входит в значительной мере изучение отношений власти и властвования в доклассовых обществах.

Потестарное и политическое сознание и самосознание сходны с этническим сознанием и самосознанием в том отношении, что оба эти вида общественного сознания служат важнейшими разграничителями в системе отношений «мы — они». Больше того, в обществе доклассовом, особенно на ранних его стадиях и в пору расцвета родового строя, в силу нерасчлененности общественного сознания людей такого общества потестарное и этническое сознание практически совпадают. К тому же основные представления, связанные с потестарной и с политической культурой общества, индивид получает в процессе потестарно-политической социализации, центральной ячейкой которой в подавляющем большинстве докапиталистических обществ оказывается семья или структура непосредственно надсемейного уровня — община или семейно-родственная группа в той или иной ее форме. Именно они оказываются главными хранителями традиций, и представлений потестарной и политической культуры общества. Именно здесь и вырабатывается в ходе межпоколенной трансмиссии культуры та субъективная составляющая по-

тестарной или политической культуры, та система представлений и ценностей, которую можно определить как потестарное и политическое сознание и самосознание, те элементы соответствующей культуры, которые в западной политологии определяются словосочетанием «первичные политические представления» (primitive political beliefs)⁵⁸. И вот это сознание и самосознание есть часть обыденного сознания, которое образует один из элементов «этнического слоя культуры»⁵⁹, хотя ни в коей мере не совпадает с ним целиком.

Но точно таким же путем происходит и формирование этнического сознания и самосознания: здесь действуют те же агенты и преследуются те же цели. И больше того, этническое сознание и самосознание в доклассовом обществе может выполнять, по существу, потестарные функции. Иначе говоря, потестарное сознание наличествует и у членов таких обществ, в которых трудно обнаружить сколько-нибудь оформленную потестарную структуру, хотя и не всегда возможно выявить это сознание при непосредственном опросе исследователем в виде более или менее определенной и систематизированной совокупности взглядов, именно касающихся проблем власти и ее осуществления в коллективе. Вот в таком смысле и следует понимать, окажем, заявление Л. Бьюкенен о том, что сегментная организация народа тив в Нигерии держится как раз тем, что у тив нет понятий⁶⁰ политики и политического в привычном для европейца смысле.

Любопытно в данном случае то, что «первичные политические (и потестарные!) представления» формируются ниже того «порогового» уровня, до которого действуют отношения потестарные и политические (см. выше). Как известно, этническим общностям свойственна иерархическая структура, и структура эта состоит из таксонов разного уровня. В роли таких таксонов оказываются единицы, которые обладают значимым комплексом этнических характеристик и черт. Они могут варьировать от микроэтнических — семьи — до макроэтнических типа союза племен-эсо. На всех этих уровнях существует надобность в руководстве и управлении, и на всех она удовлетворяется теми или иными формами властных отношений. Но сама по себе сфера действия потестарной и политической культуры, равно как и ее уровни, не совпадает с иерархией этнических общностей.

Одна из важнейших составных черт потестарной и политической культуры, как уже говорилось, — определенные традиции потестарной или политической организации. Именно они оказывались особо действенными и активными в эпоху перехода от общества предклассового к раннеклассовому, т. е. в процессе постепенного превращения потестарной культуры (точнее, ее поздних форм) в раннеполитическую. Именно они обеспечивали социальной верхушке, мало-помалу перерождавшейся в эксплуататорский протокласс, а затем и просто в господствующий

класс, «технические» возможности, с одной стороны, для монополизации функций руководства и управления обществом, а с другой (и через такую монополизацию)—для соответствующего перераспределения общественного продукта в пользу такого нарождавшегося класса.

Этот важнейший качественный переход от потестарной культуры к политической начинался теперь уже с нормативной функции соответствующей культуры. Прежде всего с нормативной функцией было связано неизбежное выделение специализированной функции внутреннего подавления, обретавшей здесь относительную самостоятельность. Это находило отражение и в постепенной специализации в пределах общего историко-культурного пространства потестарной культуры, да и всей культуры вообще, особого участка, связанного с таким подавлением. Но не менее важным было и то, что как раз через постепенное и не сразу заметное (во всяком случае, в пределах каждого отдельно взятого поколения) изменение форм проявления нормативной функции потестарной культуры шел процесс легитимации новых элементов и в самой этой культуре, превращавших ее из потестарной в политическую, прежде всего укоренение в ней отношений господства и подчинения, прикрытое достаточно растянутым во времени приспособлением традиции к новой социально-экономической обстановке.

Рубеж перехода от предклассового общества к раннеклассовому был отмечен и таким важным явлением, как возникающая возможность отделения политического сознания от сознания этнического (в данном случае имеются в виду как сознание, так и самосознание). Теоретически, эти составные части общественного сознания вообще могли полностью совпасть лишь на сравнительно коротком историческом промежутке— тогда, когда этническая общность-этнокос приобретала социально-потестарные функции, т. е. превращались в этносоциальный организм. Иными словами, «а уровне такой формы общественной организации, как племя-эсо, причем вопрос о «первичном» или «вторичном» характере племени как формы общественной организации для нас в данном случае не имеет существенного значения»⁶¹.

Но уже на уровне союза племен, этносоциального и этнопотестарного организма непосредственно предклассовой эпохи, так же как и в «сложных» вождествах типа инкского во второй четверти XV в. или полинезийских XVII—XVIII вв.⁶², в потестарной культуре, точнее, в потестарном самосознании членов таких общностей возникает несомненная двойственность. Начинается разграничение собственно сознания принадлежности к тому или иному племени, т. е. этнического, и принадлежности к определенному этнопотестарному организму более высокого таксономического уровня, т. е. сознания собственно потестарного, а затем и политического. Конечно, дифференциация этих форм самосознания происходила достаточно медленно: коммуни

кативная сеть племени гораздо плотнее аналогичной сети союза племен и даже вождества, особенно на первых порах существования последнего. Поэтому ощущение связи именно с племенем, с его ценностями и символикой, с его ритуалом и поведенческими нормами (т. е. со всем тем, что представляет сигнификативную и нормативную сферы потестарной культуры) поначалу должно было быть сильнее чувства связи с метаплеменной структурой.

Бесспорно, однако, что по мере складывания новых форм этнических общностей, этнополитических организмов, характерных для раннеклассового общества и соответствовавших им, происходило все ускорявшееся уплотнение информационной сети таких новых общностей, в особенности с созданием письменности (хотя последнее вовсе не было явлением универсальным!)⁶³. И по мере того как такая сеть уплотнялась, понемногу достигая плотности информационных связей, характерной для племени, а затем и превосходя ее, раннеполитическое сознание и самосознание начинали перерастать первоначальный этнический уровень. Они во все большей степени становились осознанием принадлежности к определенной раннеполитической общности, границы которой чаще всего перекрывали границы первоначальных эсо, т. е. племен, становившихся одновременно частями формировавшихся первичных, раннеклассовых народностей.

Сложение такого раннеполитического сознания и самосознания сплошь и рядом опережало формирование самосознания этнического на новом уровне этнического развития. И, таким образом, это раннеполитическое сознание и самосознание становилось как бы предпосылкой формирования нового иерархического уровня сознания и самосознания этнического. С точки зрения историко-культурной это было отражением дифференциации различных сфер культуры общества вообще, выделения тех или иных специализированных ее областей из некогда единой синкретической и недифференцированной культуры первобытного общества периода его расцвета, по мере того как это общество неуклонно усложнялось в структурном отношении и соответственно усложнялись руководство и управление им, требуя новых подходов.

Подобная дифференциация сфер культуры, выделение культуры раннеполитической и обретение ею относительной самостоятельности в немалой степени могли ускориться в тех случаях, когда субъективные моменты политической культуры, и в первую очередь соответствующее сознание и самосознание, получали возможность и обнаруживали тенденцию ассоциироваться с осознанием принадлежности индивида или группы к иным суперэтническим общностям. Понятно, что при уровне общественного сознания, характерном для эпохи перехода от первобытнообщинного строя к классовой структуре, преобладающими формами таких общностей оказывались общности

конфессиональные, которые в более отдаленной перспективе могли иногда перерастать в этноконфессиональные.

Пожалуй, самым ярким примером такого развития может послужить распространение форм политической культуры, порожденных исламом. Я имею в виду такие ее элементы, как подчеркнуто теократический характер политической организации, сочетание в лице правителя политического руководителя и главы религиозной общины, универсалистские тенденции к противопоставлению мусульманской общины в целом как единого организма всем иноверным общностям этнокультурного и политического характера⁶⁴. Конечно, все эти характеристики были более или менее адекватным отражением реальности лишь на начальном этапе мусульманских завоеваний, именно тогда, когда понятие «мусульманин» более или менее совпадало с понятием «араб». Позднее, когда в состав мусульманских владений вошли страны с несравненно более высоким уровнем общественного и политического развития, чем Аравия VII в., где сложились исходные принципы новой политической культуры, практика управления сначала халифатом, а затем независимыми политическими образованиями, на которые он довольно скоро начал распадаться, все более отклонялась от теории. Но сама эта теория с незначительными модификациями оставалась, да и сейчас еще в ряде случаев остается — достаточно напомнить о развитии событий в Иране после революции 1978—1979 гг. — неотъемлемой частью символов и ценностей мусульманской политической культуры, как бы ее ни старались приспособить к современной действительности.

7. История мусульманских завоеваний на Ближнем и Среднем Востоке в раннем средневековье, а также практика распространения ислама в таких регионах земного шара, как Юго-Восточная Азия и особенно Тропическая Африка, вновь возвращают нас к проблеме взаимодействия эсо, каждый из которых обладает собственной потестарной или политической культурой, и непосредственных результатов такого взаимодействия. Проблема эта возникала и возникает и по сей час при формировании практически любой полиэтничной политической общности, а также и в контактных зонах разных эсо, даже в тех случаях, когда не происходит сложения «плюралистского» общества⁶⁵. Выше она частично уже рассматривалась с точки зрения движения культурной информации в коммуникативной сети культуры (да и вообще представляет в принципе частный случай проблемы культурного взаимодействия разных этносов). Попробуем теперь взглянуть на нее сквозь призму конкретных случаев такого взаимодействия.

Принципиальное ее решение в применении к культуре потестарной и политической, по-видимому, не должно и не будет отличаться от более общего случая. В конечном счете должна будет сложиться культура, вобравшая в себя и творчески переработавшая элементы составивших ее разноэтничных культур.

И точно так же окончательно складыванию такой единой культуры будет предшествовать этап бикультурализма, который в данном случае может быть обозначен как биполитизм. Но особенностью этого биполитизма по сравнению с бикультурализмом в других сферах культуры оказывается то, что гораздо чаще он завершается образованием двух сосуществующих и взаимодействующих в рамках единого целого неравноправных политических субкультур. Конечно, возможны и известны в реальности и случаи сосуществования двух потестарных культур при таком объединении доклассовых этнических общностей, которое в литературе предложено было именовать «консолидацией», т. е. «соединением самостоятельно сложившихся корпоративных коллективов в качестве равных и внутренне автономных партнеров в составе единого общества»⁶⁶. Но при складывании в рамках раннеполитических культур двух или более субкультур их равенство будет вариантом скорее исключительным, нежели общим правилом. Это и понятно: сам процесс классового образования, одним из моментов которого служит трансформация потестарных отношений в политические, характеризуется как раз широким внедрением в социальную практику отношений господства и подчинения, а отнюдь не тенденцией к поддержанию равноправия между участниками этого процесса, будь то коллективы или индивиды.

Неравенство политических субкультур в рамках единой политической культуры объясняется тем, что здесь определяющее значение приобретает уже не этническая специфика культуры, а ее классовый характер. Преобладание всегда получает политическая культура более сильной социально-классовой группы, а тем более уже сложившегося господствующего класса. Тезис В. И. Ленина о наличии в любом обществе с антагонистическими классами двух разных классово детерминированных культур⁶⁷, пожалуй, нигде, за исключением, конечно, идеологической сферы, не проявляется с такой остротой, как в культуре политической. Характерно, что при этом, строго говоря, не так уж и важно, эндогенен или же экзогенен в таких случаях политический бикультурализм (биполитизм): в любом варианте его происхождения результатом неизбежно оказывается противостояние двух антагонистических политических культур — эксплуататоров и эксплуатируемых. Тем не менее несомненно: при разной этнической принадлежности господствующего класса и основной массы непосредственных производителей подобное противостояние, как правило, обострялось. И в любом случае эта разноэтничность придавала ему достаточно существенные оттенки, которые обычно отсутствовали в тех случаях, когда политический бикультурализм складывался внутри одной этнической общности.

Надо сказать, в раннеклассовых обществах такое противостояние «высшей» и «низшей» по статусу политических субкультур в рамках единого этнополитического организма приоб-

ретало этническую окраску гораздо чаще, чем на более высоких уровнях общественного развития. Очень характерно в этом смысле раннее европейское средневековье, например вестготская Испания⁶⁸. Практически до наших дней можно было наблюдать такое развитие раннеполитической культуры во многих обществах Тропической Африки, например в Междозерье — историко-культурном регионе, характеризуемом определенным единством форм потестарной и политической организации. Здесь взаимодействие этнических общностей, имевших на первых этапах своего контакта собственные потестарные культуры, в конечном счете завершилось сложением единой раннеклассовой политической культуры, в какой-то степени интегрировавшей разнородное — и этнически и по статусу — население в единый сначала социально-политический, а впоследствии и этносоциальный организм. Дальше всего эти процессы зашли в доколониальной Руанде, где эксплуататорский характер общества был выявлен-особенно хорошо. Здесь сложилась на уровне всего общества в целом единая система политических символов и ценностей, освящавшая сформировавшуюся раннеполитическую структуру этого общества⁶⁹. Но в рамках такой раннеполитической культуры продолжали функционировать две антагонистические субкультуры — господ-гутси и крестьян-хуту. Кровавые события рубежа 50—60-х годов убедительно показали и их антагонизм, и то, что взаимодополняемость этих субкультур вовсе не означала примирения носителей низшей из них с навязанными им силой нормами единой политической культуры баньяруанда.

Немало случаев сосуществования этнически разных по происхождению, антагонистических (и взаимодополняющих!) политических субкультур в одном и том же общественном организме знал и развитой европейский феодализм. Можно назвать в качестве примеров хотя бы Прибалтику с политическими субкультурами немецкого дворянства и эстонского и латышского крестьянства. Или славянские земли Венгерской короны. Или балканские владения Османской империи. При этом в последнем случае речь шла даже не о двух, а о трех политических субкультурах: внутри политической культуры господствовавшего класса противостояли друг другу субкультуры турок и местных феодалов (хотя в классовом смысле их, видимо, и нельзя считать антагонистичными).

Формирование антагонистических политических субкультур в составе единой политической культуры классового общества часто стимулировалось взаимодействием эсо, представлявших разные ХКТ — чаще всего кочевников и земледельцев. В качестве примера такого развития на сравнительно раннем этапе политогенеза можно рассматривать исследованное Ф. Солцманом «протогосударство» Кухак в Иранском Белуджистане. Как и в обществах восточноафриканского Междозерья, оно возникло в результате подчинения кочевниками-белуджами оседлого земледельческого населения — *шахри* — и полного отчуждения его

права распоряжаться главным в данных природных условиях элементом производительных сил — водными ресурсами. Эта раннеполитическая по своему характеру система возникла в обстановке, когда она необходима была обеим сторонам. Но необходимость эта вовсе не означала равенства их положения: кочевники не могли обойтись без продукции земледелия, земледельцы — без какого-то ограничения угрозы грабежа со стороны этих кочевников. Или, говоря словами Ф. Солцмэна, потому, что белуджи от такого объединения получали выгоду, а у *шахри* просто не было выбора. В таком смысле необходимость сложившейся системы господства — подчинения признана всеми, и это признание образует составную часть субъективного элемента формировавшейся политической культуры, общей для всего населения Кухака. Но из этого вовсе не следует, что *шахри* перестали ощущать недовольство утвердившимся таким образом положением вещей. Напротив, они его выражают открыто, утверждая, что и белуджи, и опирающийся на их военную силу нынешний (речь идет о 60-х — начале 70-х годов) правитель Кухака занимают свое привилегированное положение незаконно, т. е., иначе говоря, в противоречии с социально-политическими нормами, действовавшими в обществе земледельцев к моменту установления ныне существующей системы в начале нашего века⁷⁰.

В принципе процессы сложения единой политической культуры при контакте кочевников и земледельцев развивались аналогичным путем и в тех случаях, когда речь шла уже о высоко развитых классовых обществах у последних: самым, пожалуй, ярким примером в таком смысле может служить Иран XIII—XIV вв.⁷¹ Не слишком изменились условия и в наши дни, хотя объективный процесс сближения интересов оседлой и кочевой социальной верхушки во все большей степени выдвигает на первое место как раз классовый момент, отгесняя на второй план различия в хозяйственно-культурных типах⁷² (правда, надо сказать, что и это сближение отнюдь не представляет чего-то принципиально нового по сравнению со средневековьем).

В формировании антагонистических политических субкультур важно различие в конфессиональной принадлежности господствующего класса и трудящегося населения. Уже упоминавшиеся выше балканские владения османской Турции могут послужить весьма убедительным тому доказательством. Однако же в других случаях принадлежность к одной и той же конфессиональной метаобщности, скажем мусульманской, заметно облегчала и ускоряла складывание новой интегрированной политической культуры (даже если внутри последней и сохранялись в более или менее целостном виде самостоятельные, этнически окрашенные субкультуры) при образовании «плюралистических» этнополитических общностей из разных этносоциальных организмов, обладавших собственными потестарными или политическими культурами. Это вполне убедительно

демонстрирует пример становления на единой мусульманской конфессиональной основе политической культуры в нигерийском эмирате Кано, населенном хауса, фульбе, арабами и канури (берибери)⁷³.

Но складывание такой единой политической культуры на конфессиональной основе не отменяло существования внутри ее субкультур на классовой основе. Признавая в качестве основы одни и те же «базовые» конфессиональные ценности, такие субкультуры тем не менее опираются на разные формы общей религии — «официальную» и «народную». И «народная» религия может в этих условиях превращаться в своего рода массовую политическую культуру; так, в частности, обстоит дело с «народным» исламом, существенно отличающимся от ислама «официального», представленного взглядами мусульманских теоретиков — и традиционалистов и модернистов⁷⁴.

Собственно говоря, как раз это и происходит сегодня на наших глазах во многих странах Тропической Африки. После ликвидации здесь колониальных режимов наблюдается стремительное расширение сферы влияния ислама, и именно ислам, выступая как политическая культура массового уровня, во многом определяет и мотивации политического поведения, и отношение к государству, которое к тому же с 60-х годов строилось в этих странах по «европейским» светским образцам, далеким от мусульманской правовой теории (происходило это даже тогда, когда лидерами новых государств были мусульмане; лишь позднее в некоторых странах началась политика официальной поддержки мусульманских форм культурной и общественной жизни)⁷⁵.

Впрочем, при всей действенности конфессионального фактора как ускорителя политико-культурной интеграции разнородного населения его ни в коем случае нельзя абсолютизировать. Такая интеграция оказывалась ничуть не менее возможна и в тех случаях, когда интегрируемые общности-эсо придерживаются совершенно разных верований. Скажем, хаусанское общество южных районов Республики Нигер сложилось в итоге взаимодействия древнего автохтонного населения, сохраняющего свеж традиционные верования, и пришедших сюда позднее мигрантов-хауса, мусульман по религиозной принадлежности. Со временем здесь возникла «синкретическая общность, интегрирующая элементы двух наличных культур и добавляющая к ним элементы, возникшие из этой переплавки... Отсюда — местная культура состоит из совокупности двух „субкультур“⁷⁶ взаимодействующих и имеющих облик разных культур». И в то же время при всех совершенно очевидных культурных различиях между его компонентами это общество оказывается достаточно сплоченным и сознающим свою принадлежность к единому традиционному политическому образованию с центром в Маради⁷⁷.

Наконец, еще один возможный вариант результатов взаимодействия разных потестарных и политических культур представ-

лен в том же суданско-сахельском «политическом пространстве» Западной Африки традиционным султанатом Багирми. Здесь тоже произошло объединение нескольких этнических общностей под мусульманскими лозунгами; ислам наложился на традиционную домусульманскую культуру автохтонов, и сами жители Багирми считают себя правоверными мусульманами. Но в отличие от Кано или Маради ни в раннеполитической культуре народа барма, ни в традиционных ритуале и символике этой культуры не заметно сколько-нибудь серьезного мусульманского оттенка⁷⁸.

Принципиально иной этап в контактах политических культур начинается со столкновения потестарных и докапиталистических политических культур с культурой капиталистического общества. В силу ограничений предмета потестарной и политической этнографии, введенных в предыдущей главе, этот круг вопросов будет рассматриваться особо в дальнейшем. Однако проблема лотестарной и политической культуры докапиталистических обществ вовсе не исчерпывается аспектами, затрагиваемыми в настоящей главе. В частности, в ней отношения потестарной и политической культуры с такими сферами культуры, как соционормативная, или с такими важнейшими ее проявлениями, как символика и ритуал, рассматривались лишь в самом общем виде. Точно так же только мимоходом касался я и взаимоотношений потестарной и политической культуры с религиозными верованиями.

Между тем все эти моменты представляют первостепенную важность для потестарной и политической этнографии. По существу, они в большой мере определяют содержание важнейшей составной части потестарной и политической культуры — восприятие власти, отношение к ней, обоснование правомерности тех или иных ее проявлений. Иными словами, речь идет о социально-психологической санкции функционирующей в обществе потестарной или политической культуры и соответствующих структур, образующих, как я старался показать, концентрированное выражение такой культуры.

Этому кругу вопросов и будет посвящена следующая глава.

**ПОТЕСТАРНАЯ
И ПОЛИТИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА:
ИДЕОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ОТНОШЕНИЙ ВЛАСТВОВАНИЯ**

Мысль о золотом веке сродна всем народам и доказывает, только, что люди никогда не довольны настоящим и, по опыту имея мало надежды на будущее, украшают невозвратимое минувшее время цветами своего воображения.

А. С. Пушкин. История села Горюхина

1. Все цитированные в гл. 1 определения власти делают акцент на необходимости использовать при проведении в жизнь властной воли какие-то — назовем их «техническими» в самом широком понимании этого слова — приемы, позволяющие такую волю осуществить. Пожалуй, удачнее всего в данной связи определение Н. М. Кейзерова, говорящее о «системе средств и методов». И соответственно возникает естественный вопрос: что представляет собой эта «система средств и методов»? Иначе говоря, чем обеспечивается реализация власти как волевого отношения?

Вполне очевидно, что обеспечить такую реализацию можно во всех случаях посредством тех или иных форм принуждения (это и подчеркнуто, кстати, в веберовской дефиниции, предусматривающей возможность реализации властной воли «даже вопреки сопротивлению»). Собственно говоря, принуждение неявно заключается уже в самом понятии руководства обществом, во всяком случае в потенции. Даже тогда, когда выполнение, так сказать, позитивной программы деятельности членов коллектива осуществляется его членами главным образом имитивно, в форме подражания лидеру⁷, принуждение в том или ином виде необходимо для устранения препятствий осуществлению программы. Понятно, здесь имеются в виду именно препятствия субъективные (ведь и преодоление объективных, чаще внешних, тоже требует воздействия на членов «своего» коллектива, чтобы мобилизовать их силы и способности на такое преодоление), т. е. речь идет о нейтрализации сопротивления со стороны объекта власти, самих управляемых. В таком смысле принуждение неизбежно должно присутствовать уже на самых ранних этапах общественного развития. И, значит, наблюдается неразрывная связь между принуждением и потестарными и политическими отношениями, находящая выражение в

соответствующих формах и элементах потестарной или политической культуры общества. Само по себе принуждение может выглядеть двояко. С одной стороны, в простейшем варианте оно имеет форму насилия или в крайнем случае угрозы насилием; с этой точки зрения можно говорить о физическом принуждении. Однако параллельно с ним существует и другой вид принуждения, который можно обозначить как психологическое. Правда, в литературе обычно принято говорить о принуждении идеологическом, однако такая терминология неоправданно сужает масштабы явления. Ведь идеология в любом случае не покрывает всего содержания общественной психологии, а образует самостоятельную сферу, лишь частично с ней перекрывающуюся. Поэтому именно термин «психологическое принуждение» представляется более оправданным в рассматриваемом контексте. Это, конечно, никоим образом не означает, что не бывает идеологического принуждения, как такового, и об этом пойдет речь дальше. Но даже и в этом случае воздействие идеологии осуществляется через сферу общественной психологии, во-первых, и обеспечивает соответствующими институциональными нормами и структурами, во-вторых.

Конечно, и здесь нельзя абсолютизировать грань между физической и психологической формами принуждения. Скажем, в упомянутом выше определении первой из них как насилия или угрозы его применения сам факт использования угрозы в такой же, если даже не в большей мере принадлежит и к психологической сфере. Кроме того, такая угроза в конечном счете всегда присутствует в любом случае психологического принуждения, образуя как бы завершающую санкцию любых властных отношений.

Высказанные выше соображения отнюдь не противоречат отмеченной ранее тенденции к специализации отдельных сфер потестарной культуры по мере превращения ее в культуру политическую. В конечном счете перед нами предстает тройная система форм психологического принуждения: мораль, право и собственно идеология. И каждая из этих форм оказывается непосредственно сопряжена с политической культурой.

Что же объединяет их именно в рамках системы? Если говорить о функциональной стороне дела, то вполне очевидно и мораль, и право, и идеология, как таковая, призваны обеспечить на разных уровнях общественного развития и на разных уровнях общественного организма — от семейного и общинного до государственного — реализацию властных отношений. Если же рассматривать вопрос со стороны структуры, то общим окажется членение нормы, предлагаемой во всех трех случаях, на три достаточно четко выраженные составные части: должное поведение; поведение недолжное; санкция за недолжное поведение, признаваемая в явном или неявном виде обязательной и неизбежной.

Такая структура нормы заставляет обратить внимание на то обстоятельство, что само по себе принуждение не ограничивается неизменно в нем присутствующей угрозой физического насилия, так сказать, в виде *ultima ratio*. Для того чтобы были действенными и мораль, и право, и идеология, необходимо непременное условие: они в той или иной степени должны разделяться всеми участниками процесса, иными словами, требуется, чтобы система ценностей, которую включает та или иная потестарная или политическая культура, признавалась в качестве таковой всеми (в идеальном случае) или подавляющим большинством (в обычной социальной практике) членов данного общества. Больше того, даже в случаях господства и эксплуатации сами такие отношения не могут просуществовать сколько-нибудь длительное время, если угрозу насилия не дополняет некоторая степень притяжения этих отношений теми, над кем господствуют и кого эксплуатируют³. Хотя, как уже говорилось, притяжение вовсе не равнозначно полному согласию.

Но точно так же не означает совпадения с потестарной или политической культурой и отмеченная выше сопряженность с нею морали, права и идеологии. Вытекает это прежде всего из того, что мораль и право в не меньшей, если не в большей мере принадлежат к культуре соционормативной, перекрывая рамки культуры потестарной или политической. Собственно, именно это и позволяет, с одной стороны, рассматривать их как предмет особой этнографической субдисциплины — нормативной этнографии⁴. С другой же стороны, и понятие идеологии оказывается перекрывающим несколько сфер: идеологические моменты непременно присутствуют и в морали, и в праве, равно как и любые отношения власти не могут существовать вне определенной более или менее целостной общей картины мира, т. е. без идеологического осмысления.

В обществах докапиталистических резко преобладающей, а нередко и всеобъемлющей формой идеологии служила идеология религиозная. Отсюда вытекала и весьма тесная связь потестарной и политической культуры с религией, хотя и в данном случае, приближаясь к нашему времени, мы наблюдаем все большую специализацию и постепенное отделение религиозных норм и институтов от собственно политических даже в позднефеодальных мусульманских обществах, не говоря уже о Европе. Все сказанное заставляет с особым вниманием отнестись к рассмотрению роли идеологии в построении и функционировании потестарной и политической культуры общества.

Понятие идеологии неоднозначно. В нашем современном словоупотреблении оно означает чаще всего «систему взглядов и идей, в которых осознаются и оцениваются отношения людей к действительности и друг к другу, социальные проблемы и конфликты, а также содержатся цели (программы) социальной деятельности, направленные на закрепление или изменение (развитие) данных общественных отношений»⁵. В общем случае это

определение, по-видимому, бесспорно. Однако известно, что основоположники научного социализма склонны были понимать идеологию и в более специальном смысле — как иллюзорное сознание, в котором действительность предстает в искаженном, как бы перевернутом виде⁶.

В интересующем нас контексте важными представляются оба эти понимания, причем в применении к потестарной и политической культуре равно существенны как более общее, так и специальное, если его можно так обозначить. В самом деле, если первое из них справедливо практически для потестарной культуры или политической культуры любого формационного уровня, включая и социалистический, то второе играет особую роль как раз в докапиталистических общественно-экономических формациях, когда именно иллюзорное представление о социальной действительности оказывается важнейшим основанием легитимации зарождающихся и укрепляющихся отношений господства и подчинения, отношений эксплуататорских.

Именно эта сторона дела отчетливо видна в использовании религиозных верований и взглядов в качестве составной части ценностных ориентации политической культуры докапиталистических классовых обществ (хотя, конечно, относительное их значение бывало разным). Более того, в обществах доклассовых, особенно тех из них, которые достигли предклассового уровня развития, легитимирующее влияние религии представляло едва ли менее выраженным. Но даже до того как общественный организм подходил к рубежу эпохи классовобразования, религиозные представления, а также и неотделимые от них представления мифологические служили основой идеологической санкции отношений власти и властвования.

В данном случае надо иметь в виду, что в этой роли мифа и религии как чуть ли не главных форм психологического принуждения сказалось очень раннее выделение данной формы принуждения в качестве самостоятельной функции регулирования жизнедеятельности общественного организма. Строго говоря, таковой оно сделалось намного раньше того, как возникли объективные предпосылки специализации принуждения физического. Можно задуматься, не было ли это выделение одним из самых ранних проявлений того разделения труда на материальный и духовный, которое подчеркивали К Маркс и Ф. Энгельс, например, в «Немецкой идеологии»⁷.

Соответственно можно с достаточной уверенностью говорить о том, что в докапиталистических обществах любого формационного уровня представление о власти почти всегда заключало в себе определенный сакральный элемент⁸. Иное дело, что наличие такого идеологического элемента отнюдь не обязательно предполагает сакрализацию правителя или кумуляцию в его лице власти светской и религиозной. Соотношение этих видов власти бывало очень разным в зависимости от конкретно-исторических условий. В частности, широкую гамму переходов дает

исследователью картина обществ Меланезии и Полинезии. Религиозные представления, которые сами по себе суть искаженная («иллюзорная», или «идеологическая» в приведенном выше смысле) форма отражения социальной действительности, выражают в таком обществе, хотя и в мистифицированном виде, вполне реальную и, более того, жизненно необходимую потребность общественного организма в сохранении своей целостности — первейшего условия нормального функционирования. Это как раз и служит объективной основой, которая позволяет религиозным представлениям выполнять в определенной мере интегрирующую роль и в этнокультурной и в потестарной или политической сфере. А отсюда следует, что такие представления едва ли в меньшей степени, чем собственно потестарные и политические, т. е. в конечном счете властные отношения, определяли норму поведения и индивида, и тех или иных групп в обществе, входя в состав, как уже говорилось, ценностных ориентации, образующих неотъемлемую часть потестарной или политической культуры общества. И кстати, именно в данном своем аспекте потестарная и политическая этнография непосредственно смыкается с этнографией нормативной.

2. Чем объяснялось упоминавшееся выше большое, хотя, конечно, и не основополагающее место, которое занимали религиозные представления среди мотиваций потестарного и политического поведения? И далее: чем объяснялось несомненное возрастание их роли по мере вступления того или иного общественного организма в эпоху классообразования и политогенеза? Прежде всего надо сказать, что по мере отдаления власти от коллектива, по мере начинавшейся ее специализации в качестве самостоятельной сферы человеческой деятельности восприятие власти все больше сближалось с представлениями о сверхъестественном, лежащими в основе всякой религии. В обоих случаях присутствует двойственность отношения: сочетаются такие на первый взгляд противоречивые элементы, как уважение и страх, ощущение привязанности и стремление избегать чрезмерно близкого контакта. Строго говоря, на таком сходстве (точнее, почти совпадении) религиозного и потестарно-политического моментов основывается сама возможность появления представлений о харизме и, значит, харизматической власти, по М. Веберу⁹.

Правда, этнографические наблюдения свидетельствуют и об известном перемещении акцентов по мере развития общества от доклассового к классовому, а потестарных отношений — к политическим. В этой связи стоит возвратиться к упоминавшемуся в предыдущей главе достаточно распространенному в западной литературе представлению о непременно сакральном характере верховной власти в вождестве, понимаемом как форма позднепотестарной организации, непосредственно предшествующая государству. Уже говорилось, что это мнение едва ли заслуживает поддержки, коль скоро универсальный характер подобного яв-

ления пока не может считаться доказанным. Однако с переходом к раннеполитическим структурам («раннее государство», по распространенной сейчас терминологии) сакрализация верховной власти в той или иной форме и степени — от прямого обожествления ее носителя до простого восприятия его в качестве лица, в наибольшей степени пригодного для контактов с потусторонними силами, будь то предки или боги,— становится непрременной чертой политической организации.

Вместе с тем подобное положение отнюдь не остается неизменным: варьирует относительная роль разных сторон единой на первых порах функции носителя верховной власти. Конечно, он выступает прежде всего как символ единства и сплоченности данного общественного организма. По меткому выражению Ж. Баландье «именно возможность быть — и быть вместе — чтут люди в лице своих богов и царей»¹¹. Конечно, он в большинстве случаев, в частности в Тропической Африке и в Полинезии, считается «ответственным» за материальное благополучие в виде плодородия земли, благоприятных для хозяйствования природных условий или плодовитости женщин¹². Такая связь особенно четко обнаруживается в подчеркивавшемся еще Д. Фрэзером обычае умерщвления правителя, по мере того как слабеют его физические силы и умственные способности¹³. Хотя надо сказать, что в самое последнее время эта точка зрения если и не подверглась полному пересмотру, то, во всяком случае, претерпела значительные уточнения; в частности, указанный обычай, с одной стороны, был ограничен в качестве типического только Африканским континентом¹⁴, а с другой — был поставлен под сомнение сам реальный, физический, а не «культурный», т. е. чисто ритуальный, характер такого действия¹⁵.

Но даже и без учета этих новых точек зрения, подкрепляемых достаточно представительным этнографическим материалом, можно иногда заметить в облике сакрального правителя черты, свидетельствующие именно об изменении в распределении относительного значения отдельных сторон деятельности носителя верховной власти, вернее, отдельных функций такой власти как общественного института. В качестве примера можно обратиться к нередкому явлению — чисто номинальному положению верховного правителя в роли военачальника в африканских позднепотестарных и раннеполитических образованиях. Теоретически он рассматривается именно как «верховный главнокомандующий», однако на практике особа сакрального правителя, будучи вообще ограничена в передвижении по территории своих владений, никогда не подвергается превращениям военной судьбы, фактически руководит военными действиями военачальник, выступающий как «замещающий» правителя¹⁶.

Внешне это представляется на первый взгляд выражением заботы о благополучии сакрального правителя, а через его персону — и всего общества. Но можно и усмотреть в этом явлении, с одной стороны, зачатки разделения единой прежде

власти на несколько ее видов, по определению Н. М. Кейзеро-ва, а с другой — повышение роли потестарной или раннеполитической функции за счет идеологической, т. е. в данном случае религиозно-магической. И такое перераспределение, будучи типичным для африканского сакрального вожества или раннего государства, вовсе не ограничивалось Африкой. Достаточно вспомнить о появлении у ирокезов—классического примера военно-демократической структуры общества — фигуры военного вождя рядом с сахемами¹⁷. Конечно, конкретная степень этого перераспределения устанавливалась конкретными же путями политогенеза в том или ином обществе. И в принципе усиление потестарной составляющей верховной власти могло идти в сторону чисто административную, минуя военачальников; так было, например, в большинстве полинезийских раннеполитических образований, особенно на Гавайях. Здесь при всей важности военной деятельности сакральный правитель оказывался особой, сочетающей функции жреца и административного, но не военного руководителя¹⁸. Но как бы то ни было, уже само по себе появление начатков «расщепления» ранее единой роли духовного, военного и административного лидера и выделения второй и третьей из них в самостоятельные роли подготавливало приоритет потестарного момента перед сакральным. И ничего не изменит здесь то, рассматриваем ли мы вслед за М. Вебером военного предводителя как фигуру харизматическую или нет¹⁹. А в качестве общей тенденции можно, видимо, утверждать, что если в обществах потестарных равновесие (понятно, динамическое равновесие!) нарушалось чаще в пользу сакральных функций, как о том свидетельствует пример немалого числа африканских или североамериканских общественных организмов²⁰, то в структурах раннеполитических, не говоря уже о развитой государственности, на первый план все очевиднее выступала по своей важности власть над людьми и вещами.

Такое намечающееся разделение некогда единых функций руководства обществом есть отражение именно на уровне руководства продолжающегося общественного разделения труда, углубление которого ведет в конечном счете к вычленению относительно самостоятельных специализированных сфер общественной жизни: экономической, социальной, политической и духовно-идеологической. И совершенно естественным следствием этого процесса становится выделение нескольких видов власти, каждый из которых используется для руководства отдельными сферами общественной жизни. Конечно, окончательно все эти виды власти становятся относительно самостоятельными только в развитом классовом обществе²¹. Но в этом случае перед нами предстает результат длительного и сложного развития, которое началось задолго до подхода к рубежу классовообразования. И самым ранним его этапом оказывалось как раз отделение духовно-идеологического руководства и соответствующей формы власти.

Взаимоотношения потестарного или политического и сакрального моментов в жизни человеческого коллектива в каждый данный период отражают диалектику реально установившегося общественного порядка со всеми присущими ему противоречиями объективного характера. И это обстоятельство проявляется и в эволюции субъективного аспекта потестарной или политической культуры коллектива, прежде всего в принадлежащей этой культуре системе ценностей. Так, возрастание роли политической власти после сложения классового общества — и не только политической, но и позднетестарной на завершающих этапах политогенеза — сопровождается и повышением престижа этой власти на идеальной шкале ценностей, в частности в религиозном плане. Ведь «господствующие мысли суть не что иное, как идеальное выражение господствующих материальных отношений»²². Значение религиозной, сверхъестественной санкции отношений власти и властвования стремительно растет, притом на сей раз речь идет уже не только о власти, как таковой. Не меньшее значение приобретает необходимость легитимации принципиально новых отношений, складывающихся в обществе: господства и подчинения, социального неравенства, привилегированного статуса отдельных индивидов или групп и т. п. Конечно, функции охраны возникшего нового порядка выполнялись идеологией и прямо и в опосредованной форме, но в любом случае осуществление ею этих функций обуславливалось, с одной стороны, сознательной и целенаправленной переделкой идеологической традиции, приспособлением уже существовавших взглядов на должное и недолжное и т. д., а с другой — столь же сознательным формированием новых элементов идеологического характера, появление которых становилось возможным только в принципиально изменившейся социально-экономической и социально-политической обстановке.

Вместе с тем, несомненно, с самого начала в представлениях общества заключался некий комплекс качеств, которые должна обеспечить власть. Только что шла речь об идеологической санкции новых явлений и новых форм социальных отношений по мере продвижения общества по шкале социально-экономической эволюции. Однако, до того как возникла подобная потребность, любое общество нуждалось в гарантиях по меньшей мере некоторых основных условий своего существования: целостности коллектива; его сохранения во времени, т. е. воспроизводства; его благополучия как со стороны окружающей природы, так и в смысле благоприятных результатов контакта с социальным окружением; и понятно, в общественном сознании все это опосредовалось в виде представления об обязательности гармонии между миром земным и миром сверхъестественным, какую бы конкретную форму ни приобретал последний. Все эти требования могли быть удовлетворены только в случае конформного поведения членов коллектива, неизбежные индивидуальные отклонения должны были подвергаться

достаточно жесткой коррекции. И вот такую коррекцию, такое поддержание конформности поведения и обеспечивала власть в лице ее носителей.

Но сама подобная постановка вопроса предполагала, что носитель власти представляется в некотором роде ее акциденцией, тогда как субстанция власти заключена в какой-то особой силе, которую и обретает носитель власти, особенно верховный. Вера в эту особую силу власти, точнее, в существование некоей самостоятельной ее сущности присутствовала практически во всех докапиталистических обществах. Но само ее понимание, а главное — понимание ее соотношений с властными ролями и позициями, тем более с личностью правителя эволюционировало во времени, отражая в опосредованной форме социально-экономическое развитие общественного организма в сторону классового общества.

Кроме того, такого рода представления неизменно отличала определенная двойственность; она могла быть выражена в большей или меньшей степени, но присутствовала всегда. Речь идет о том, что двойственным было отношение, во-первых, к самой власти (об этом уже говорилось выше), а во-вторых, к лицу или лицам, ее отправляющим. Амбивалентность власти, как таковой, т. е. в интересующем нас контексте самой ее субстанции, находила отражение и в восприятии общественным мнением, и — это едва ли менее важно — действовавшими в обществе социальными нормами фигуры правителя, а точнее, в несомненном ограничении его власти, а также в особых «правах» коллектива на его личность, иногда вообще лишавших правителя возможности действовать в качестве сколько-нибудь активной фигуры.

Дж. Битти проанализировал на примере опять-таки африканских традиционных обществ такие ограничения, выделив два взаимосвязанных вида ставящих власти пределы норм, которые он обозначил как «категорические» (categorical) и «условные» (conditional). Первые как бы «встроены» в социальную норму, вторые действуют только в случаях нарушения первых²³. Британский исследователь имел в виду, собственно говоря, только меры-«предохранители» (checks), препятствующие злоупотреблениям властью. Представляется, однако, что здесь отразились, так сказать, глубинные идеологические структуры, связанные именно с занимающей нас сейчас проблемой восприятия власти общественным сознанием, точнее, со стремлением как-то примирить противоречие между благотворным характером власти и ее опасностью.

Что дело обстояло скорее все же именно подобным образом, можно показать прежде всего, конечно, на примере африканских обществ. Это никак не означает, впрочем, будто сходные явления не наблюдались за пределами Африканского континента, например в Полинезии или Меланезии²⁴. Но бесспорно, Африка предоставляет в данном случае самые благоприятные

условия: ведь на африканском материале можно выстроить практически непрерывный ряд от обществ, вовсе не имевших публичной власти или имевших ее в самых зачаточных формах, до довольно развитых раннеполитических структур через размещенные вдоль некоей мысленной шкалы достаточно разнообразные сами по себе промежуточные варианты. В первую группу могут быть помещены, например, нуэры, тив и масаи, во вторую — такие народы, как алуры, о которых уже упоминалось выше в иной связи. Здесь, конечно, приходится учитывать нашу зависимость от наличия исследований, касающихся того или иного народа; в целом, однако, можно говорить о несомненной представительности перечисленных здесь обществ как в географическом, так и в историко-культурном смысле.

Исследование взглядов названных народов на власть и ее носителей отчасти уже проделал Ж. Баландые, хотя он и посвятил его анализу непосредственно религиозной санкции власти²⁵. Тем не менее (а отчасти именно поэтому, так как можно, видимо, говорить и о более широкой мировоззренческой базе этих взглядов, а не только об их связи с представлениями о сверхъестественном) будет небезынтересно еще раз рассмотреть собранный материал, подойдя к нему как к последовательным этапам эволюционного ряда.

3. На нижнем конце шкалы располагаются нуэры — народ восточносуданской подгруппы нило-сахарской языковой семьи: (или, по другой классификации, относящийся к нилотской семье), живущий в основном в Республике Судан. Классические работы Э. Эванс-Причарда доказали отсутствие у нуэров каких бы то ни было серьезных элементов публичной власти. Таковой нельзя считать ни «вождей — носителей леопардовой шкуры», ни даже «пророков» (хотя последние, пожалуй, по мере проникновения в ареал нуэров сначала египетской, а затем и британской администрации все больше приближались к тому, чтобы взять на себя такие функции; это и нашло своеобразное отражение в репрессивной политике колониальной администрации²⁶). В условиях, когда в обществе царит «регулируемая анархия», по определению Э. Эванс-Причарда, не возникает сколько-нибудь заметной потребности в осмыслении самого феномена власти, что и проявляется в отсутствии у нуэров ее идеологического обоснования. Впрочем, такое категорическое утверждение будет не вполне точным. С одной стороны, нуэры признают право определенных сегментов на преимущественное положение в том или ином районе; это те группы линиджей и линиджи, которые исследователи достаточно условно обозначают как аристократические. Реальных привилегий такой статус не дает, а основывается он, как правило, на первопоселении. С другой стороны, для нуэров, так сказать, по определению очевидно, что они превосходят своих соседей, прежде всего динка, во всех отношениях, особенно в воинской доблести, а значит, имеют право на ограбление этих соседей и обращение их в за-

висимое состояние. Однако признать подобные представления в большей или меньшей степени разработанной концепцией власти и ее свойств все же не приходится.

У алуров судано-заирского пограничья, народа, уже создавшего небольшие потестарные единицы под руководством индивидуальных вождей не только у себя, но и «поставляющего» таких вождей соседям, еще не имевшим публичной власти, представление о сущности власти оказывалось достаточно содержательным. Такая сущность обозначалась понятием *кер* — абстракцией довольно высокого уровня. *Кер* — это «могущество», позволяющее установить благодетельную власть, в том числе и господство над соседями, у которых такого «могущества» нет. Ведь оно предполагается жизненно необходимым для благоденствия группы. Но *кер* — не просто благое могущество, оно одновременно и способность быть вождем, на чем, собственно, и основывалось утверждение власти правителей-алуров над соседями. И в то же время это свойство не имеет материального выражения и не привязано непосредственно ни к статусу вождя (его конкретному сану), ни к символам, относящимся к этому сану. Это как бы качественная характеристика, некая оплодотворяющая и организующая сила, притом не неизменная: *кер* может ослабевать, что обозначается выражениями типа «*кер* остывает» или еще более выразительным «зуб власти вождя становится холодным»²⁷.

Эффективность использования этого качества в делах человеческих определялась, по алурским представлениям, тремя факторами: преемственностью, что означало сохранение *кер* в «горячем» состоянии благодаря его передаче в достаточно длинной генеалогической цепи (заметим, здесь мы имеем дело уже с зарождением представления об одних генеалогических группах как более приспособленных для отправления власти, нежели другие, тем более что сан вождя не может переходить к коллатеральным линиям); личностью того, кто использует *кер* непосредственно; наконец, соответствием правилам взаимоотношений такого носителя власти с сакральными силами. Иначе говоря, последний фактор и играет в конечном счете роль психологического принуждения.

Алурские вожди могут выполнять функции «привилегированных посредников» между своими соплеменниками и сверхъестественными силами именно потому, что они происходят от предков, которые одновременно и их предки, и важнейшие действующие лица предшествовавшей истории данного потестарного организма (собственно, перефразируя Дж. Оруэлла, можно сказать: их предки были «более предками», чем у других).

И в то же время свидетельством и подтверждением способности этих вождей к управлению выступает их ритуальное господство над природой, т. е. над «жизненными силами» и материальными объектами; например, вождь функционирует в роли «вызывателя дождя». Как раз такое господство служит

объяснением и оправданием их власти над людьми (причем одновременно вождь должен их оберегать от злоупотреблений своей родни). Иными словами, здесь перед нами предстает вполне очевидная для алуурского общественного сознания прямая связь между сферой власти и сферой сакрального. Но такая связь неминуемо означает, что положение правителя выступает как бы в двойной ипостаси: он стоит над людьми, которыми управляет, но в то же время сам подчинен власти как сущности, непосредственно связанной с миром сверхъестественного. Отсюда — его амбивалентность и налагаемые на него ограничения²⁸.

Аналогичные концепции сущности власти правителя, связывающие ее с сакральной сферой, присутствуют и в таких уже раннеполитических организациях, как, скажем, государства народов моси — Уагадугу и Мампруси. Так, у моси Уагадугу *моронаба* (верховный правитель) рассматривается в качестве символа не только общества моси, но и вселенной (хотя он, видимо, никогда не трактовался ни как божество, ни как «священный» правитель). Это представление строится на признании особой сущности его власти — *нам (наам)*, — причем сущность эта восходит к двум истокам. Прежде всего она олицетворяет ту власть, которую получили некогда *моронаба* от основателей государства моси; и в то же время *нам* связана с получаемой от богов силой, позволяющей одному человеку господствовать над другими. В социальной практике оба эти генетических аспекта, конечно, переплетены. *Нам* в ней предстает перед наблюдателем как «священное» могущество, обеспечивающее группе, к которой оно принадлежит, с одной стороны, аристократический статус, а с другой — способность управлять обществом. Притом *нам* — непременно корпоративный атрибут. Но значение понятия *нам* не ограничивается только сферой легитимации власти, хотя последняя и играет важнейшую роль в его содержании, а относится к куда более широкому кругу явлений общественной жизни.

Оно выражает необходимость власти в качестве защитного механизма, препятствующего погружению общества в хаотичное состояние в результате внешних ли, внутренних ли причин. С этим качеством связано понимание *нам* как выражения, так сказать, абсолютного превосходства: это может быть превосходство божества, превосходство правителя (и соответственно обоснование привилегий, сопряженных с принадлежностью к верхнему эшелону правящей группы), превосходство потестарной или политической структуры в целом, организующей всю систему общественных отношений.

Подчеркнутое таким образом «антиэнтропийное» понимание *нам* находит особенно яркое выражение в ритуале «питья *намтибо*» — напитка, освящаемого прикосновением к регалиям *моронаба* и к другим символам сакрального характера, связанным с особой властью правителя (эти символы и носят название

намтибо; само выражение «съесть *нам*», *dí nam*, означает «получить доступ к власти»). Выпивая такой напиток, правитель возобновляет связь между собой и своими предками и землей, воспринимаемой как божественное целое; когда это делает правитель менее высокого ранга, какой-нибудь из наместников-*наба*, он подтверждает связь, с одной стороны, с собственными предками, а с другой — с *моронаба*, олицетворяющим сакрализованную землю. И именно «выпив *намтибо*», правитель получает *нам* и как бы обязывается поддерживать порядок, установленный основателями государства, и повиноваться распоряжениям их законного преемника. Иными словами, этот ритуал и выполняет легитимирующую функцию при вступлении нового правителя в сан. Внутри же правящего линиджа непосредственный носитель *нам* «автоматически» оказывается выше всех прочих его членов, даже если последние обладают возрастным старшинством.

В то же время *нам* — понятие динамическое: оно никогда не приобретается навечно, нуждаясь как в периодическом подтверждении, так и будучи подвержено воздействию превратностей политической биографии своего носителя. Если последний терпит неудачу в столкновении с более удачливым соперником, то такое поражение одновременно означает и утрату им *нам*²⁹.

Концепция *наам* у другой группы моси — мампруси — в целом аналогична только что изложенной. *Наам* в данном случае придает носителю связанного с ним титула и светскую и духовную власть (точнее, естественную и сверхъестественную). *Наам* правителя обладает творческой потенцией и мощью; и на основе такого толкования потестарная или раннеполитическая система мампруси принимает форму системы дворов правителей, связанных единой сущностью *наам*. Характерная черта мампрусиейской концепции сакрального содержания власти заключена в том, что источником *наам* - единственным ее источником — служит «старший» двор в системе, который ее передает, делегирует и к которому она возвращается. Больше того, предполагается, что *наам* должна быть распределенной в пространстве, чему и служит ее передача «младшим» дворам (все отношения между дворами выражаются в генеалогических категориях, хотя в действительности речь идет вовсе не о генеалогическом родстве, а о старшинстве по отношению к *наам*). Особенностью мампрусиейской концепции можно считать и то, что использование понятия *наам* позволяет практически безгранично расширять сферу политического влияния мампруси, распространяя ее на лишённые централизованного руководства (аке-фальные) линиджи соседей. Для этого требуется, собственно, только наличие территориально разделенных дворов — «старшего» и по крайней мере двух «младших», через которые бы шло дальнейшее делегирование *наам*³⁰.

Таким образом, оказывается, что мампрусиейская *наам* продолжает тенденцию развития, наметившуюся еще у стоящих

на гораздо более низком уровне социально-потестарного развития алулов: использование представлений о специфической сакральной сущности власти для расширения власти данного коллектива на окружающие его менее развитые группы. В то же время внешние формы, в каких происходит вступление в должность нового носителя *наам*, получившего «инвеституру» от «старшего» двора, напоминают и о другого рода двойственности власти, находящей отражение в традиционных представлениях о ее существовании. Дело в том, что вновь утвержденный правитель, при всей законности избрания его «старшим» двором, обусловленной принадлежностью к «царскому» линиджу, прибыв на место назначения, встречает весьма прохладное, если не просто враждебное внешне отношение со стороны жителей своего будущего селения. Его осыпают насмешками, угрозами и вообще в высшей степени подчеркнуто принимают как чужака — это всегда было неотъемлемой частью ритуала. Только после выражения всяческого уважения к хозяевам и обязательного визита вежливости к местному «хозяину земель», т. е. к главе линиджа. первопоселенцев, новый правитель получает наконец возможность занять положение, соответствующее его сану. Речь идет именно о выражении амбивалентного отношения к власти, как таковой³¹.

Идеологическая концепция такого двойственного восприятия власти в африканских обществах, пожалуй, в наибольшей степени выражена у тив Нигерии, которые в литературе считаются классическим образцом «рассеянного правительства», по выражению Л. Мэр³². Здесь власть, да, впрочем, и любое главенство, сопряжена с двумя диаметрально противоположными понятиями, выражающимися, с одной стороны, целиком благотворительный аспект ее, а с другой — ее опасную сторону. В первом случае речь идет о власти в качестве выражения порядка, обеспечивающего мир и процветание, во втором (и это любопытно само по себе как свидетельство уже наметившегося переходного характера общества) — о превосходстве, достигаемом за счет кого-то другого или ему в ущерб. И оба понятия неразрывно связаны и с категориями религии и магии, так что и сама тивская «политическая теория» выражается в этих же категориях.

Первое из этих понятий — *свем*. В связи с властвованием в нем содержится способность правителя пребывать в согласии с творческой сущностью творения и сохранять связанный с нею порядок. А в более общем плане *свем* оказывается в значительной степени совпадающим с такими понятиями, как истина, гармония, благо. Любая власть, чтобы ее рассматривали в качестве законной, должна обладать таким свойством. Но это означает одновременно, что и *свем* не действует в людских делах без материального посредника, и индивидуальные качества этого посредника в немалой степени определяют результат вмешательства *свем* в такие дела. При недостаточно сильном посреднике происходит всеобщее «ослабление» благоприятных

и благотворных условий жизни коллектива, а если посредник злоупотребит своим положением, неизбежно нарушение мирового и социального порядка.

Второе понятие — *тсав* — непосредственно связано с отношениями господства над людьми. Оно определяет личный успех индивида, его честолюбивые устремления. И здесь восприятие *тсав* в тивских представлениях отнюдь не однозначно. До тех пор пока дело касается способности действовать, используя индивидуальные дарования и предприимчивость, не в ущерб окружающим, оно расценивается как вполне положительный фактор. Такое восприятие может относиться к удачливому и авторитетному человеку, к богатому торговцу. Но если такие личные успехи достигаются за счет ущерба, наносимого другим людям, путем ли принуждения их или каким-либо иным способом, короче говоря, за счет «пожирания» сущности лиц ниже стоящих, *тсав* становится уже вредоносным свойством и в таком своем качестве оказывается в одном ряду с колдовством, направленным против общества в целом³³.

Таким образом, тив четко осознают не просто амбивалентный характер власти, и соответственно их отношение к ней отмечено двойственностью. В их представлениях можно уже заметить и наличие начатков понимания того, что отрицательный аспект власти связан с совершенно определенными социальными и экономическими факторами (хотя, конечно, речь идет скорее о «перевернутой» картине, когда отношения господства и подчинения, так же как и имущественное неравенство, представляются функцией именно нарушения установленных предкама пределов власти). Подчеркну еще раз: такие представления сложились в обществе, не имевшем развитой структуры власти, превышавшей уровень деревенской общины.

Однако диалектическое восприятие власти и ее свойств во все не ограничивается осознанием ее амбивалентности. Последняя отражает гораздо более широкую амбивалентность, присутствующую в мире, т. е., если перевести это понятие в более привычные для нас категории, отражение общественным сознанием объективной диалектики мира, в которой власть и все с нею связанное оказывались лишь одним из аспектов, правда важнейшим. Конечно же, когда европейский или американский исследователь пытается передать содержание этих взглядов и представлений, он неизбежно делает это в обычных для него понятиях, а кроме того, столь же неизбежно излагает их в виде более или менее стройной системы. А между тем такая стройность вовсе не обязательно присутствует в самой этой системе. В принципе здесь нет ничего неожиданного или необычного. По существу, это выражение неизбежного противоречия между этным (*etic*) и эмным (*emic*) подходами к описанию явлений культуры, т. е., говоря в предельно обобщенном (и упрощенном) смысле, между взглядами на такие явления наблюдателя «со стороны» и таким же взглядом человека, непосредственно к

описываемой культуре принадлежащего и потому воспринимающего ее не с описательной, а с содержательной стороны³⁴. Именно такое максимальное обобщенное понимание категории эмного-и этного, по-видимому, и ныне полностью сохраняет свое значение, невзирая на позднейшие оговорки, уточнения и сомнения в связи с теми или иными аспектами их использования в этнографических/антропологических исследованиях³⁵. И иметь в виду различие «эмное — этное» при рассмотрении потестарно-политических «теорий» докапиталистических обществ, особенно бесписьменных, все же необходимо. Разумеется, сказанное никак не относится ни к античным, ни к развитым феодальным обществам, в которых, как общее правило, существовала именно сложившаяся теория политики и политического, пусть даже она и не всегда приобретала самостоятельную форму и не всегда воспринималась в этом качестве.

С учетом вышеизложенного небезынтересно будет обратиться к пониманию существа власти и ее места в мировом порядке, которое наблюдалось (а в немалой степени сохраняется в массовом сознании народа ньюро и поныне) в одном из самых развитых раннеполитических образований Африканского континента — Буньюро. У ньюро власть, точнее, сущность ее обозначается понятием *махано* (хотя в широком смысле так определяется все необычное и внушающее опасение). Именно *махано*, как считается, позволяет правителю поддерживать в жизни общества надлежащий порядок. И именно *махано* как субстанция власти передавалось в традиционном Буньюро от верхних эшелонов управления к нижним в соответствии со сложившейся иерархической структурой. Причем одновременно с делегированием власти делегировался и соответствующий ритуальный статус. А сама передача *махано* оформлялась строжайше соблюдавшимся ритуалом.

Все это само по себе еще не содержит ничего принципиально отличного от только что описанных представлений о субстанции власти в сегментном обществе алуоров или раннеполитическом обществе моси. Но, как сказано, *махано* — нечто более широкое, чем только субстанция власти. Оно выходит за рамки политической сферы. *Махано* одновременно выражает и те опасности, которые угрожают обществу как извне, так и изнутри. Когда происходят какие-то необычные и опасные столкновения на границах с соседями, особенно если дело доходит до насильственных действий, речь идет о внешней угрозе, которая и обозначается термином *махано*. И, точно так же к *махано* относятся нарушения норм внутренней жизни коллектива — брачных, отношений между родами, половозрастных или статусных разграничений, т. е. в данном случае *махано* проявляет себя как угроза, исходящая от самого общества как целого. Наконец, *махано* обнаруживается и на важнейших этапах жизни индивида, при его переходе из одного состояния в другое, когда он особенно уязвим со стороны разного рода жизненных сил и

контролирующих их сверхъестественных существ: при рождении, во время инициации, при кончине.

Махано, таким образом, выражает всеобщую связь коллектива с окружающим миром, равно как и связь между индивидом и коллективом и между индивидом и глобальными силами природы. В нем присутствует определенная иерархичность отношений и проявляется та дистанция, которая позволяет циркулировать жизненным силам и таким путем обеспечивает порядок. В этом сложном комплексе отношений власти политические отношения и выражающая их структура оказываются как бы регулятором функционирования *махано*, в свою очередь им определяясь: роли и позиции в такой структуре, обеспечивая носителям этих ролей и позиций неравный (что весьма существенно) доступ к *махано*, тем самым способствуют поддержанию мирового порядка.

В качестве высшего обладателя *махано* выступал традиционный верховный правитель Буньоро — *мукама*. Его особа символизировала жизнь, а потому была окружена различными ритуальными ограничениями, которые тем самым действовали как механизмы, сохранившие общество от смерти. *Мукама* считался господином людей и вещей, поддерживавшим их упорядоченные взаимоотношения. Его посредством утверждался обязательный общемировой порядок и в сочетании с последним — порядок социальный. Именно обладание *махано*, т. е. власть над совокупной динамикой мира и общества, позволяла *мукаме* выполнять свои обязанности. Но в то же время такое обладание само по себе представляло опасность — сама власть весьма жестко ограничивала своего носителя: если бы он стал действовать неправильно, то разрушил бы как раз то, что должен был сохранять³⁶. В этой связи Ж. Баландье подчеркнул: в данном случае «диалектика приказа и повиновения предстает... как выражение на языке общества диалектики более важной — той, какую содержит в себе, для того чтобы существовать, любая живая система»³⁷.

Таким образом, сферы действия религиозно-магического и потестарно-политического оказываются взаимоперекрывающимися. При этом можно говорить и о взаимной дополняемости, однако и то и другое справедливо лишь в том случае, если считать, что эти области человеческой деятельности объединены более широкими общемировоззренческими представлениями. И в первую очередь представлением о существовании определенного единого мирового порядка, который в равной степени поддерживается и религией, и отношениями власти в их прямой форме. С общим дуальным отношением «порядок — беспорядок» связаны дальнейшие пары понятий, которые оформляют идеологическую санкцию власти (ибо сейчас нас интересует только она)³⁸. Речь о том, чтобы одновременно и разделить оппозиции, и обеспечить их единство. В этом смысле амбивалентные представления о власти оказываются очень характерными.

Подобная взаимосвязь сакрального и собственно политического моментов сохраняется и в сложившемся докапиталистическом политическом обществе, несмотря на все большую специализацию второго из них. На иерархию социальных групп, связанных отношениями господства и подчинения, накладывается санкционируемое авторитетом религии, т. е. возводимое в конечном счете все к тому же нерушимому мировому порядку, представление о духовной связи между управляющими и управляемыми, более того, об их взаимной дополнительности. И дело касается не только управляемых и управляющих как целостностей, но и индивидуальных взаимоотношений между правителем и каждым из его подданных, хотя действуют здесь скорее разные принципы: в отношениях «правитель — подданный» — принцип авторитета, а в отношениях «правитель — все подданные» — собственно принцип дополнительности. В то же время не исключена и возможность их синхронного действия, как это происходило, например, при обряде врачевания больных французскими королями³⁹.

Кстати, сравнительный анализ ритуалов погребения французских королей эпохи Возрождения и шиллуковских верховных правителей — *petx* — обнаруживает удивительное сходство идеологического осмысления ритуала, невзирая на, казалось бы, совершенно несопоставимость уровней развития ренессансной Франции и общества шиллуков Судана. Главная идея в обоих случаях заключалась в том, что правитель, как носитель сана, умереть не может, идея, которая во французском обиходе выражалась формулой: *le Roy ne meurt jamais en France*⁴⁰.

4. Реализация представлений о потестарно-политическом в его связи с сакральным происходит в социальной действительности в форме ритуальных действий. Ритуал служит важнейшей формой выражения религиозных представлений, но не только их. В определенном смысле ритуализация поведения в системе отношений власти — явление более широкое, нежели просто следствие параллелизма этих сфер. С одной стороны, в потестарно-политической сфере складывается собственная, относительно самостоятельная символика власти и властных отношений, определенный знаковый язык, который передает существо таких отношений, т. е. возможность проведения в жизнь властной воли и необходимость этого. С другой же стороны, и религиозная норма в потестарной и политической жизни действует, как правило, не непосредственно и, если исключить случаи чисто теократического управления обществом (правда, не столь уж немногочисленные), проводится в жизнь руками носителей власти.

Если, как уже говорилось, власть в обществе и ее конкретные носители рассматриваются членами этого общества в качестве необходимой гарантии целостности и благоденствия коллектива, то вполне естественно предполагать, что символика власти и ее институтов направлена в первую голову на демонст-

рацию характера власти в роли такой гарантии. Вместе с тем, когда мы говорим о ритуале и обрядности, следует принимать, во внимание то обстоятельство, что и в данном случае происходит перекрещивание, взаимное перекрытие соционормативной и потестарно-политической сфер жизни общества и соответствующих частей его культуры. В том и другом случае ритуальным способом регулируются важнейшие отношения между людьми. Но и в данном контексте, как уже сказано выше, ритуальность соционормативная будет распространяться на более широкий круг явлений и их уровней, нежели ритуальность, связанная с потестарными или политическими отношениями.

Ритуал как символическое выражение важнейших социальных связей и отношений рано стал предметом этнографических исследований. Существует обширная литература, посвященная различным его аспектам⁴¹, в особенности умножившаяся за последние два десятилетия благодаря попыткам изучения внутренней логики ритуального и символического поведения в целом. Для нас, однако, более важна другая сторона проблемы, вернее, одна из частных ее сторон: ритуал в качестве знакового языка потестарной и политической культуры.

Глубинный смысл всякого ритуального действия в данной сфере заключен в поддержании в дееспособном состоянии, а если потребуется, то и в периодическом «возрождении», «обновлении» потестарной или политической структуры. Надобность в таком «обновлении» возникает как нечто само собой разумеющееся, с одной стороны, вследствие воздействия на эту структуру внешних неблагоприятных обстоятельств, и естественных и сверхъестественных, а с другой — из-за, так сказать, «нормального износа» главных качеств ее, обеспечивающих сохранение единства и благополучия общества (о возможности такого «износа» сущности власти и соответствующих ей организационных форм у нас только что шла речь). Иными словами, дело идет о мерах антиэнтропийного характера, пресекающих накопление неблагоприятных факторов.

По-видимому, общей чертой всех такого рода ритуалов следует считать то, что участники полагают их развертывающимися как в сакральном, так и в профанном мире, а следовательно, действующими лицами в них выступают в равной степени люди, предки и божества. Таким способом всякий раз подтверждается сакральная санкция власти и более или менее сакральный характер ее носителей.

Ритуал действует в данном контексте как выражение религиозной нормы; в нем воплощена та триада, которая лежит в основе и религии, и морали, и права: должное — недолжное — санкция за недолжное. Но в отличие от двух последних видов нормы ритуальные действия сопряжены со сверхъестественной санкцией, ибо должное и недолжное определяются по отношению к мировому порядку в целом как его составная часть. Это не означает, конечно, что в морали и праве отсутствует сакраль-

ный момент: разница — в степени выраженности и в еще большей мере в том, кто выступает главным агентом восстанавливаемого порядка, т. е. общественное ли мнение (коллектив в целом) в случае морали, те или иные специализированные органы публичной власти в случае права или, наконец, сверхъестественные силы, будь то предки или божества в случае нормы религиозной.

В принципе ритуал в качестве выражения действия религиозной нормы отличается относительной стабильностью; во всяком случае, он неизбежно более консервативен, чем акты, реализующие правовую и даже моральную норму. При всей сопряженности всех этих видов нормы между собой, сохраняющейся и после того, как «расщепление» первобытной мононормы произошло, религия и право во все большей степени оказываются соотнесены с разными видами производственной деятельности. Первая из них в качестве обоснования поведенческой нормы все более концентрируется в области морали, т. е. в области духовного производства, оставляя сферу управления, как такового, за правом. Право же, будучи, со своей стороны, связано непосредственно с материальным производством, самым динамичным элементом жизни любого общества, неизбежно определенным образом опережает религию в темпе эволюции. И такое опережение нарастает по мере продвижения общества вперед и вверх по шкале социально-экономического развития. Больше того, именно консерватизм религиозной нормы в подавляющем большинстве случаев расценивается в качестве безоговорочного свидетельства ее аутентичности, происхождения от предков-основателей или от богов. И именно поэтому традиционная религиозная норма, зафиксированная в соответствующих формах ритуала, так широко использовалась в тех случаях, когда нарушался установленный порядок вещей в коллективе, а стало быть, и мировой порядок. Причем такого рода нарушения могли простекать как из природных причин (например, засухи), так и из внедрения в жизнь общества — и не в последнюю очередь через становящееся право — тех или иных инноваций, объективно отражавших постепенный переход от первобытнообщинного строя к классовому обществу.

В последнем отношении особый интерес представляют для нас такие сравнительно хорошо изученные виды ритуала, как ритуализованный конфликт или сознательные нарушения правилем окружающих его особу запретов, например царский инцест, довольно широко распространенный в общественных организациях, находившихся на поздних стадиях процесса классового образования или уже носивших раннеклассовый характер. Причем эти виды ритуала оказываются всегда связанными с фигурой верховного правителя таких общественных организмов⁴².

Прежде чем обратиться к ним непосредственно, представляется небесполезным высказать некоторые общие соображения по поводу роли идеологических представлений и связанного с

ними ритуала именно в трансформации облика руководителя в ходе процесса классовобразования.

В принципе общества эпохи классовобразования⁴³ позволяют особенно хорошо проследить такую общеисторическую закономерность, как неравномерный темп изменения общественного бытия и общественного сознания. Превращение массового постаршего сознания в раннеполитическое, будучи одной из линий «расщепления» синкретичного общественного сознания первобытной эпохи, с наибольшей, пожалуй, наглядностью проявлялось как раз в изменении отношения к верховной власти и ее носителям.

Понятно, что смысл самого процесса становления верховной власти нового типа при переходе от первобытнообщинного строя к классовому обществу заключался именно в коренном изменении самого характера этой власти: в ее превращении из потестарной в политическую. С точки зрения соотношения власти и общества это означало постепенное (и все ускорявшееся по мере развития процесса классов- и политогенеза) отделение власти от коллектива и ее возвышение над ним. Власть, таким образом, приобретала определенную степень независимости по отношению к массе соплеменников (точнее было бы, вероятно, говорить о некоем перераспределении меры зависимости между теми общественными слоями, на которые начинало делиться некогда единое общество).

Такие изменения в объективной сфере жизни не могли не отразиться в массовом сознании общества, в идеологии данного общественного организма⁴⁴. Важнейшим средством закрепления новых элементов в идеологии, а в конечном счете превращения ее в идеологию общества классового и оказывалась трансформация ритуала в его роли выражения и символа существующей в обществе системы ценностей. В ходе такой трансформации в систему ценностей того или иного конкретного эсо вносилось принципиально новое содержание, которое может быть определено как идеологическая институционализация неравенства, возникшего в рамках некогда эгалитарного общества, т. е. неравенства среди ранее равных. По сути дела, речь шла об идеологической параллели реально складывавшегося неравенства в общественной жизни в целом.

Ведущим компонентом массового сознания в идеологии, типичным для обществ доклассовой эпохи, т. е. первобытнообщинных, было представление о единстве и сплоченности как непрерывном условии нормального существования и благоденствия общества. И на ранних стадиях общественной эволюции, и даже довольно длительное время после вступления в эпоху классовобразования эту идею единства вполне естественно символизировал управляющий коллектив: сначала — собрание общинников, позднее — совет старейшин. Лишь постепенно, по мере углубления общественного разделения труда на непосредственно производительный и управленческий⁴⁵ и происходившей на этой

основе специализации, начинали выделяться фигуры индивидуальных лидеров в разных сферах жизни: жреца, военачальника, вождя. Конечно, функции эти могли и кумулироваться в руках одного индивида (правда, частота сочетаний была различной; например, почти не засвидетельствовано ни литературой, ни этнографическими материалами соединение в одном лице функций жреца и военного предводителя). Но общая тенденция была направлена в сторону разделения и появления специализированных носителей отдельных видов власти.

Впрочем, говоря об индивидуальных лидерах, надо ясно отдавать себе отчет о том, что термин этот неоднозначен и потому не слишком адекватен в данном случае. В самом деле, лидером в своем коллективе был и австралийский главарь локальной группы, но лидером с полным правом можно считать и зулусского *инкоси*. Неадекватность особенно очевидна, когда ставятся рядом термины «лидер» и «вождь»: они обозначают принципиально разные явления, соответствующие совершенно разным стадиям общественного развития, разделенным достаточно продолжительным временным промежутком. Собственно, само по себе весьма длительное и постепенное превращение лидера, обязанного этим положением каким-то индивидуальным, личным способностям и опыту, отвечающим в данный момент определенной общественной потребности, в вождя, т. е. лидера более или менее постоянного, не «привязанного» по своему положению к той или иной сиюминутной потребности коллектива, как раз и образовывало процесс институционализации власти в самом обобщенном его проявлении.

Но такая институционализация неминуемо должна была сопровождаться параллельно идущим закрытием представлений о возможности иных критериев доступа к власти помимо индивидуальных способностей, т. е. в конечном счете представления о неравенстве в прежнем эгалитарном обществе в специфической форме неравенства в доступе к власти. Иными словами, как раз на этом этапе и возникала возможность проявления «идеологических» — в смысле иллюзорных — представлений о суверенности власти и фигуры ее носителя.

На этапе становления верховной власти непосредственно предклассового типа, в целом соответствующей тому, что в новейшей научной литературе обозначается понятием «вождество»⁴⁶, появилась возможность подмены руководящего коллектива в роли символа общества в целом отдельным индивидом. И это весьма существенное изменение в общественном сознании потребовало соответствующих перемен в ритуале.

Впрочем, и в данном случае не следует упрощать картину. В частности, не стоит забывать о том, что выдвижение фигуры индивидуального вождя бывало, как общее правило, неразрывно соединено со складыванием привилегированного положения в обществе и той группы, к которой такой вождь принадлежал по происхождению, т. е. группы, связанной с ним узами родст-

ва, пусть даже во многих случаях родства фиктивного (вопрос о генеалогиях в качестве одной из форм идеологического обоснования власти будет непосредственно затронут несколько позже). До последнего времени обстоятельство это рассматривалось в литературе чаще как результат и следствие создания вокруг вождя зачаточного административного аппарата. Ничуть не менее логично предположить, однако, что само выдвижение единоличного руководителя в обществе, в котором кровнородственные связи еще играли если и не целиком, то, во всяком случае, в очень большой степени определяющую роль, должно было быть в такой же мере результатом возвышения родственной группы, к которой этот руководитель принадлежал, в какой и предпосылкой такого возвышения. По существу, речь здесь шла о постепенном превращении верховной власти в данном общественном организме в своего рода корпоративную собственность такой группы, и процесс этот повторял на локальном уровне диалектику классово- и политогенеза в целом⁴⁷. Во всяком случае, взаимная обусловленность обеих сторон процесса может быть достаточно подробно увидена (и притом соответственно в разной степени) в обществах весьма различного уровня социально-экономического развития — от полинезийских раннегосударственных образований, строившихся вокруг конического клана, или рэмеджа⁴⁸, до индейских народов юго-запада США, скажем тех или иных групп пуэбло. Равным образом и африканские материалы, например по эсо бантуязычных народов Южной и Юго-Восточной Африки, рисуют нам сходную картину. В качестве примера можно обратиться к таким народам, как зулу или свази. В обоих случаях считается, что верховный правитель олицетворяет весь народ в целом. Но в то же время в неявной форме (и это практически осознается общественным мнением) он выступает и в качестве представителя, и олицетворения того коллектива родственников, к которому относится по происхождению⁴⁹. Притом характерно, что в тех случаях, когда традиционная норма допускает и соперничество между претендентами на верховную власть, как обстояло дело у зулу, в традиционном массовом сознании дело выглядит таким образом, что того или иного из претендентов поддерживает не просто его родственная группа. Любой претендент действует также в качестве персонификации и выразителя вполне правомерных с точки зрения потестарной традиции, перераставшей в раннеполитическую, претензий именно этой родственной группы на соучастие в отправлении власти⁵⁰. Иными словами, на стадии перехода весьма устойчивой и существенной остается типичная для развитого родового общества концепция права любой значимой для данного эсо структурной единицы быть представленной при центральной власти⁵¹. По-видимому, подобный взгляд находил особенно ясное выражение в тех обществах, в которых переход от родового строя к классовому происходил через военно-демократические (а отчасти и военно-иерархические) нормы

потестарной организации. Хорошим тому примером может служить описанная Л. Морганом федерация ирокезов (если отвлечься от наличия в ее составе уже и «младших» племен, которые правом на такое самостоятельное представительство не пользовались)⁵².

Вполне понятно, что процесс фиксации в ритуале меняющихся идеологических представлений о власти и ее носителях проходил достаточно медленно и поэтапно. Сначала в обряд как бы «подставлялось» новое социальное содержание при сохранении внешних его форм, притом это содержание отнюдь не сразу и не всегда осознавалось участниками действия (тем более что и подстановка-то происходила поэтапно, насколько можно судить по этнографическим материалам). А уже затем понемногу начинала изменяться и форма, а в конечном счете складывалась совершенно новая внешняя форма ритуала.

Это особенно заметно при рассмотрении непосредственно предполитических, предгосударственных форм организации власти, и прежде всего вождества. Здесь изменения в идеологических представлениях о верховной власти и соответствующие им перемены в ритуальной сфере проявляются двояко. Во-первых, особенно подчеркнутой становится роль вождя как олицетворения и агента неразрывной связи общества с землей, на которой оно обитает, и с предками, от благоволения которых зависит общественное благоденствие. Если ограничиться опять-таки теми же африканскими примерами, то такая роль правителя хорошо видна, скажем, в зулусском празднике первых плодов, подносимых *инкоси*, или в торжествах обряда *инчвала* у свази. Во-вторых же, формировался, с одной стороны, комплекс запретов вокруг сакральной (или квазисакральной) фигуры правителя и (в меньшей, правда, степени, да и не сразу) вокруг его ближайшего окружения, а с другой — вырабатывались формы и приемы ритуального нарушения этих запретов.

Это явление как раз и отражало в общественном сознании то принципиальное изменение и характера власти, и ее восприятия, о каком говорилось выше. В самом деле, здесь хорошо можно проследить амбивалентность власти и ее носителя: это уже не просто символы единства и благополучия данной общности, а и нечто ей противостоящее, представляющее для управляемых некую смутно осознаваемую опасность и угрозу. Видно и то, что власть, особенно верховная, уже отделилась от коллектива, обрела благодаря развитию общественного производства и разделению труда известную независимость, и такую независимость общественное сознание с большей или меньшей остротой зафиксировало. И, значит, возникла потребность в каких-то формах ритуального «приведения в соответствие» с пока еще не изменившейся древней идеологической традицией и одновременно снятия напряжения, неизбежно возникшего в общественной психологии под воздействием всех таких новшества в социальной сфере.

Амбивалентность власти и вождя (и в то же время объективная общая тенденция эволюции в потестарной, а затем и в политической сфере) прекрасно видна у тех же свази и зулу. Скажем, у первых в случае совершения проступка перед духами предков рядовым соплеменником ответственность перед предками несет отнюдь не сам виновник, а стоящий над ним вождь⁵³. Не менее показательны и то, что у зулу рядовые члены отдельных зулусских племен или более мелких групп, которых их локальные правители пытались увести на новые территории, не подвластные верховному *инкоси* (это со времен Чаки считалась тяжким преступлением), ответственности за свое участие в такого рода попытках не несли⁵⁴. В обоих этих случаях коллектив в лице вождя, с одной стороны, как будто прикрывал своего рядового члена от опасности. Но, с другой стороны, перед нами предстает, по сути дела, отчуждение члена общества от важнейшего его права-обязанности: личной ответственности перед коллективом, включая в это последнее понятие и предков. Если взглянуть на дела в более широкой исторической перспективе, то здесь мы имеем перед собой одну из самых ранних стадий утраты равноправия в рамках военно-иерархического общественного организма, какими были общества и свази и зулу.

5. Естественно, попытки привести реальные обстоятельства общественной жизни к традиционной норме, каким-то способом разрешить противоречия предпринимались в первую очередь именно в сфере идеологии, так сказать, на магическом уровне⁵⁵. Ритуализация конфликта становилась в этих условиях типичной формой и средством разрешения противоречий, возникавших в ходе функционирования видоизменявшейся верховной власти. Во всех таких случаях имелось в виду путем ритуального представления должного и недолжного «восстановить» общество, интегрировать его в «прежних» рамках.

Характерная особенность типичного ритуального конфликта заключена в том, что он отражает специфику зародышевых форм классовой борьбы, возникавших как раз на стадии непосредственного перехода от позднепотестарной к раннеполитической организации. Такая борьба в данном случае развертывалась не столько вокруг распоряжения средствами производства, сколько вокруг прав на тот или иной престижный статус в обществе⁵⁶. Несомненно, речь у нас идет о социальных организациях, еще не достигших в своем развитии классового уровня. Но они уже преодолели и тот уровень, на котором превышение числа претендентов над числом престижных общественных должностей не сопровождалось дифференциальным доступом к материальным благам (опять-таки прежде всего престижным). Иначе говоря, речь идет о стратифицированных обществах, если воспользоваться терминологией М. Фрида⁵⁷.

Понятно, ритуальный конфликт не в состоянии изменить объективно обусловленного процесса социально-экономического

развития. Скорее он выступает как прикрытие в идеологической области тех перемен, которые уже произошли в обществе. И, что едва ли менее существенно, ритуальный конфликт, о чем уже говорилось, оказывается достаточно эффективным средством массовой психотерапии, успокоения массового сознания, причем одновременно вводя в это сознание качественно новый элемент. Ведь за таким ритуалом всегда стоит как нечто само собой подразумевающееся право одного человека олицетворять и представлять все общество и осуществлять верховное руководство последним. Предметом спора служит лишь то, как этому одному человеку наилучшим образом выполнять такие свои функции. И, таким образом, мы вправе утверждать, что массовое сознание и идеология общества преодолели важнейший качественный порог: в них вошла в качестве органической части идея подмены коллективного управления общественным организмом управлением одного человека, пусть даже и окруженного группой советников и помощников.

По-видимому, можно говорить о том, что в основе всякого — в той мере, конечно, в какой можно судить по доступным нам материалам, — ритуального конфликта изначально лежали две (определяющие идеи: чередования добра и зла (т. е. в применении к потестарным отношениям — благотворного и опасного аспектов власти) и периодического восстановления ранее существовавшего, освященного традицией порядка вещей. Эти идеи могли быть выражены в разной степени, в конкретных конфликтах получала преобладание та или другая из них, однако присутствовали они обязательно. При этом в ходе «восстановления», обычно создавалась на какое-то время ситуация, полностью отрицающая именно тот порядок, который надлежало восстанавливать. Это могло принимать разную форму: то ли сам правитель нарушал все или важнейшие из существующих в обществе запретов, то ли вместо реального правителя выдвигалась на определенное время какая-либо «подменная», чаще всего шутовская фигура, то ли всяческим поношением подвергался сам правитель (обычно будущий) или даже сам авторитет верховной власти. У многих народов, в частности в Африке, ритуальным конфликтом такого рода сопровождалась любая смена правителя. Это, впрочем, вполне естественно: с точки зрения потестарной идеологии предклассового общества промежуток между ушедшим правителем и будущим — время полной неустойчивости, а потому и исключительно опасное, требующее особого ритуального регулирования.

Вообще моменты смены правителя, как правило, оказывались именно такими периодами, когда единство обеих названных идей проявлялось самым очевидным образом. Собственно говоря, одним из первых, даже еще раньше, чем британские политантропологи, продемонстрировал это на примере индуистских божеств и римских царей Ж. Дюмезиль. Он показал, что в царском Риме сменяли друг друга два «царских типа», пред-

ставлявшие: один — «творческое» насилие и *celeritas*, т. е. резкость, стремительность, а второй — организаторские потенции и *gravitas*, т. е. важность, серьезность⁵⁸. Такое чередование обеспечивало обществу поочередный возврат к истокам царской власти.

Эта тенденция возврата к истокам очень хорошо продемонстрирована в материалах по многим африканским обществам. Вот, например, уже упоминавшийся обряд *инчвала* у свази, проводимый ежегодно. Одновременно *инчвала* — образец «ритуального переворота». Обряд состоит из двух достаточно четко разграниченных стадий. На первой из них правитель подвергается всякого рода нападкам; специальные песнопения подчеркивают: его подданные враждебны к нему, отвергают его. В это же время ставка правителя подвергается символическому разграблению народом. Вторая стадия обряда начинается с поедания первых плодов, причем руководит этим правитель (который предполагается вышедшим из стадии своего, так сказать, ниспровержения окрепшим и вновь превратившимся в льва или быка). При этом первые плоды вкушают в соответствии с установленной в обществе свази системой рангов и статусов, вполне отражающей социальную иерархию. Таким образом, во-первых, дается наглядное изображение должного общественного порядка, а во-вторых, такой порядок в глазах общества восстанавливается с того момента, когда поедание первых плодов подтверждает и укрепляет узы, связывающие верховную власть с природой, с мировым порядком. Притом на всем протяжении церемонии сохраняется неизменно подчеркиваемая двойственность фигуры правителя и двойственность отношения к нему. На завершающем этапе *инчвала* правитель демонстрирует свои сомнения и колебания по поводу того, становится ли ему вновь во главе своего народа, и принимает положительное решение только после настойчивых (и, понятно, строго регулируемых ритуалом) уговоров со стороны членов правящего клана и предводителей войска. После такого ответа единство общества и власти, правителя и народа считается окончательно восстановленным. *Инчвала* подчеркивает, с одной стороны, неразрывную и обязательную связь между порядком социальным и общественным, а с другой стороны, продемонстрировав угрозу наступления хаоса в случае нарушения этого порядка, соответствующими ритуальными действиями обращает этот наступивший было хаос в воссозданное, и не просто воссозданное, а и в укрепленное благотворное единство мирового и социального порядка⁵⁹.

С еще большей четкостью проявляется такое противопоставление хаоса как единственной альтернативы установленному социальному порядку в тех случаях, когда дело касается общественных организмов, где социальная стратификация продвинулась уже довольно далеко. В этом смысле весьма показательен пример народа ании в Республике Кот-д'Ивуар. Правда, в от-

личие от обряда *инчвала*, ритуал *бе ди муруа* у ании имел место только в моменты смены правителя, но главное значение его обнаруживается от этого едва ли не более четко.

После смерти правителя в период до «законного» прихода к власти его преемника «перевернутыми» оказываются не просто отношения между вождем и народом, как у свази, а отношения между свободными и несвободными. Как только правитель умирает, последние захватывают его усадьбу, и один из них, завладев всеми символами верховной власти, превращается в шутовской вариант «нормального» правителя. Он создает собственный двор и собственную иерархию приближенных, полностью повторяющие существовавшие при умершем, восседает на его престоле, требует подношений. Его приближенные могут грабить накопленные у жителей столицы запасы продовольствия. И вообще несвободные (я сознательно избегаю говорить о рабах, тем более что и сама описавшая этот ритуал К.-Э. Перро предпочитает говорить о «пленниках»—*captifs*) ведут себя подчеркнуто вызывающе по отношению к свободным, нарушая самые, казалось бы, нерушимые запреты. В частности, тот разнuzданный образ жизни, какой они ведут в этот промежуточный период, являет полную противоположность тем ограничениям, которым подвергаются ввиду траура по умершему «настоящему» правителю свободные люди. Иными словами, весь привычный социальный порядок «переворачивается», обращаясь, собственно, в пародию на самого себя.

И это именно пародия: ни о каком серьезном социальном перевороте нет и речи. Пародийна и сама обрядность двора «шутовского правителя» — *abuqahenne* (букв. «вождя детей рабов, рожденных в доме», т. е. при дворе). Огрызки банана имитируют жалюемых им или преподносимых ему быков, пальмовые листья — баранов, вода — спиртные напитки. Да и из подношений *abuqahenne* две трети отдает семье умершего «настоящего» правителя. Очень характерно, что *aburnahenne* не имеет доступа к казне правителя и никак не участвует в принятии сколько-нибудь важных политических решений. Реальная власть — и это прекрасно известно исем участникам ритуала — остается в руках старейшего советника покойного правителя. Этот советник ведет, как мы бы в данном случае сказали, все текущие дела, а в особенности занимается подготовкой интронизации нового, «подлинного» верховного правителя. «Перевернутый» социальный порядок недолговечен, он действует только до момента погребения умершего. Едва только такое погребение состоялось, все становится на свои места: власть возвращается в руки свободных, несвободным приходится снять и порвать пышные одежды, а «шутовского правителя» иногда просто передают смерти. После этого настоящий преемник умершего правителя может наконец принять власть над обновленным и укрепленным в своих основах обществом⁶⁰. Пожалуй, самое характерное во всем этом ритуале то, что он проводится на основе как бы

идеологического консенсуса, если так можно выразиться. И действительные хозяева, и те, кому предстоит в конечном счете стать жертвой ритуального действия, согласны с необходимостью совершения этого ритуального действия, хотя отлично знают его сценарий и никаких попыток реально изменить существующий порядок не предпринимают. Более того, еще при жизни прежнего правителя бывает заранее известно, кто именно из несвободных станет *aburuahenne*, а кто — *aburuahema* («правительницей несвободных», «шутовской правительницей»). Это ли не подтверждение справедливости тезиса о том, что для осуществления власти в обществе нужна определенная степень согласия с этим порядком и тех, кому он объективно наносит ущерб (см. выше).

В известном смысле в качестве специфического варианта ритуального конфликта можно рассматривать и достаточно широко распространенный обычай царского инцеста (слово «царского» употреблено здесь чисто условно, за неимением лучшего обозначения), включая в это понятие не одно только нарушение половых запретов, но более широкий круг нарушений разного рода табу, окружавших правителя (хотя, бесспорно, именно инцест пользовался наибольшим вниманием в литературе и изучен особенно подробно)⁶¹. В целом общепринятое толкование подобных ритуалов до самого недавнего времени заключалось в том, что правитель, совершая любого рода нарушения табу, тем самым демонстрирует свой отрыв от коллектива, свое возвышение над ним. В принципе подобная точка зрения, по-видимому, сохраняет свое значение и сейчас. К ней можно, конечно, добавить, что по мере социально-экономического развития в направлении классового общества в первоначальной амбивалентности самих табу, окружавших правителя, происходил несомненный сдвиг в сторону такого его возвышения над обществом: ведь первоначально табу, ограничивая правителя в том или ином отношении, в то же время обеспечивало ему «сверхъестественную защиту» при контактах с соплеменниками. И как раз эта вторая черта все более и более выступала па первый, и решающий, план. И кроме того, нарушения табу в ритуале подчеркивали во все большей мере именно эту защиту, которая первоначально все же была па втором плане сравнительно с демонстрацией в обряде единства между природой и обществом.

Характерно, что, коль скоро смысл процесса заключался в постепенном отрыве и олицетворявшего ее правителя от народа и в их возвышении над ним, а соответственно и над властью «обычая для всех», да и над складывавшимся законом для всех, разного рода табу вокруг фигуры правителя и едва ли не в равной степени ритуализованные формы их нарушения (т. е. фактически еще одни канал отрыва и возвышения правителя над массой) создавали, во-первых, возможность, а во-вторых, и реальные пути для складывания новой социальной верхушки. Речь идет о будущей служилой аристократии, «царских

людях» (обозначение опять-таки чисто условное), не связанных кровнородственными (пусть даже фиктивными) узами с правителем. Этот процесс шел параллельно первому, хотя вовсе не обязательно синхронно с ним, и в ходе его вновь формировались в массовом сознании новые ценностные ориентации, пролагавшие путь от потестарной ориентации к политической.

Следует, впрочем, упомянуть и то, что в работах самого последнего времени ощущается тенденция полнее и всестороннее рассмотреть и оценить социальный смысл табу вокруг фигуры правителя или даже раннего монарха, равно как и их нарушения в ритуале. Характерны в этом отношении многие исследования из сборника «The Study of the State». Смысл взглядов их авторов сводится, собственно, к таким соображениям. Амбивалентности правителя соответствует не только стремление ослабить дурную и сохранить благодетельную сторону его фигуры. Он оказывается в определенном смысле как бы заложником общества, играя в случае каких-либо непредвиденных тяжелых событий роль козла отпущения. Сами по себе такие взгляды не новы, они восходят все к тому же Дж. Фрэзеру. Но заслуживает серьезного внимания, что на большом этнографическом материале доказывается весьма ранний характер таких идеологических представлений: они намного опережают во времени сложение подлинно политических структур, встречаясь во многих случаях уже в потестарных структурах, которым не соответствует еще сформировавшаяся структура классовая⁶².

Строго говоря, такая постановка вопроса обнаруживает также двойственность отмечавшегося выше процесса «подмены» руководящего коллектива в общественном сознании руководящим индивидом. Больше того, представляется оправданным предположение, что в роли козла отпущения отдельная личность по необходимости должна была предшествовать такой же личности в качестве реального руководителя. В самом деле, если говорить о верховных правителях как о фигурах в разной степени сакрализованных, то выявляется довольно определенная тенденция к тому, что, чем больше такая степень, тем больше и роль ближайшего окружения правителя. Иначе говоря, коллектив, правда теперь уже сформированный на совершенно иных принципах и неизмеримо более ограниченный и по среде, из которой он рекрутируется, и по статусу своих членов, продолжает играть весьма реальную роль. И по этой причине, кстати, индивидуальный правитель, даже в высокой степени сакрализованный, редко имел возможность стать настоящим деспотом. Обычно сама структура позднепотестарных и большей части раннеполитических систем включала своего рода гарантии, ограничивавшие возможность немедленного превращения верховной власти одного человека в деспотическое самовластие (уже упоминавшиеся checks, по определению Дж. Битти)⁶³.

6. В идеологическом обосновании власти и отношений властвования уже очень рано существенную роль начал играть ге-

неологический аспект. Собственно, в этом нет ничего удивительного: в условиях первобытнообщинного строя родство, запечатленное в генеалогии, представляло важнейший вид социальных связей, вне которых вообще немыслимо проявление властных отношений. Сами по себе вопросы, связанные с генеалогическими отношениями, как таковыми, с категорией социального родства⁶⁴, с различием между системами генеалогическими и системами родства, давно уже служат предметом активных дискуссий среди этнографов⁶⁵. Рассматривать их здесь значило бы выйти далеко за пределы тех задач, какие ставит себе настоящая работа. Для нас первостепенное значение имеет то, что генеалогия всегда служила весьма действенным средством легитимации отношений власти и властвования, едва только общество вступало в эпоху классового образования и, стало быть, в процесс становления отделенной от народа публичной власти. В самом деле, именно они лежали в основу практически любой системы доступа к верховной власти: нормы рекрутирования ее носителей, перехода власти от одного лица или от одной группы лиц к другому лицу или лицам устанавливались так или иначе по отношению к генеалогическому статусу таких лиц или групп при всех возможных различиях в способах определения конкретного носителя этой власти⁶⁶. Соответствие или несоответствие претендента такому статусу, формулируемое в значимых для данной культурной традиции терминах; становилось решающим моментом в идеологическом обосновании власти и ее восприятии массой членов общества.

В то же время немаловажно (именно с этой точки зрения), что генеалогии отличаются редкой гибкостью и приспособляемостью к конкретной социальной и политической обстановке. Они неизменно «редактируются» передатчиками и другими знатоками таким образом, дабы «вписаться» в эту обстановку в данный конкретный момент⁶⁷. По выражению французского исследователя А. Моньо, «генеалогии суть только имиджи реальности»⁶⁸. Проще говоря, любые уже возникшие генеалогии оказываются объектом систематической манипуляции, призванной служить, в свою очередь, вполне определенным практическим целям. Не случайно, например, нижеследующее замечание современной исследовательницы: у мамприси царские барабанщики, хранители генеалогий, могут любую часть генеалогии правителя связать с генеалогией любой другой группы правителей (через ритуальную патрифилиацию от того двора, при котором они или их предки получили *наам*)⁶⁹. Если принять во внимание, что подобного рода «редактирование» генеалогий происходило в большей или меньшей степени в каждом поколении, то становится особенно очевидной правота З. Наде-ля. Он еще в начале 40-х годов настаивал на необходимости строгого разграничения уровней объективной и «идеологической» истории, т. е. исторических фактов, как таковых, и их осмысления людьми, представляющими субъект истории⁷⁰. Этот

тезис, впрочем, применим к любому случаю использования устной традиции в качестве исторического источника⁷¹.

Затронув вопрос передачи генеалогических сведений в качестве одного из элементов идеологического обоснования власти, мы подходим к более широкой проблеме: месту слова в ритуальном оформлении потестарной или политической деятельности. Эта проблема сравнительно недавно сделалась предметом специального изучения, поэтому не может быть и речи, чтобы ее рассматривать здесь в целом. Я ограничусь лишь таким аспектом ее, как значение словесных форм идеологического обоснования власти в ритуальной ее передаче. Аргументируя необходимость обращения к изучению политического (в обычном для западной науки значении последнего слова, без разделения потестарного и политического) языка, британский антрополог М. Блок даже утверждает: «Изучение политического языка в качестве предварительной стадии изучения политики, казалось бы, вполне очевидной вещью, так как, если мы подумаем о том, что имели в виду антропологи, когда они обсуждали политическое, скоро понимаешь, что это почти исключительно речевые акты»⁷². Конечно, это некоторое преувеличение, но доля истины в нем, несомненно, есть.

Современные этнографические исследования обнаруживают несомненный факт: «потестаро-политическая речь», если можно воспользоваться таким обозначением, ориентирована прежде всего на подтверждение незыблемости привычного, традиционного порядка вещей. Она, с одной стороны, делает это прямо, самой своей структурой «формализованного речевого акта»⁷³ (или же, в более широкой трактовке Дж. Гуди, «стандартизованной устной формы», *standardized oral form*⁷⁴), подчеркивая незыблемую верность такому порядку и соответственно всячески ограничивая место, отводимое собственно новой информацией, в пользу подтверждения традиции. В этом отношении очень интересны и, видимо, характерны в смысле выявления тенденции формы ритуальной речи у малагасийцев (мерина), исследовавшиеся тем же М. Блоком и Э. Кинан⁷⁵. Типичное выступление на любом собрании, где предстоит принять решения, имеющие значение для локальной «политики», делится на четыре стандартные части. Первая состоит из выражений самоуничижительных, всячески подчеркивающих: оратор как бы просит извинения у собравшихся за то, что вообще осмелился выступать перед ними. В следующей части центральным сюжетом оказывается то, что можно определить как обращение к истокам: оратор старательно ссылается на опыт предков, иллюстрируя этот опыт и его ценность с помощью множества пословиц и поговорок. Заключительная, четвертая часть речи практически повторяет эти две, поскольку сводится к тому, что оратор почтительно благодарит присутствующих за честь быть ими выслушанным и призывает на них благословение. И только в третьей части такого в определенном смысле ораторского

спектакля содержатся некая новая информация или какие-то конкретные предложения, к слову сказать тоже «закутанные» во множество клишированных выражений.

Такому характеру выступлений соответствует и существующее в политической культуре народа мерина разделение речи на бытовую, свободную — *ресака* (ее обозначают еще и как «повседневную», или «простую») — и речь церемониальную — *кабари*. *Кабари* пользуются лишь в определенных, так сказать, формализованных ситуациях, и отличительной особенностью этой речевой манеры служит прежде всего требование выражать свою мысль сколь возможно более косвенным путем, главным образом намеками. И соответственно существует достаточно стандартизованный набор стилистических фигур и приемов, употребляемых в *кабари*. Важность этой последней вполне очевидна, если учесть, что все выступления по сколько-нибудь значительным для данного коллектива поводам, связанным с появлением властных отношений, идут на *кабари*.

Могут возразить: пример малагасийцев не слишком характерен, так как речь идет, собственно, о «политике» на локальном, чаще всего деревенском, уровне, и, таким образом, ссылки на этот пример нарушают условие, сформулированное в предыдущей главе: потестарные и политические отношения начинаются с общинного уровня. Нужно, однако, принять во внимание, что современные образцы «политических речей» на Мадагаскаре, в сущности, сохраняют нам те формы действительного политического регулирования отношений внутри общин и между общинами и королевской властью в доколониальное время, которые были нормальной социальной практикой, иначе говоря, показывают исследователю, «как это делалось».

При этом стандартизованная стилистика церемониальной речи отнюдь не ограничивается мерина. Можно вообще отметить некоторые типические черты такой речи, распространенные от Мадагаскара до Тикопиа и от Бали до Тонга. Сюда относятся: сознательное применение определенного стилистического стандарта; четко ограниченная лексика; исключение некоторых синтаксических форм; аргументация на базе ограниченного числа источников типа пословиц; наконец, строго фиксируемые громкость речи, ее интонационный рисунок и т. п.⁷⁶ Можно также подчеркнуть и то, что формализацию церемониальной речи как неотъемлемый признак традиционного «чистого типа» общества, по его классификации, отмечал еще М. Вебер⁷⁷.

Но одновременно с этим разные аспекты церемониальной речи стабилизируют и обосновывают существующий порядок и, так сказать, косвенным путем. Тут надо в первую очередь называть различие в праве доступа к слову на том или ином торжественном сборище, идет ли речь о старшинстве между членами отдельной кровнородственной группы или о старшинстве между более крупными общностями типа клана или даже племени. Но могут быть применяемы и более тонкие средства.

Р. Ферс описывает публичную речь одного из тикопийских вождей во время *фоно* — собрания жителей острова, посвященного в данном случае подготовке встречи с окружным комиссаром правительства. Сама по себе процедура этого конкретного *фоно* была несколько необычной: как правило, вожди-*арики* лично не держат речь на такого рода сборищах, а делают это устами специальных сановников — «носителей речи». В описываемом случае такой сановник выступал лишь с преамбулой к речи вождя, причем она заслуживает быть воспроизведенной хотя бы частично: «Эта земля — земля вождей; что бы они нам ни сказали, следуйте этому!.. Что бы нам ни сказали пойти и сделать, пойдем и сделаем это». Здесь идеологическое обоснование необходимости повиновения вождям предстает перед нами, так сказать, в самом прямом и откровенном виде. Но далее следует речь самого вождя Тафуа, и заканчивается она весьма характерной формулой: «Если вы хорошо слышали, исполняйте; если вы слышите плохо, исполняйте!» По этому поводу Р. Ферс замечает: «Иными словами, думайте что хотите, по делайте все, что говорят вожди!»⁷⁸.

Дело, впрочем, не ограничивается использованием церемониальной речи и соответствующей организацией собраний, на которых такую речь употребляли. Слово, как известно, и само по себе рассматривается в качестве носителя некоей магической силы. Поэтому владение словом всегда было одним из важнейших атрибутов фигуры правителя, вождя. Это можно проследить, например, на той роли, которую играет вождь во время ритуала *пилу-пилу* — церемонии, во время которой подтверждаются мировой порядок и структура и благополучие общества в целом, во всех его аспектах, — на Новой Каледонии. Здесь вождь выступает именно в роли «обладателя слова» в противовес ритуальным «хозяевам земли»: мощь первого, *орокау*, заключена в слове, ибо он повелевает, тогда как второй, *каву*, связан через землю с космическим порядком. Но такое противостояние сочетается с необходимостью единения: диалектическое единство слова и земли обеспечивает нормальное развитие общества⁷⁹.

В принципе такую же идеологическую концепцию (или, во всяком случае, близкую к ней) можно предположить и в ритуале других народов, в частности в не раз уже упоминавшемся в этой главе *инчвала* у свази, где, как и на Новой Каледонии, он в значительной мере предстает праздником первых плодов. Но даже при отсутствии этого элемента ритуал совместной трапезы с правителем может сопровождаться церемониальной беседой и обменом дарами, в свою очередь символизирующими существующий порядок и направленными на его дальнейшее упрочение и увековечение.

Так, у гонджа Ганы обмен дарами между участниками ритуальной трапезы, сопровождающейся церемониальной беседой, подтверждает различия в ранге и статусе между участниками

обмена, а у мампруси раздача правителем-*наба* орехов кола следует по раз и навсегда установленному порядку старшинства магической сущности власти — *наам*, — которой обладают участники трапезы. Сопровождающая же раздачу орехов церемониальная беседа, подчинявшаяся строгим правилам, служит помимо всего еще и важным источником информации для правителя о положении дел в стране⁸⁰.

Так же обстояло дело и у ньюро, где «питье молока» вместе с *мукамой* (в колониальное время это было заменено дарением кофейных бобов) служило необходимой формой ритуала делегирования *махано* нижестоящему правителю. В таком смысле оказывается вполне справедливым определение ритуала, при надлежащее Э. Личу: «Тот аспект обыденного поведения, который утверждает представления об иерархических отношениях между людьми»⁸¹. У тех же гонджа, например, специальный ритуал дважды в неделю подчеркивает и демонстрирует признание власти вождя и повиновение ей на всех уровнях — от верховного правителя княжества Гонджа до деревенского старосты. При этом вождь помещается выше своих подданных, над ними⁸².

7. Если попытаться в заключение оценить эффективность разных видов ритуального выражения идеологической основы власти, то, по-видимому, придется прежде всего обратить внимание на зависимость такой эффективности от конкретной исторической обстановки, а главное — от уровня социально-экономического развития данного конкретного общества. Это может показаться азбучной истиной, но, пожалуй, стоит к ней обратиться, коль скоро за нею стоит достаточно существенная методологическая проблема. Проблема эта заключается в том, какими видеть цели власти и ее носителей при отправлении того или иного ритуала. В особенности сказанное относится к ритуальному или ритуализованному конфликту. Для британских политантропологов, в первую очередь для М. Глакмэна, который первым занялся серьезным изучением такого конфликта и создал классификацию его форм⁸³, речь шла в самом общем виде о попытке восстановить равновесие общественной структуры. Но, в первых, такое равновесие может быть только динамическим (даже если африканские традиционные правители и стремились к восстановлению статичных форм общества). А это означает, что «восстановленный» прежний порядок оказывается таковым лишь формально, в то время как противоречия объективного характера продолжают накапливаться, порождая неизбежность дальнейшего углубления конфликтных ситуаций. Во-вторых, для британских исследователей все виды такого конфликта представлялись в принципе равноценными, никакой из них не рассматривался в качестве решающего, а это, конечно, не соответствует исторической реальности. Впрочем, в последние годы в западной науке стали раздаваться возражения и против того, чтобы трактовать ритуальный конфликт по М. Глакмэну

как средство массовой эффективной психотерапии, поскольку он не сопровождается катарсисом⁸⁴.

Пожалуй, более действенным средством ускорения объективного процесса превращения общества потестарного в общество политическое, чем все прочие, оказывалась сакрализация фигуры верховного правителя. Она создала, можно сказать, решающий прецедент: власть, стоящую над народом. Именно поэтому, видимо, ведущая тенденция в становлении сакральной власти была направлена, во-первых, как уже говорилось, в сторону превращения ее в универсальное явление (в раннеполитических структурах), а, во-вторых, внутри самого процесса сакрализации наблюдалась определенная эволюция от правителя просто сакрального, т. е. обладающего лишь преимущественными возможностями связи с предками и со сверхъестественным миром и вытекающими из такой связи способностями, к обожествленному царю. Речь шла о все большем отделении от народа публичной власти и возвышении ее над обществом, и потому фигура обожествленного правителя в принципе могла появиться только уже в классовом обществе (степень его «классовости» в данном случае уже не играла решающей роли). Такую разницу между «просто сакральным» и обожествленным правителями можно хорошо проследить, скажем, на материалах Центральной и Южной Америки. Вот как формулирует эту разницу Ю. В. Кнорозов, рассматривая институт обожествленного наследственного правителя у майя: «Земной владыка, вместо того, чтобы передавать власть (по истечении ранее установленного срока.— *Л. К.*), получает от очередного бога инвестицию на правление»⁸⁵. Еще удачнее выразил разницу между сакральным и обожествленным правителем М. Годелье, заметивший, что Инка, сын Солнца, больше не представитель людей перед богом, но представляет богов в мире людей»⁸⁶.

Сакрализация власти непосредственно сопряжена с использованием мифа в качестве инструмента объяснения мира и в то же время легитимации существующего в обществе порядка отправления власти и его обоснования. В этом смысле мифология неразрывно связана с генеалогией, в частности еще и потому, что миф нередко дает объяснение и обоснование неравенству отдельных общественных групп в рамках данной структуры. Как примеры такого обоснования можно назвать случаи, когда господствующая группа, обычно этническая, предстает в собственных мифах в роли своего рода культурного героя, принесшего в занимаемые ею ныне области важнейшие элементы культуры— культурные растения, животных, огонь и т. д. Обычно такие мифологические представления находили непосредственное выражение в символике ритуала утверждения у власти новых правителей. Не случайно Э. Лич подчеркивает: «Миф— это хартия ритуального действия, и... мы только тогда сможем понять, что символизируется, если примем во внимание то, о чем говорится в мифологии»⁸⁷.

В принципе, видимо, всякое наследование верховной власти так или иначе «привязывалось» к мифологическому прошлому. При таком подходе становится очевидным, что расхождения между разными версиями мифа в символической форме фиксировали вполне реальные столкновения, связанные с установившейся когда-то потестарной властью, а затем вовлекались в качестве идеологического орудия в политическую борьбу⁸⁸. Не случайно писал М. Фортес: «Мифы и легенды талленси подделывают (counterfeit) историю»⁸⁹. Эффективность мифа в роли идеологического обоснования в этих случаях повышалась еще и тем (как и в случае с генеалогиями), что оперирование мифологическими категориями, во всяком случае эффективное оперирование, требовало наличия групп специалистов, для которых это становилось главным родом деятельности. Появление таких «профессиональных» хранителей мифов в известном смысле может считаться свидетельством того, что тот или иной эсо подходит к завершающему этапу классообразования.

Вместе с тем пример мифа хорошо показывает всю сложность выделения потестарной или политической культуры даже на аналитическом уровне. В самом деле, ни миф, ни религиозные верования не входят, строго говоря, в состав этой части культуры, перекрывая гораздо более широкие сферы культуры общества в целом. Что же из средств психологического принуждения, с которых начиналась эта глава, принадлежит к потестарной или политической культуре? По-видимому, ее организационной составной частью следует считать не столько саму религию или миф, сколько установившуюся традицию апелляции к ним для целей регулирования отдельных частей подобного принуждения. Я имею в виду в данном случае не только и даже, пожалуй, не столько факт такой апелляции — это в конце концов и не могло быть иначе в докапиталистических общественных организациях, — сколько организационные (иначе говоря, ритуальные) ее формы, критерии отбора элементов мифологических и религиозных представлений и, конечно, конкретные формы, которые принимала потестарная или политическая власть под воздействием всего комплекса культурных и идеологических форм, использовавшихся для ее обоснования и легитимации.

**ПОТЕСТАРНАЯ И ПОЛИТИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
В РЕАЛЬНЫХ ПРОЯВЛЕНИЯХ**

От природы никто не получал
права повелевать другими.

*Д. Дидро. Политическая власть
(«Энциклопедия»)*

Собственность и должность были поч-
вой, на которой выросла аристократия.

Л. Г. Морган. Древнее общество

1. Если исходить из предложенного в гл. 1 настоящей работы определения предметной зоны потестарной и политической (потестарно-политической) этнографии, то достаточно очевидно, что исследователя-этнографа в случае его обращения к отношениям власти и властвования в том или ином конкретном доклассовом или раннеклассовом обществе должны занимать как сами эти отношения, так и связанные с ними организационные и общественно-психологические структуры, в рамках которых протекает и которыми в значительной мере определяется функционирование власти. Обоснование такого многостороннего подхода я также попытался дать в предшествующих главах. Стоит, видимо, только повторить: речь идет о потестарно-политической культуре, рассматриваемой в качестве специфического способа деятельности социальной структуры в целом.

В то же время очевидно и то, что само понимание этого способа деятельности возможно лишь в более широкой исторической перспективе. Иными словами, он должен быть включен в контекст общих закономерностей эволюции власти по мере продвижения общества по шкале социально-экономического развития, равно как и смены одних, более ранних ее форм более поздними, приближающими становление классового общества, а затем обеспечивающими становление и функционирование этого общества. Таким образом, в ходе потестарно/политико-этнографического исследования в поле зрения этнографа неминуемо вовлекается намного более широкий круг явлений, нежели собственно потестарно-политические.

Историческая эволюция отношений и институтов власти в принципе неизменно была направлена в сторону превращения потестарного в политическое, и признание этого — ни в коей мере не проявление некоей телеологической направленности марксистского понимания исторического процесса, в чем в последнее время стало чуть ли не модным упрекать марксизм у

некоторых западных ученых. Такое превращение, естественно, вытекало из трансформации социально-экономических структур, завершившейся становлением общества с антагонистическими классами, построенного на отношениях эксплуатации и зависимости. Отношения и институты власти не бывали при этом нейтральными, напротив, их использование в интересах определенных социальных групп, а затем и сложившихся классов составляло одну из самых характерных черт процесса сложения классового общества. Поэтому потестарно/политико-этнографическое исследование не может отвлечься от общих предпосылок формирования классов и классового общества, от анализа возможных путей институционализации власти, от соотношения генезиса классов и государства (классо- и политогенеза). В этой области потестарно-политическая этнография непосредственно граничит с историей первобытного общества, с той ее частью, которая занимается изучением эпохи классовобразования.

Соответственно в последующем мне придется коснуться не только конкретных форм выражения потестарных и политических отношений в доклассовых и раннеклассовых общественных организациях, но и затронуть также указанные выше общие вопросы.

Если располагать формы организации потестарных и политических отношений в общей эволюционной последовательности, то в начале такой шкалы, естественно, оказываются такие потестарные отношения, которые и определить можно как «естественные». Я имею в виду выражение отношений власти, потестарных, через отношения родства, реального или фиктивного.

Здесь, однако, стоит сделать оговорку. В первобытных обществах охотников и собирателей, скажем в некоторых группах бушменов или австралийцев, само понятие власти нуждается в некотором уточнении. Дело в том, что, хотя главный элемент ее, т. е. способность принудить индивида к определенному поведению, здесь и имеет место, тем не менее даже в рамках единичной семьи эта способность реализуется скорее под воздействием авторитета, будь то авторитет коллектива или индивида, например старшего, а не власти в строгом смысле (хотя, конечно, коллектив всегда может заставить индивида вести себя тем или иным заданным образом). Что же касается локальных групп, объединяющих несколько таких единичных семей, то и подавно не наблюдается ничего похожего на власть как принуждение по преимуществу¹.

М. Фрид, обобщая признаки власти в «простых эгалитарных обществах», по его классификации, т. е. именно в локальных группах охотников и собирателей, предложил пять главных особенностей «лидерства» в подобных коллективах. Во-первых, оно основано именно на авторитете, а не на власти, как таковой (за редкими исключениями); во-вторых, оно не закреплено стабильно за тем или иным индивидом, а переходит от одного «компетентного» лица к другим; в-третьих, эти перемещения локуса

авторитета связаны не столько с лицами, сколько ситуативны; в четвертых, власть присутствует исключительно в очень малых группах, типа семьи, но выше этого уровня исчезает; в пятых, авторитет, хотя и распространен гораздо шире, нежели властные отношения, также «размывается» по мере увеличения размеров коллектива. Понятно, действенность этих принципов связана также с демографической и экологической обстановкой².

Что касается собственно отношений власти, скажем, в рамках единичной семьи, то там они вполне естественно строятся на половозрастном разделении труда.

Вместе с тем были бы неправомерными утверждения об отсутствии власти в таких обществах вообще. Даже если принимать во внимание преобладающую роль авторитета, правильнее будет говорить о власти коллектива, реализуемой через авторитет индивида, выполняющего функции лидера в данной конкретной ситуации. В самом деле, такой авторитет, по сути дела, символизирует социальный опыт данной общности, пути и способы нормального ее функционирования. Это не означает, конечно, что в первобытном коллективе невозможны отклонения от традиционной нормы поведения, но такие отклонения чаще парируются всем коллективом в форме морального осуждения или иногда очень жесткой кары, т. е. опять-таки мы имеем здесь дело со сферой идеологического обеспечения конформности поведения, о чем шла речь в гл. 3.

В свете сказанного приходится признать, что выражение отношений власти в категориях родственных отношений хотя и располагается в начале шкалы, но представляет само по себе результат достаточно продолжительного исторического развития. Имеется в виду, что для его возникновения необходимо было появление у общества потребности в какой-то форме — осознанной форме! — выражения отношений, ранее не ощущавшихся как нечто в той или иной мере самостоятельное. Понятно, в самом истоке своем оно было связано все с тем же половозрастным разделением труда, но в развитом виде служило гораздо более продвинутому уровню общественного развития. Можно добавить и то, что такой способ выражения потестарных отношений оказался на редкость живучим и долговечным. Он успешно служил первобытному обществу на разных этапах его развития — от развитого родового строя до непосредственно предклассового. Он широко использовался в общественных организациях раннеклассовых, сохранял заметное место и в сложившихся докапиталистических классовых обществах. Впрочем, в последних случаях действовал скорее уже не сам этот принцип, а его логическое развитие — критерий происхождения, к которому нам еще предстоит вернуться.

При всем этом в выражении потестарных отношений в категориях отношений родства проявляется та самая нерасчлененность различных видов общественной деятельности, которая характеризовала первобытное общество и характеризует еще

сохраняющиеся ныне группы охотников и собирателей, та нераечлененность, в свою очередь, и традиционной культуры, которая определяет в конечном счете и изучение отношений власти и властвования в этнографическом плане. В конце концов и в данном случае можно говорить о невыделенности деятельности по управлению общественным производством из самого производительного процесса, только на сей раз — в сфере воспроизводства самого человека, о которой писали основоположники научного социализма³. Учитывая огромное значение этой сферы жизни для человеческих обществ эпохи первобытности, нетрудно понять, что категории родственных отношений стали использоваться гораздо шире, чем в одних только рамках этих отношений. В терминах родства выражались и выражаются и отношения власти в процессе руководства всем общественным организмом, управления им. При этом основной смысл употребления принципов родства и выражающих их терминов в применении к отношениям власти и властвования, потестарным отношениям, заключен в том, что именно они определяют и обуславливают самым доступным массовому сознанию этого типа общественно-го развития способом равноправное (или, наоборот, неравноправное) членство в данном обществе, делая индивида в конечном счете субъектом или объектом власти. Универсальность этих принципов, чему в немалой мере способствовало и то, что сама культурная традиция в доклассовом обществе транслировалась и осмыслялась в рамках семейных, т. е. опятьтаки родственных, очень скоро привела к искусственному конструированию родственных связей, к возникновению фиктивного родства.

Характерно, что сам *raison d'être* фиктивного родства был едва ли не изначально потестарным. В частности, уже Г. Мейн обратил внимание на то, что на ранних этапах общественного развития именно в категориях фиктивного родства выражались в обществе и территориальные связи⁴. Впрочем, это не означает утверждения об абсолютном приоритете: территориальные связи могли в первую очередь считаться связями социальными в узком смысле, т. е. структурными.

В этой связи заслуживает упоминания то, что со времен появления «Древнего общества» Л. Г. Моргана стало общепринятым, что по мере продвижения человечества по ступеням общественной эволюции родство как господствующий вид социальных связей все более и более оттесняется на задний план и в конечном счете заменяется связями территориальными. Замечу, что этот тезис Л. Г. Моргана относится в первую очередь именно к сфере потестарного и политического; так он и воспринимался самим Морганом⁵, хотя, надо сказать, такое восприятие вытекало прежде всего из неразграничения американским исследователем деления классового, первичного и политического, вторичного. Было бы, однако, недопустимым упрощением категорически противопоставлять один тип связей другому. Дело не только и не столько даже в том, что любые связи родст-

венного характера неизбежно всегда должны действовать в пределах какой-то территории (во всяком случае, как фактор, объединяющий более или менее крупный коллектив, тем более социальный организм), — эта самоочевидно. Главное заключается в другом: родственные и территориальные связи в такой роли взаимодействуют очень сложными путями, и практически полного их размежевания в потестарной и даже в политической сфере в докапиталистических обществах так и не происходит.

Кроме того, ведь и само выражение потестарных и политических отношений в родственных категориях никогда не сохраняется в неизменности свою первоначальную форму. Притом и переход «родственные — территориальные» отнюдь не обязательно бывает прямым и непосредственным. Дело обстоит, пожалуй, скорее наоборот: по мере развития того или иного общества на формально старой основе складываются новые, все более усложняющиеся типы связей. И характерной их чертой нередко служит как раз все возрастающая фиктивность родственных отношений. Хорошим примером могут здесь служить, скажем, исследованные О. С. Томановской доколониальные общественные организмы берега Лоанго или потестарные объединения мбунду Анголы, изучавшиеся Д. Миллером. В частности, Д. Миллер показал, как генеалогические предания мбунду, возводящие образование таких объединений к некоему Кингури, на самом деле имеют дело с целой цепочкой носителей титула «кингури», так что отношения между ними совершенно необязательно имеют родственный характер⁶. Генеалогическая фикция может быть прослежена и у немало числа других народов Африканского континента, причем во многих случаях характер ее настолько очевиден, что линиджи, вошедшие в генеалогию, так сказать, по браку, не считают себя в числе прямых потомков родоначальника, это можно отметить, например, у йомбе, у талленси или у алурув⁷.

Такого рода фиктивное родство далеко не всегда можно даже рассматривать как выражение именно родственных категорий. Тенденцию в развитии форм выражения потестарных и политических связей, на мой взгляд, удачно отметила О. С. Томановская, когда ссылаясь на «отношения господства — подчинения, которые были основаны не на системе связей по родству, что свойственно родовому обществу, а на надродственных связях, приобретающих самостоятельную значимость в период разложения родового общества»⁸, иными словами, от связей родственных к надродственным, т. е. перекрывающим границы даже фиктивного родства, но такие надродственные связи вовсе не обязательно оказываются сразу и непосредственно территориальными (в конкретном случае, на основании которого был сделан этот вывод, речь шла о связях ритуальных, воплощавших сакральное главенство одного из местных правителей, который, несмотря на это, реальной потестарной властью не пользовался).

Пожалуй, самой последовательной попыткой рассмотреть потестарные отношения как выраженные в сочетании кровно-родственного и территориального принципов организации и социальной связи — само по себе такое сочетание в данном контексте и возникает именно в силу неоднократно уже упоминавшегося нерасчлененного характера разных видов человеческой деятельности — может считаться концепция сегментной формы организации общества. Она была создана британскими социальными антропологами, в первую очередь Э. Эванс-Причардом и М. Фортесом, в конце 30-х годов и основывалась на тезисе о функционировании в качестве политической (с нашей точки зрения, потестарной) структуры системы сегментных линиджей. Такая система однолинейных корпоративных генеалогических групп противопоставлялась обществам с некоторой степенью развития специализированного административного аппарата, сколь бы зачаточным ни был такой аппарат. Иначе говоря, во втором случае в виду имелись общества, которые мы бы отнесли уже к непосредственно предклассовому или даже раннеклассовому уровню.

В сегментном обществе, каким оно представало в исследованных британскими учеными этнических общностях, прежде всего у нуэров и талленси (позднее, в начале 50-х годов, к ним добавятся тив, изучавшиеся Л. и П. Бьюкененами), потестарные по своему характеру взаимоотношения между территориальными сегментами регулируются взаимодействием линиджей разного иерархического уровня. При этом малые родственные группы объединяют людей по признаку происхождения от одного предка, в то время как сегменты более высоких таксономических ступеней по необходимости в той или иной мере совпадают с территориальными подразделениями этносоциального организма, неся, таким образом, преимущественно потестарные функции. В качестве необходимого условия действия такого рода системы трактовались отношения «дополняющей оппозиции»: сегменты одного уровня, входящие в состав более крупного линиджа, находятся между собой в отношениях соперничества, однако вместе противостоят любому такому же сегменту, но принадлежащему к другому крупному линиджу.

Характерно, что создатели этой концепции трактовали сегментную систему «группы В» своей классификации (в «группу А» они включили «примитивные государства») именно как политическую (в их терминологии) систему, жестко ее отделяя от системы родства (kinship system). Различие усматривалось в том, что в последнем случае регулировать отношения между территориальными сегментами должна какая-то административная организация (или же в случае малых групп, где полностью слиты родственная и потестарная организации, мы будем иметь дело с «группой С» классификации). В сегментной же системе совмещаются генеалогическое и «политическое» при известной степени автономии обоих принципов организаций.

Схема, построенная Э. Эванс-Причардом и М. Фортесом, как и любая вообще схема, конечно, существенно «спрямляет» и упрощает социальную реальность. Именно с этой точки зрения она и подверглась критике на Западе уже в 50-е годы и тем более в Африке в последние полтора десятилетия (фактической базой этой схемы послужили именно африканские общественные организмы). Отмечали и схематизм концепции, ее чрезмерно жесткий дихотомичный характер, и то, что собственно сегментных обществ в чистом виде не так и много и такая организация может быть частным случаем приспособления общества к условиям существования в специфической экологической нише, и то, что, видимо, вообще неправомерно расширительно толковать само понятие сегментной системы¹⁰. К тому же было показано: сами сегментные системы могут быть достаточно разными¹¹, а затем и принцип однолинейного происхождения, вне которого сегментная система в идеологическом смысле просто невозможна, был поставлен под сомнение как всегда определяющий и всеобъемлющий.

Тем не менее один из возможных вариантов выражения погестарных отношений в категориях отношений родственных концепция сегментного общества, несомненно, показывает. Вместе с тем уже в рамках нуэрского общества параллельно с принципом однолинейного происхождения действовал, хотя и намного менее выражено, еще один путь осуществления власти и властвования, который также может быть отнесен, условно говоря, к естественным. Речь идет о таком типе общественной структуры, как система возрастных группирований. В интересующем нас здесь смысле точнее было бы, видимо, говорить именно о возрастных классах, представляющих, в сущности, логическое развитие изначального разделения. В самом деле, истоки системы возрастных группирований заключены в половозрастном разделении труда, возникавшем на самой заре человеческого общества, иными словами, в различии функций членов общества, естественно образующих особые возрастные группы. Такие группы «имеют общую производственную основу и единый структурный принцип — критерий реального возраста»¹³. Дальнейшее развитие ведет затем к институционализации этих групп, превращению их в возрастные классы. Последние же образуют уже достаточно развитую систему разделения членов общества не только по функциональному признаку, но и по уровню социальной ответственности, а главное — по степени доступа к такой ответственности. Но выделение категории лиц, имеющих право на ответственность, само по себе создает в определенном смысле структуру власти и властных отношений.

Другой вопрос, что такая структура может быть широко использована, как, скажем, у многих скотоводческих народов Восточной и Северо-Восточной Африки, а может и не использоваться, например у тех же нуэров, у которых возрастные группы не имеют ни потестарных, ни военных функций и лишь в

какой-то степени определяют поведенческие нормы. Притом очень характерно, что отношения между членами возрастных групп в этом случае выражаются в терминах родства и система этих групп «влияет на людей через понятия родства и по общему отношению родства»¹⁵.

И тем не менее впрямую система возрастных классов с принципом родства не связана: она действует параллельно с ним. А в целом эта система, функциональная по своим первооснове и предназначению, выражает уже и закрепление неравенства в социальной структуре. Такого неравенства нет в принципе между лицами, относящимися к одному и тому же классу, но между классами оно существует и вполне ощутимо, даже если и не принимает характера властных отношений. И более того, такое неравенство отнюдь не неизменно остается только функциональным. Со временем все важнее и заметнее становится то, что оно, чем дальше, тем больше проявляется как раз в отношении доступа к активным и престижным позициям в коллективе.

Система возрастных классов как структура власти и властвования обнаруживает завидную живучесть и к тому же довольно легко может приспосабливаться к различным ролям в зависимости от уровня развития общества и социально-экономической структуры в целом. В качестве примера можно сослаться, с одной стороны, на возрастные классы у масаев, где они, по выражению Л. Мэр, образовывали «рассеянное правительство»¹⁶, а с другой — на то, как возрастные классы использовались у зулу при формировании при Чаке военной силы, которая служила важнейшей опорой власти *инкоси*, власти, в значительной степени уже отделившейся от коллектива и противостоявшей ему, резко нарушая традиционные нормы отношений в обществе.

Еще более убедительно демонстрирует способность возрастных классов к приспособлению в самых разных социально-экономических условиях пример свази Юго-Восточной Африки. Здесь, как и у зулу, на основе таких классов формировались военные отряды, а после того как с установлением колониального режима не стало потребности и возможности вести военные действия по своему усмотрению, правители свази стали во все более широких масштабах использовать группирование молодых мужчин, бывшие ранее воинскими подразделениями, в качестве рабочей силы при обработке полей. Но помимо такого, назовем его экономическим, применения все эти отряды (обычно обозначаемые в литературе как «полки» — *regiments*) сохраняли и сохраняют важную роль ритуального характера во время ежегодного обряда *инчвала*, не раз уже упоминавшегося. Иными словами, распределенные между разными возрастными классами ритуальные функции занимают заметное место в том процессе идеологического обоснования власти верховного правителя, который рассматривался в гл. 3¹⁷. Столь же четко выражены

потестарные функции возрастных группирований и у някьяуса, у которых по мере перехода мужского населения поселков, образованных, членами одного возрастного класса, в следующую-возрастную категорию старшие мужчины посредством особого ритуала передают более молодым по классу управление и власть над территориями, относящимися к этому поселку¹⁸.

Но при всей широте спектра использования возрастных классов в качестве потестарной структуры они, по-видимому, даже действуя параллельно с категориями родственных отношений, нитко не могут вытеснить последние из потестарной сферы. Резкое противопоставление этих двух вариантов организации власти и властвования (как попытался в свое время это сделать С. Эйзенстедт¹⁹) едва ли оправдано. Больше того, можно утверждать, что из них гораздо более универсальным было выражение потестарных отношений в категориях родственных ютношений (уже хотя бы потому, что и сами возрастные классы, и их использование в качестве потестарной структуры в подавляющем большинстве случаев представлены материалами африканских обществ и слабо отмечены в других частях света²⁰). При этом возможности такого выражения, понятно, ни в коей мере не ограничивались сегментными обществами, во-первых, а во-вторых, отдельные из известных форм использования родственных категорий для передачи отношений власти и властвования оказывались, с одной стороны, вполне приспособлены для того, чтобы, служить выражением таких отношений уже в; классовом обществе, т. е. политических, а с другой—сами могли выступать, и притом достаточно эффективно, в роли орудия формирования этих отношений.

Такой формой оказалась общественная структура, получившая обозначение «кониический клан», или «рэмедж» (англ. gamage—«ветвь»). Эти термины были предложены в 30-х годах соответственно П. Кирхгофом и Р. Ферсом²¹. О чем идет речь? По-видимому, точнее и короче всего определил эту структуру М. Салинз как «экзогамную, внутренне стратифицированную однолинейную... генеалогическую группу. Расстояние от старшей линии потомков общего предка служит критерием стратификации»²². Иными словами, в кониическом клане-рэмедже статус и права отдельного индивида при однолинейном счете родства определяются как функция (в математическом понимании этого слова) родственной близости и генеалогического старшинства по отношению к предку-основателю и линии его прямых потомков. Именно эта последняя линия считается старшей.

Уже из этих определений видно, что кониический клан — явление достаточно позднее. Он возможен только в условиях уже сложившихся представлений о генеалогическом неравенстве и свидетельствует о начавшейся стратификации общества, в свою очередь ускоряя формирование потестарных структур, непосредственно предшествующих организации политической, т. е. государствену. Я имею в виду вождество как специфическую разно-

видность предполитической власти, о которой у нас еще пойдет речь в дальнейшем.

Конический клан — структура очень гибкая и изменчивая, обладающая, если можно так выразиться, большим адаптивным потенциалом в зависимости от самых разнообразных условий, в которых приходилось существовать той или иной человеческой общности. И распространен он был достаточно широко. Скажем, в Полинезии такая форма организации существовала в столь высокоразвитых обществах, как гавайское или тонганское, и в ряде других²³. Присутствовала она, насколько можно судить, и в Месоамерике²⁴. В том и другом случае речь идет об общественных организациях, стоявших довольно высоко на шкале социально-экономического развития. Но характерно, что, хотя в развитой форме конический клан не сложился, например, у такого гораздо более отставшего в своем развитии народа, как африканские алуры, все же определенные признаки того, что общество двигалось именно в его сторону, прослеживались и у них²⁵.

При всем этом необходимо сделать оговорку. Дело в том, что сам по себе конический клан-рэмедж, строго говоря, еще не представляет института власти и властвования в собственном смысле. Он скорее есть механизм, определяющий доступ к власти, т. е. имеющий дело с такими категориями, как ранг и статус, о которых тоже еще речь впереди. И хотя он способствует складыванию институтов политической власти, но требуются совершенно определенные условия и материальные предпосылки к тому, чтобы он смог такую роль играть. И вообще сами по себе категории родственных отношений и даже генеалогические связи все же не в состоянии служить формой выражения отношений политических. Тем менее к этому пригодны возрастные классы. В таком смысле и то, и другое, и третье суть тупиковые варианты: будучи способны выражать отношения потестарные, они не обеспечивают той степени институционализации власти, которая необходима для появления власти политической (хотя в рамках уже сложившейся политической организации тот же конический клан может «работать» вполне эффективно).

2. С чисто функциональной точки зрения для перехода потестарного к политическому требуется сравнительно развитая социальная стратификация. Но само это понятие едва ли применимо в случае отсутствия двух важнейших условий, а именно: неравенства между членами общества, которое бы строилось на иных критериях, нежели пол, возраст, родство и происхождение, во-первых; разрыва между группами, занимающими разное иерархическое положение в масштабе всего общества в целом, во-вторых²⁶. К подобной позиции оказывается близка и концепция М. Фрида, для которого стратифицированное общество — это такое общество, в котором лица одного пола и равного возрастного статуса имеют неравный доступ к «базовым» ре-

сурсам коллектива. Такой дифференциальный доступ к ресурсам неизбежно делает возможными отношения зависимости и эксплуатации, немыслимые без господства и подчинения, и в этих условиях традиционные средства руководства обществом — именно те родственные категории, возрастные классы, о которых шла речь, даже дополненные средствами идеологическими, — уже не могут сдерживать возникающие внутри коллектива противоречия²⁷. Иначе говоря, требуется институционализация власти, превращение ее в политическую, а стало быть, и начинающееся выделение политической культуры в качестве специфической составной части культуры в целом. И это подводит нас к необходимости рассмотреть общие вопросы политогенеза, становления политической власти государства, его главных форм и механизмов.

Решающим условием развития этого процесса оказывается начавшееся формирование антагонистических классов, из которого вытекает переход определяющей роли в системе общественной стратификации к имущественному критерию, по сравнению с которым и возрастные, и родственные, и ритуальные категории отходят на задний план, сохраняясь лишь как критерии второго порядка, притом не в одинаковой мере (а во многих случаях и не все). Именно в этом и заключено принципиальное различие между просто социальной стратификацией и стратификацией классовой, т. е. такой, при которой идет речь о различии и противостоянии классов, как они понимаются в известном ленинском определении: «Большие группы людей, различающиеся по их месту в исторически определенной системе общественного производства, по их отношению (большей частью закрепленному и оформленному в законах) к средствам производства, по их роли в общественной организации труда, а следовательно, по способам получения и размерам той доли общественного богатства, которой они располагают... такие группы людей, из которых одна может себе присваивать труд другой, благодаря различию их места в определенном укладе общественного хозяйства»²⁸.

Разумеется, и в этом случае первоосновой всего служит общественное производство. Его прогрессивное развитие и постепенное усложнение обуславливает все углубляющееся общественное разделение труда, а это означает усложнение также и социальной структуры. Неизбежным следствием становится начавшееся отделение отправления функций, связанных с руководством жизнью общества, от деятельности по непосредственному производству материальных благ. Притом, чем дальше продвигаются все эти связанные между собой и обуславливающие друг друга процессы, тем более ощутимой делается потребность в специализации руководства обществом, организацией-управленческого труда²⁹. Объективную возможность такой, специализации создает появление регулярного избыточного продукта, распределение и перераспределение которого само по

себе представляет один из главных аспектов управленческой деятельности. Надобность же в перераспределении возникает как следствие специализации последней: специализация организационно-управленческих функций неизбежно означает постепенное сокращение участия ее носителей в материальном производстве. В общеисторической перспективе результатом этого становится полное их исключение из данной сферы общественного производства (но не из общественного производства в целом: как подчеркивает К. Маркс, сам по себе управленческий труд есть труд производительный³⁰).

Этот тезис вполне подтверждается эмпирическим материалом. Этнографические наблюдения позволяют проследить устойчивую зависимость между уровнем развития производительных сил общества и той степенью, в какой оказываются освобождены от прямого участия в материальном производстве те, кто руководит обществом. В конечном счете дело сводится к размерам такого управляющего слоя.

Лучше всего изучена с этой точки зрения Полинезия. На ее материалах можно выстроить непрерывный ряд по степени сокращения этого прямого участия. На одном конце такого ряда окажется участие в физическом труде вождей на островах Пукапука или Футуна, на противоположном — полное исключение из непосредственной производительной деятельности не только самих гавайских аристократов-арики, но и сравнительно широкого круга их приближенных-неаристократов. А между этими крайними точками можно наблюдать несколько промежуточных вариантов — тикопийский, самоанский, тонганский и др. И каждый последующий из них характеризуется расширением круга освобожденных от физической работы³¹. Таким образом, в обществе начинает складываться целый слой нетрудового населения, существующий исключительно за счет перераспределения произведенного продукта.

Что означает возможность появления такого непроизводительного слоя с точки зрения структуры отношений власти и властвования и организационных форм, с ними связанных? Прежде всего она начинает связываться в общественном сознании с возрастающим престижем деятельности по управлению обществом самой по себе. Иначе говоря, причастность к этой деятельности становится довольно эффективным путем к получению относительно большей, нежели у рядовых соплеменников, доли общественного продукта, особенно через его перераспределение. Раз возникнув, такая связь понемногу приобретает уже идеологический характер, стимулируя тенденцию к ускорению специализации и выделению организационно-управленческих функций. В данном случае идеологическое обоснование по направлению совпадало с объективным ходом эволюции организационно-управленческой деятельности. Ведь последняя сама чем дальше, тем больше дифференцируется на виды, различные по степени их важности для общества. А это опять-таки вызы-

вает различие в размерах присваивавшейся лицами, осуществлявшими такие виды деятельности, доли общественного продукта. Понятно, что у истоков этого явления лежит всегда существовавшая объективная потребность обеспечивать функционирование индивидов, которые выполняли особенно важные для первобытного коллектива виды труда. Столь же понятно, что умственный труд и его специфическая разновидность — труд по руководству жизнедеятельностью общества — сделались таковыми на весьма ранних этапах общественного развития. А впоследствии в силу усложнения и общественного производства, и социальной структуры должна была начать складываться и определенная иерархия видов труда, и управленческая его разновидность сразу же оказалась в такой иерархии на одной из самых верхних ступеней.

В итоге рано или поздно неизбежно складывается ситуация, когда доступ к руководству обществом открывает помимо шансов на большую долю продукта еще и возможности относительно быстрого и стабильного повышения авторитета, престижа и социального статуса лиц, выполняющих функции такого руководства, а вслед за тем и тех коллективов, семейных и общинных, к которым эти лица принадлежат. Причем эволюция статуса (понимаемого как позиция индивида или группы в данной социальной системе, определяемая по отношению к присущим такой системе экономическим, этническим и иным признакам) на начальном этапе институционализации власти оказывается как бы обратной в сравнении с направлением ее, типичным для развитого первобытнообщинного строя: статус коллектива здесь следует за статусом индивида. Впрочем, это может продолжаться сравнительно недолго, довольно скоро причастность к статусу группы вновь становится определяющей. Но на сей раз в роли группы выступает коллектив, уже значительно суженный по составу и построенный по принципу генеалогической линейности. В результате статус становится наследственным, превращаясь, таким образом, в «присвоенный» (ascribed) статус в противоположность статусу «достигаемому» (achieved), который зависит только от личности носителя и в большой мере ситуативен³².

Вместе с тем одновременно с этими процессами при складывании иерархии видов труда, о которой говорилось выше, углубляется дифференциация между членами общества, и дифференциация эта практически неизбежно ведет к образованию системы рангов, иначе говоря, к закреплению в социальной практике и в общественном сознании сравнительного статуса общественно значимых функций и их носителей³³.

В связи с процессами специализации деятельности по руководству обществом и их материальными следствиями, т. е. потребностью выделить некую долю продукта на содержание тех, кто такой деятельностью занят, не принимая вместе с тем прямого физического участия в производстве продукта, надлежит обратить внимание на следующее обстоятельство.

Вышеупомянутая потребность в выделении известной части общественного продукта, несомненно, осознается членами общества, в котором происходит специализация и институционализация власти. Идеологический аспект такого осознания в целом уже рассматривался в гл. 3. Коротко говоря, оно выглядит как наличие определенных взаимных обязательств, предполагающих обоюдную помощь и поддержку между вождем или правителем, с одной стороны, массой рядовых соплеменников — с другой. Подобная установка, разумеется, может прикрывать возникновение и закрепление неэквивалентности при выполнении сторонами этих обязательств, т. е., по сути дела, эксплуататорских отношений. В том, что такие представления идеологического характера весьма распространены в обществах, вступающих на путь классового образования, и сохраняются даже на довольно продвинувшихся его этапах, нет ничего удивительного. И само по себе признание этого факта вполне соответствует действительному положению вещей. В самом деле, как отмечает М. Годелье, «в обществе, в котором социальные противоречия и групповые конфликты развиты слабо (я бы уточнил: „еще относительно слабо". — Л.С.), крайне трудно определить, где кончается власть функции и где начинается сила эксплуатации»³⁴.

Из этого, однако, ни в коей мере не вытекает правомерность тезиса об отношениях «взаимной эксплуатации», якобы складывающихся между управляющими и управляемыми в таких случаях, в частности при функционировании потестарной (и тем более раннеполитической) надстройки. Мы имеем здесь дело, собственно говоря, с попыткой перенести «идеологическую историю» в историческую реальность. Да, действительно, функционирование потестарной и вырастающей из нее политической организации служит интересам всего общества, а не одной только перерастающей в господствующий класс социальной верхушки, играющей решающую роль в такой организации: ведь она так или иначе обеспечивает целостность общества перед лицом внешних деструктивных факторов — и природных и социальных. Но это не изменяет того бесспорного обстоятельства, что во внутренней практике потестарные отношения, возникавшие некогда для охраны интересов обеих сторон — управляющих и управляемых, которые к тому же на этом этапе эволюции коллектива не противостояли друг другу, — становятся все более асимметричны, вырождаясь в эксплуататорские по мере складывания политической организации и своего превращения в политические. Да и во внешней сфере деятельности политические отношения в значительной степени обслуживают также эгоистические интересы правящего класса.

В обстановке современной идеологической борьбы концепция «взаимной эксплуатации» («взаимопомощи», «обоюдной зависимости») между управляющими и управляемыми приобретает двойное значение. Она, с одной стороны, как бы оправдывает в неявной форме любые в принципе эксплуататорские отношения.

Ведь и в самом деле организовывать общественное производство и внешнюю оборону, столь же важные для общества с антагонистическими классами, как и для всякого другого, в любом случае приходится господствующему классу. А с другой стороны, также в неявной форме в этой концепции присутствует утверждение о якобы «извечном» существовании в человеческом обществе отношений эксплуатации в том или ином виде. Этот смысл концепции «взаимной эксплуатации» достаточно очевиден, чтобы вызвать к ней весьма сдержанное, а то и скептическое отношение даже у тех западных исследователей, которые марксистами никак не могут считаться, да и сами себя таковыми не считают.

Возвращаясь к общим проблемам становления политической организаций и государства как высшего ее выражения, напомним весьма существенную черту этого процесса. Дело в том, что политогенез неизменно протекает (не может не протекать!) в общем синхронно процессу классового образования в социально-экономическом смысле, классового генезиса, и связан с ним достаточно сложным диалектическим взаимодействием, которое, кстати, не предполагает обязательного абсолютного совпадения по темпам и размаху³⁵. Понятно, определяющая роль в таком взаимодействии принадлежит классовому генезису. И все же, по-видимому, будет правильнее говорить о классовом генезисе и о политогенезе как о двух сторонах единого процесса, сторонах, которые едва ли не в равной степени важны для поступательного развития человеческого общества (тем более что их и разделить-то можно лишь на логическом уровне). Такой подход к проблеме мне представляется справедливым еще и потому, что основа и классового и политогенеза одинакова: в том и другом случае ею служит объективное развитие общественного, производственного и воспроизводственного. Разные аспекты этого развития и выражаются в формировании, с одной стороны, классовой структуры, а с другой — политической организации. И именно поэтому изучение потестарной и политической культуры эпохи перехода от доклассового общества к классовому все время переплетается с рассмотрением становления преимущественно экономических по своему содержанию отношений эксплуатации. Но в то же время появление таких отношений, в свою очередь, неотделимо от одновременного возникновения связанных с ними отношений зависимости, т. е. в последнем счете отношений господства и подчинения.

3. Все эти обстоятельства в высшей степени важны для понимания того, как формировалась политическая организация. Известно, что Ф. Энгельс подчеркивал возможность складывания классового общества двумя путями: либо путем непосредственного отчуждения произведенного избыточного продукта на базе собственности на важнейшие средства производства, либо же через монополизацию общественной должностной функции³⁶. Собственно говоря, смысл процесса в обоих случаях сводится к присвоению продукта (превращающегося таким обра-

зом в прибавочный): ведь, как уже говорилось, монополизация общественной должностной функции неизбежно вела к отделению ее носителя от производства в его непосредственном физическом выражении.

Но это именно конечный смысл процесса классовобразования. Что же касается конкретных путей, то при нынешнем уровне наших знаний об истории обществ и их превращения в классы можно все же, по-видимому, предположить: во всемирно-историческом масштабе монополизация общественных функций выступает как агент классовобразования чаще, нежели непосредственное присвоение прибавочного продукта на основе чисто имущественных критериев. Объяснение этого заключается в подчёркнутой ещё Ф. Энгельсом особенности второго из этих путей: он требует сравнительно высокого для данного этапа исторической эволюции человечества уровня развития общественного производства, т. е. в конце концов более высокой общественной производительности труда. Но последнее, насколько можно судить, вовсе не было таким уж распространённым явлением в доклассовом обществе; не случайно ведь первые цивилизации складывались в очень небольшом числе речных долин, население которых оказывалось, строго говоря, в исключительном положении по сравнению с соседями, если сравнивать возможности и производительность общественного труда.

И в то же время выделение общественной должностной (т. е. организационно-управленческой) функции начинается гораздо раньше, чем достигается относительно высокая производительность труда. Более того, само её выделение вовсе не обязательно бывает связано с появлением в обществе достаточной массы избыточного продукта. В экстремальных экологических условиях или в особо сложной конкретной исторической обстановке для жизнеобеспечения индивидов, отправлявших важнейшие организационные функции, может быть употреблена (с помощью перераспределения) и часть необходимого продукта. И даже больше: такого рода перераспределение в принципе должно быть достаточно обычной практикой. С тем большим основанием можно предполагать это относительно таких отдалённых стадий общественной эволюции, когда вообще не могло быть и речи ни о каком продукте, кроме необходимого.

Можно, таким образом, с достаточным основанием утверждать, что появление предпосылок к сложению общества с антагонистическими классами путем монополизации общественной должностной функции было в общеисторическом плане более ранним, нежели возникновение предпосылок классовобразования через присвоение прибавочного продукта на основе монополизации средств производства.

Но отсюда следует немаловажный вывод общеметодологического характера: невозможно решать проблему складывания политической организации, государственности в качестве необходимого надстроечного оформления изменений в базисе, приводя

щих к появлению общества с антагонистическими классами, в упрощенной форме. Ее нельзя обусловливать жесткой последовательностью складывания сначала классов как чего-то «готового», а затем только государства (а тем более с жесткой обратной последовательностью: сначала политическая структура, в виде ли «раннего государства» или «государства» просто, даже понимаемого как система эксплуатации, а затем уже классы, что иногда делается в западной науке³⁷). Это сложный диалектический процесс с развитыми обратными связями, к тому же очень растянутый во времени. Конечно же, государство, равно как и неразрывно с ним связанное право, не может появиться в, так сказать, законченном виде до того, как общество расколется на антагонистические классы. Но ведь и такой раскол — не одноразовый факт, почему и становится возможно появление множества переходных, если угодно, «промежуточных» форм, которые можно обозначить и словами «предклассы», «предгосударство» или «предправо»³⁸.

В самом деле, развитие общественного производства и возникновение регулярного избыточного продукта создают материальную возможность, материальную основу для отчуждения этого продукта у непосредственного производителя как в пользу всего коллектива, так и в пользу небольшой в численном отношении руководящей группы в составе последнего. Параллельно с этим специализация организационных функций, развивающаяся в результате роста и усложнения производства, постепенно ведет к монополизации этих функций сравнительно немногочисленной группой их носителей. Такое сочетание материальных и организационных условий формирует предпосылки одновременного отчуждения в пользу руководителей и доли избыточного продукта внутри общества (причем в общеисторическом масштабе эта доля обнаруживает устойчивую тенденцию к росту), и материальных ценностей, поступающих в общество извне — в виде ли военной добычи, в результате обмена и т. п. Заслуживает в этой связи упоминания и то, что ценности, приходящие извне, не ограничиваются только материальными: монополизация организационно-управленческих функций предполагает монополизацию значительной части внешних контактов вообще. И поэтому культурные ценности духовного порядка тоже поступают в основном в распоряжение все той же руководящей группы и ею активно используются, ускоряя «расщепление» единой прежде культуры коллектива по классовому критерию. И наконец, такое отчуждение в пользу верхушки общества все возрастающей массы общественного продукта открывает путь и к монополизации основных средств производства.

Все эти процессы неразрывно взаимосвязаны и, протекая синхронно, постоянно друг друга усиливают. Накопление материальных преимуществ укрепляет престиж и позиции их обладателей в обществе. И одновременно общественные должности, замещаемые теми или иными представителями социальной вер-

хушки, обеспечивают последним возможности дальнейшего наращивания имущественного неравенства не в пользу рядовых соплеменников. А кроме того, несомненно, что занятие той или иной общественно значимой позиции, исполнение той или иной authority role (понимая роль в качестве динамического аспекта статуса, т. е. как реализацию связанных с последним прав и обязанностей³⁹) в последующем облегчают их носителям занятие других, столь же или даже более значимых.

Растянность процесса классогенеза во времени, сложные взаимодействия его составных частей (эти взаимодействия можно в известном смысле рассматривать как одновременные дифференциацию и интеграцию важнейших форм власти — экономической, потестарной и идеологической) делают невозможным точное определение того момента, в который в том или ином социальном организме возникает государственность как целостное явление⁴⁰. Существует, однако, достаточно объективный критерий ее наличия: им может служить степень специализации и самостоятельности функции принуждения в обществе.

Принуждения в качестве неотъемлемой части всякого руководства и его неразрывной связи с потестарными и политическими отношениями я уже касался в гл. 3. Здесь нас интересует прежде всего та эволюция, которую принуждение претерпевает по мере продвижения общества по пути классовобразования. Общий смысл этой эволюции в данном случае такой же, как в развитии потестарно-политической культуры в целом, — от нерасчлененности к специализации. Естественное разделение принуждения на внешнее (т. е. оборону от посягательств на целостность общества извне) и внутреннее (пресечение действия деструктивных факторов внутри коллектива, которое все более приобретает форму обеспечения классового господства) по мере продвижения по пути классов- и политогенеза получает дополнительные характеристики. Внешний аспект принуждения с усилением значения военной деятельности при переходе от доклассового общества к классовому все больше принимает вид ограбления или эксплуатации более слабых соседей. Внутреннее же принуждение получает дополнительно еще и «узкую» специализацию: подавление сопротивления осуществлению власти со стороны объекта последней на уровне, условно говоря, массовом, когда в качестве такого объекта выступают уже не отдельные индивиды или малые группы, а целые социальные категории членов общества, т. е. классового протеста.

Именно тогда, когда такое подавление окончательно делается самостоятельной функцией руководства обществом и управления и когда определенная часть лиц, регулирующих жизнедеятельность общества в целом, специализируется на отправлении только этой функции внутреннего подавления, можно уже говорить о возникновении государства, как такового. Или, иными словами, именно вычленение подавления внутреннего сопротивления из всего комплекса функций руководства, т. е. появ-

ление «особого аппарата для принуждения, который называется государством»⁴¹, означает качественный переход от постартовой организации к политической.

Прежде чем обратиться к анализу конкретных путей и механизмов институционализации власти, хочу остановиться на вопросе, довольно существенном с точки зрения понимания содержания самого процесса становления государства и главных характеристик последнего. Известно, что таких характеристик Ф. Энгельс насчитывал три: появление регулярного налогообложения массы населения; образование независимой от основной массы народа публичной власти, располагающей специализированным аппаратом внутреннего подавления; смена прежнего родо-племенного деления народа территориальным⁴². Именно совокупность этих трех характеристик позволяет говорить о том, что в данном обществе завершился политогенез и окончательно сложилось государство. Вполне очевидно, однако, что все они вовсе не обязательно возникают строго синхронно: конкретные условия исторической реальности могут в разных случаях ускорять или замедлять появление того или другого из таких необходимых элементов сформировавшегося государства. И столь же понятно, что такая асинхронность может давать — и действительно давала — в историческом развитии конкретные, как бы «промежуточные» стадии на пути политогенеза, когда при наличии в каком-либо социальном организме двух из вышеназванных характеристик отсутствовала бы третья. Именно поэтому, как мне кажется, разграничение понятий «государство» и «элементы государственности», о чем уже говорилось выше (см. примеч. 39 к тексту настоящей главы), имеет отнюдь не формальный смысл, а выражает весьма реальный исторический факт.

Примеров отсутствия сложившегося государства при бесспорном наличии тех или иных элементов государственности можно привести немало. Возьмем, скажем, раннесредневековую Западную и Центральную Европу. Здесь население достаточно рано стало разделяться по территориальному принципу (это осуществлялось путем установления непосредственной связи между верховной властью и общиной), хотя и остатки родо-племенного деления сохранялись довольно долгое время. Широкое распространение получили регулярные повинности, в частности главная из них — военная. Притом именно в связи с нею раньше всего произошло разделение права и обязанности: свободный человек мог пользоваться своими правами, лишь неся повинности, в первую голову воинскую. Но при этом либо вовсе не было аппарата власти, отделенного от народа, либо же он пребывал еще в зачаточном состоянии⁴³.

Другой вариант — Тропическая Африка в целом. Здесь медленнее всего укоренялось территориальное деление населения: родо-племенной принцип сохранял силу в этом отношении (как, впрочем, и во многих других) в немалом числе случаев до само-

го колониального раздела. Так было, скажем, на большей части Восточной Африки или в бассейне Конго, и даже у таких сравнительно высокоразвитых народов, как фон или йоруба, родоплеменное деление сохраняло немалое значение. А ведь и у фон, и у йоруба существовали уже и достаточно развитая административная структура в большой мере отделенная от народа, и развитая система регулярных налогов и повинностей⁴⁴.

И наконец, бывали весьма распространены случаи, когда и регулярные налоги и повинности существовали (пусть даже в виде постоянной фиксированной дани), но отсутствовал скольконбудь развитый аппарат для их сбора, и к тому же сохранялось родо-племенное деление населения. В результате сбор налогов происходил в классической форме полюдьа⁴⁵.

Что объединяло эти столь различные на первый взгляд варианты политогенеза? Главным образом, по-видимому, то, что во всех случаях возникавшая или уже возникшая эксплуатация рядовых свободных людей не имела внешне откровенно антагонистического облика. Она осуществлялась под прикрытием трансформируемой традиции, формально восходившей во многих случаях еще к эгалитарному развитому первобытному обществу, а на этом этапе общественной эволюции сознательно приспособляемой для выражения совершенно иного социально-экономического содержания.

Можно заметить также, что контакт с обществами, находившимися на более высоком уровне социально-экономического развития, особенно классовыми, ускорял вызревание всех элементов государственности и складывание государства в полном смысле этого слова (т. е. «вторичного» государства, если пользоваться терминологией многих исследователей)⁴⁶. Но этот же контакт действовал отнюдь не равномерно ускоряющим образом. Наличие более развитых соседей активизировало прежде всего усиление военной организации, которая затем почти неизбежно толкала общество на военный путь политогенеза ввиду быстрого укрепления позиций военных предводителей. Причем таково было направление эволюции в обоих случаях: и тогда, когда надо было сопротивляться натиску соседей, стремившихся подчинить себе и эксплуатировать «варваров», и тогда, когда слабость соседа, достигшего классового уровня развития (это чаще всего бывало с ранними государствами), делала его заманчивой добычей для этих «варваров», очень часто располагавших еще неоспоримым военным превосходством. В таких условиях на первое место в политогенезе выступало складывание отделенной от народа публичной власти. Впрочем, стоит, видимо, задуматься над тем, насколько наличие такой власти необходимо не только в обрисованной здесь исторической обстановке, но и для того, чтобы обеспечить действие обоих остальных критериев, определяющих собственно политическую организацию. В самом деле, без наличия такой власти невозможно ни реализовать разделение народа по территориальному признаку,

ни гарантировать регулярное функционирование сети налогообложения. Первое, потому что не отделенная от народа власть на данном уровне общественного развития непременно сама будет строиться на родо-племенной основе, второе, так как налогообложение само по себе требует специального, пусть даже зачаточного аппарата (в отличие от дани, которая либо доставляется самими облагаемыми, либо собирается полюдьем). Поэтому не лишен резона вопрос: не обладало ли формирование отделенной от народа публичной власти в какой-то степени приоритетом перед остальными признаками государства?

Легко понять, что государственная организация возникает в подавляющем большинстве случаев на основе уже существовавших потестарных, точнее, позднепотестарных форм управления обществом. На первых порах она может даже сохранять и действительно сохраняла их внешние характеристики. Это вполне естественно; в данном случае целиком применимы слова Ф. Энгельса (правда, сказанные по иному поводу) о том, что «всякая социальная революция должна будет брать вещи такими, какими она их найдет»⁴⁷. Тем более становление классового общества было все же, по-видимому, революционным переворотом, хотя, конечно, и очень специфически протекавшим, в формах социальной организации человечества⁴⁸. Роль, какую играли в раннегосударственной организации те формы и институты руководства обществом, власти и властных отношений, которые складывались еще задолго до этой стадии общественного развития, была очень велика. Главным направлением движения поэтому оказывалось последовательное приспособление таких форм и институтов к совершенно иным социально-экономическим условиям, приспособление, в ходе которого они в конечном счете иногда меняли свой смысл на диаметрально противоположный первоначальному. Этнографические материалы позволяют исследователю увидеть широкий спектр вариантов и ступеней этого процесса, протекавшего параллельно с трансформацией социальной, в общеисторическом смысле синхронно ей, хотя в конкретных случаях чаще наблюдалось определенное запаздывание формы по отношению к содержанию. Но все это многообразие в принципе может быть сведено к сравнительно небольшому числу путей политогенеза и обслуживающих его механизмов, в роли которых выступали различные формы организации власти и властвования, одновременные по происхождению, но все так или иначе использовавшиеся в целях институционализации власти, превращения ее в самостоятельный общественный институт, относительно независимый от общества и стоящий над обществом.

4. В целом можно, по-видимому, говорить, пусть и с известной долей условности, о трех главных путях политогенеза в зависимости от преобладания в них того или иного аспекта общественной деятельности — военном, аристократическом и плутократическом⁴⁹. При первом из них — он, вероятно, был более

всего распространен в общеисторическом масштабе — институционализация власти и становление государства идут через резкое возрастание роли военной организации, что типично для эпохи классового образования, и постепенное превращение военного предводителя в единоличного правителя, а его ближайшего окружения, родственного и неродственного, — в привилегированную прослойку, из которой впоследствии вырастала аристократия. Главными механизмами политогенеза при этом служат военно-демократические и военно-иерархические формы организации власти. Военный путь детально изучен на материале обществ древних германцев, ряда народов Северной Америки и бантуязычных народов Южной и Юго-Восточной Африки (правда, в обоих последних случаях спонтанное развитие политогенеза было прервано европейским завоеванием, и процесс в общем остался незавершенным).

Становление политической организации по аристократическому пути характеризуется постепенным превращением в правящий эксплуататорский класс родо-племенной верхушки, которая сосредоточивает в своих руках руководство всеми без исключения сферами общественной жизни, в том числе и военной. Тем самым, несмотря на высокий общественный престиж военной деятельности и ее материальную выгодность, исключается возможность формирования военной аристократии в качестве самостоятельной социальной группы, которая могла бы претендовать на руководящее положение в обществе. Этот путь политогенеза наилучшим образом представлен полинезийскими обществами, в том числе такими высокоразвитыми раннеполитическими образованиями, как Гавайи, Тонга или Самоа.

Плутократический путь становления институционализированной власти означает объединение более или менее крупных групп сторонников и зависимых людей вокруг отдельных индивидов, выделяющихся своими богатством и авторитетом. Этот авторитет постепенно превращается в способность реализовать властные действия независимо от массы соплеменников или от формальных руководящих органов общества (если таковые существовали, что в большинстве случаев не имело места). Этот путь изучался этнографами у многих народов Меланезии, а отчасти и в Юго-Восточной Азии.

Конечно, сказанное выше — это схема со всеми ее достоинствами и недостатками. Прежде всего, названные три пути политогенеза, как правило, редко встречаются в «чистом» виде: обычно в реальности сочетаются моменты, присущие каким-либо двум из них, а то и всем трем. Иными словами, как и во множестве других случаев, мы имеем дело скорее с преобладающей тенденцией развития. Кроме того, при любом пути политогенеза в нем могут в принципе участвовать такие механизмы институционализации власти, как мужские союзы или структуры общинно-кастового типа, о чем еще пойдет речь далее. И наконец, мы можем предполагать, что тот из путей по-

литогенеза, который мы обозначили термином «плутократический», был стадияльно более ранним, чем оба остальных, ибо в развитии такого типического для этого пути явления, как, скажем, меланезийский бигмен, о котором нам сейчас предстоит говорить, можно заметить тенденции, в дальнейшем своем развитии способные привести к институционализации власти либо военным, либо аристократическим путем.

По-видимому, самое полное представление о механизме институционализации власти при плутократическом пути политогенеза дает только что упоминавшийся меланезийский бигмен⁵⁰. По самому вышеприведенному определению плутократического пути, речь идет об индивидуе, чье богатство создает ему значительный авторитет и позволяет иметь высокий социальный статус, которые, в свою очередь, обеспечивают ему способности оказывать иной раз решающее влияние на жизнь коллектива. «Технически» эта способность основывается на том, что вокруг бигмена собирается более или менее многочисленная группа сторонников и прихлебателей, как связанных, так и не связанных с ним родственными узами. В принципе члены такой группы, во всяком случае подавляющее их большинство, принадлежат к числу менее состоятельных членов общества, и их заинтересованность в бигмене носит прежде всего материальный характер. Без подобной свиты бигмен просто не может быть бигменом, т. е. лицом, имеющим в коллективе значительный вес и более или менее общепризнанное влияние.

Наличие как можно большего числа сторонников, в свою очередь непосредственно заинтересованных в росте авторитета своего «патрона» и активно способствующих его повышению, оказывается обязательным условием поддержания этим «патроном» своего статуса. И чем больше бывает связанная с бигменом группа, обычно и обозначавшаяся по его имени⁵¹, тем большими бывают возможности такого неформального, выражаясь современным языком, «центра давления» влиять на ход общественных дел.

Конечно, бигмен представляет еще очень ранний этап имущественного и социального расслоения общества. В любом случае точкой отсчета и источником его материальных возможностей для привлечения сторонников в значительной степени остается его личный труд наравне с трудом членов его семейства, правда, в числе последних оказываются не только жены бигмена, но и их родичи. Больше того, в само представление общества о бигмене зачастую включается необходимость для него трудиться интенсивнее и больше, чем соплеменники⁵². Конечно, с самого начала сторонники бигмена помогают ему в труде, например обрабатывая поля или участвуя в строительстве жилища. Но такое использование труда «свиты» не носит в принципе институционализированного характера, имея к тому же и внешнюю форму традиционной родовой или общинной взаимопомощи. Да притом для сохранения этой «свиты», от размеров

и активности которой напрямую зависят его авторитет и возможности, бигмену приходится ее кормить и вообще использовать обычные формы престижной экономики: пиры, раздачи имущества и значимых в данном обществе материальных ценностей, например раковин⁵³. Поддержание статуса бигмена может оказываться достаточно обременительным в материальном смысле, и, как свидетельствует, например, М. Мид, эти обязанности отнюдь не всегда вызывали энтузиазм⁵⁴.

Наконец, само положение бигмена не является наследственным, его сын не становится бигменом, так сказать, автоматически. Конечно, доставшиеся ему от отца-бигмена материальные возможности (сторонники умершего не образуют корпоративной группы, и его имущество наследует семья) обеспечивают более высокие шансы на успех при попытке самому стать бигменом. Но усилий от кандидата на это место требуется не намного меньше, чем в свое время пришлось прилагать отцу. Становление наследственного статуса бигмена, хотя в некоторых случаях его и можно заметить, было процессом длительным и нелегким. Надо иметь в виду еще и то, что как раз неформальный статус бигмена, имеющий в каждом случае чисто индивидуальное основание, не ставит никаких препятствий на пути появления в том же коллективе других бигменов, а значит, делает практически неизбежным соперничество между ними. Соответственно это заметно затрудняет попытки институционализации статуса бигмена, а уж тем более его власти над соплеменниками.

Нельзя, однако, не заметить, что использование бигменом труда его сторонников в перспективе открывает путь к принципиально изменению первоначального характера его отношений с ними. Поначалу речь идет о более или менее эквивалентном обмене услугами. Но по мере закрепления за бигменом его статуса принцип эквивалентности начинает нарушаться, притом, чем дальше, тем больше. Возрастание материальных возможностей бигмена все более выдвигает на передний план перераспределение произведенного продукта, а в результате исходные отношения взаимозависимости становятся асимметричными. Они превращаются в зависимость малоимущего соплеменника, входящего в состав «свиты» бигмена и соответственно имеющего более низкий социальный статус, от «его» бигмена. И зависимость эта несравненно больше зависимости последнего от каждого из своих сторонников. Здесь, несомненно, лежит точка зарождения отношений эксплуатации, неразрывно связанных с отношениями зависимости. Иначе говоря, в конечном счете мы здесь снова встречаемся с разными аспектами двуединого процесса классо- и политогенеза.

Такова общая схема развития по плутократическому пути, основанная на представлении о «классической» форме бигмена, описанной М. Салинзом в 1963 г. Однако, с одной стороны, это именно схема, отнюдь не обязательно отражающая социальную действительность всех меланезийских обществ. С другой же стороны, бигмен в таком понимании, т. е. в качестве центральной

фигуры при плутократическом пути политогенеза, сам представляет, по-видимому, итог достаточно продолжительной эволюции, опиравшейся на соответствующий рост экономического потенциала общества. Дело в том, что этнографические исследования выявили существование у многих народов Меланезии особой категории «больших людей» (с этой точки зрения сам термин «бигмен» представляет определенные неудобства). К. ним относятся «великие воины», «великие шаманы», «великие охотники»; бесспорно, все эти лица пользуются немалым авторитетом, имея значительные возможности для социального продвижения⁵⁶. При всем том они очень редко становятся бигменами в терминологическом значении этого слова: их авторитет в общем остается ограничен военный и ритуально-идеологической сферами жизни и вовсе не обязательно сочетается с появлением большого числа приверженцев и решающим влиянием в делах коллектива в целом. Конечно, не столь уж редкими бывают, видимо, случаи, когда тот или иной «великий воин» обнаруживает тенденцию использовать свой авторитет при решении общественных дел к своей выгоде и даже проявляет склонность к деспотическому обращению с соплеменниками⁵⁶. Но это и воспринимается как нарушение нормы и встречает сопротивление. К. тому же можно отметить красноречивую деталь: у папуасов баруя параллельно с «великим воином» (aoulatta) существовала и фигура tannaka, на обязанности которого лежало экономическое обеспечение военной деятельности этого «великого воина». Именно этот человек организует обязательный труд женщин (включая собственных жен) и невоюющей молодежи, а во время торжеств его материальный вклад в их проведение превышает вклад прочих соплеменников. И все же у баруя этот персонаж не может возвыситься самостоятельно: без присутствия «великого воина» его собственный статус не имеет смысла⁵⁷. Можно, однако, полагать, что здесь перед нами один из ранних этапов становления бигмена в том значении, какое придает этому понятию М. Салинз. Этнографические исследования последних трех десятилетий довольно определенно указывают на тесную связь статуса бигмена в таком смысле с развитием церемониального обмена и возрастающей способностью индивида участвовать в последнем, притом на основах, уже не соответствующих ранее действовавшему принципу обязательной эквивалентности обмена⁵⁸.

«Феномен бигмена» в качестве механизма институционализации власти любопытен с интересующей нас точки зрения тем, что в нем обнаруживается та диалектика эксплуатации и зависимости, которая в ряде случаев приводит к превращению последней в модель, по которой затем строится политическая организация раннеклассового общества (а возможно, и организация позднепотестарная, или предполитическая). В этих случаях происходит как бы экстраполяция частного по своему первоначальному смыслу отношения на организацию публичной

власти. Взаимоотношения бигмена и его окружения мы можем с достаточным основанием рассматривать как отношения «патрона» и «клиентов» (термины, может быть, не самые удачные, но уже устоявшиеся). Но такого типа отношения в принципе достаточно широко распространены в обществах, потестарная и политическая культура которых составляет предмет потестарно-политической этнографии. При этом большинство этих обществ находится на более высоком уровне развития, чем меланезийские⁵⁹.

В общем случае отношения «патрон—клиент» возникают как форма обеспечения некоего оптимума условий жизнедеятельности для индивида или группы, почему-либо не вписывающихся в традиционную схему организации производства, но сохраняющих при этом определенную долю личной свободы. В таком контексте возникающая зависимость выступает в качестве самой формы регулирования общественного производства, руководства им. Иначе говоря, здесь отношения зависимости суть первоначально форма кооперации производства, представляя особого рода производительную силу⁶⁰. Это образует их основу, хотя в ходе последующего развития общества зависимость дифференцируется, в результате чего складывается иерархия ее порядков, простирающаяся от чисто личных отношений до васалитета на уровне целостного социального организма.

В роли «клиентов» выступают или чужаки, или отдельные обедневшие либо вообще малоимущие сородичи, или менее авторитетные генеалогические группы, привлекаемые выгодой соединения своих судеб с сильным, богатым и авторитетным лицом либо общностью. И именно поэтому такие отношения «патрона» и «клиента» обнаруживают очевидную аналогию с непотестарной публичной властью: они по определению отделены от коллектива.

Действительно, центральной задачей отношений клиентелы неизменно служит сохранение целостности данной хозяйственной и социальной ячейки, обеспечение нормального ее функционирования в заданных условиях, защита от внешних посягательств и как обратная сторона такой защиты — представительство вовне. Отношения зависимости совершенно откровенно двойственны. Они, конечно, дают определенные выгоды «младшему» партнеру, особенно поначалу. Но они же несут в себе угрозу его существованию в качестве полноправного, пусть даже и в суженных уже пределах, субъекта в рамках данного общества. И эти отношения столь же откровенно асимметричны, потому что преимущества, которые получает зависимый, ощутимы меньше тех, какие, приобретает тот, от кого он зависит; к тому же эта асимметрия проявляет неизменную тенденцию к нарастанию.

С точки зрения потестарной или политической организации асимметричный характер отношений «патрон — клиент» представляет особенный интерес. Дело в том, что со стороны «патро-

на» диалектика отношений богаче и сложнее, нежели со стороны «клиента». В самом деле, «патрон», конечно, получает очевидные экономические выгоды от таких отношений. Но для него в социально-психологическом смысле на первом плане оказываются все же чаще не эти выгоды, вернее, не столько они, сколько преимущества, так сказать, «авторитетно-властные»: возрастание собственного престижа и реальных возможностей влиять на руководство данным социальным организмом. И только во вторую очередь «патрона» занимает дополнительное накопление материальных ценностей, которое к тому же в пору перехода от доклассового общества к классовому рассматривается чаще всего опять-таки сквозь призму возможностей, которые это накопление создает как объективная основа дальнейшего укрепления отношений зависимости, повышающих авторитет и престиж.

Понятно, что больший или меньший акцент на экономической или потестарно-политической стороне отношений «патрон—клиент» зависит от уровня социально-экономического развития того или иного общества и от конкретной исторической обстановки. Но не приходится отрицать, что эти отношения могут рассматриваться в качестве одного из механизмов институционализации власти, и механизма достаточно эффективного. Эта эффективность обуславливается помимо всего прочего еще и тем, что тенденции, изначально заложенные в асимметричности отношений, действуют как раз в направлении, противоположном сохранению системы «патрон — клиент» в ее первоначальном виде. Накопление престижа и могущества на одном ее полюсе неизбежно влечет за собой ослабление позиций «младшего» партнера на другом. Элемент эксплуатации, с самого начала в такой системе присутствовавший, приобретает все большее значение, а отсюда логически вытекает потребность в скорейшей институционализации власти «патрона» над «клиентом» уже в масштабе всего общества.

5. Если попытаться расположить механизмы институционализации власти «по старшинству» (имея в виду время их возникновения), то мужские союзы, нередко обозначаемые также термином «тайные союзы», по всей вероятности, окажутся древнейшими. Конечно, это никак не означает, что они всегда выступали в роли такого механизма. Мужские союзы выросли непосредственно из так называемых мужских домов, характерных для позднеродовой общины. Задачей этих домов была социализация мужской молодежи, ее подготовка к тому, чтобы позднее функционировать в роли взрослых самостоятельных членов коллектива. Именно поэтому союзы с самого начала были теснейшим образом связаны с инициационными обрядами, и эта связь однозначно прослеживается на этнографических материалах, относящихся к разным регионам земного шара: по-видимому, по мере становления патриархата союзы получали едва ли не универсальное распространение. Более всего изучен этот институт в его меланезийских и западноафриканских формах, хотя

засвидетельствован и в Микронезии, и у индейских племен Северной Америки, а как пережиток и у многих народов Европы и Азии⁶¹.

Употребление определения «тайные» для обозначения мужских союзов страдает несомненной неточностью. Как правило, о существовании союза хорошо известно всем членам коллектива, в рамках которого союз действует. Более того, те или иные акции его членов, имеющие целью прежде всего устрашение непосвященных, главным образом женщин и детей, даже афишируются (союзы как средство подавления женской половины населения и установления господства мужчин — самостоятельная проблема). Правда, в тайне сохраняются обычно имена главарей и членов, места ритуальных собраний и церемоний, связанные с непременными духами-покровителями, не говоря уже об именах таких покровителей. Нередко союз имеет и особый язык, понятный только его членам, а иногда и не каждый член союза бывает знаком с этим языком, последний остается предназначенным для носителей высших рангов внутри организации. Впрочем, само появление таких внутренних рангов отражает, видимо, эволюцию, в целом протекавшую в том же направлении, что и развитие общества в целом, — от эгалитарности к дифференциации. И как механизм институционализации власти действуют уже союзы, прошедшие достаточно большое расстояние по этому пути.

Несомненно, так можно рассматривать союзы, в которые с самого начала имели доступ лишь сравнительно состоятельные лица; к ним относятся союзы йоруба — Огбони, Эгунгун и другие — или же Мидевивин у северных оджибвеев. Очень характерна, скажем, оценка современным нигерийским исследователем союза Огбони: «Общество состоятельных и влиятельных мужчин и немногих старых женщин»⁶². В то же время в других случаях в союз входило практически все взрослое мужское население, причем часто членство в нем оказывалось жизненно необходимым; вне его нельзя было не то что занять какую бы то ни было общественную должность, но даже и жениться. Так выглядело, например, место союзов Поро и Бонду в обществе менде и темне гвинейского побережья. Точно такая же картина представилась глазам исследователей и на островах Банка в Меланезии.

Практически с самого начала всей деятельностью союзов руководит родовая верхушка, и они быстро превращаются в действенный инструмент накопления в ее руках материальных богатств. В ходе дальнейшей эволюции союзов вступительные взносы в них настолько увеличиваются, что порой это делает союз недоступным для малоимущего соплеменника. А сами союзы, учитывая их важное место во всей структуре общества, оказываются удобным и эффективным механизмом для закрепления господства складывавшейся в ходе начинавшегося разложения родового строя общинно-родовой знати над рядовыми

членами общества, иными словами, для институционализации: отделенной от народа власти. В результате тот же союз Пороу кпелле Либерии сделался основой всей общественной жизни, полностью подчинив ее своему контролю. Причем происходило это в ситуации, когда членство в союзе было, по существу, обязательным для каждого мужчины. Здесь проявлялась общая диалектика процесса классов- и политогенеза: богатство обеспечивает достижение высокого статуса в союзе и его закрепление, а статус дает дополнительные (и весьма ощутимые) возможности приобретения материальных богатств⁶³.

В результате в эпоху классовобразования, а тем более в тех случаях, когда союз интегрируется в классовое общество, как это произошло, скажем, с самым крупным из йорубских союзов, упоминавшимся уже Огбони, внутри его складывается четкая стратификация: с одной стороны, масса рядовых членов, не участвующая в собраниях в домах союза и никакого влияния на принимаемые и выполняемые решения не оказывающая, с другой — узкий круг аристократии и жрецов, полностью распоряжающихся всей деятельностью союза. Огбони интересен еще и в том отношении, что, будучи интегрирован в раннеклассовое общество, занимает в нем как бы двойственное положение. В самом деле, союз делается частью административного аппарата, подчиняющегося правителю-оба. Но в то же самое время благодаря составу своей верхушки он оказывается в какой-то мере и органом контроля аристократии над тем же правителем.

Вообще говоря, соотношение в качестве носителей власти союзов и формальных главарей или вождей могло быть и бывало разным. И все же определенно преобладала тенденция к превращению в реальную власть именно союза и к подчинению главаря или вождя этой власти. При этом само собой подразумевалось, что главарь или вождь есть член союза: только в качестве такового (а еще предпочтительнее в роли его руководителя) мог пользоваться влиянием на соплеменников вождь у гуантуна полуострова Газели и вне союзов Дук-дук или Ингьет его функционирование не мыслилось⁶⁵. В этом случае мы имеем дело с вариантом, когда власть вождя еще не институционализирована. У менде и темне, у которых должность вождя уже существовала как самостоятельный институт, первоначальное соперничество вождей и союзов заканчивается определенным компромиссом: фактически союзы становятся частью аппарата власти. Но достигнутый компромисс засвидетельствовал и неравное положение сторон, причем отнюдь не в пользу вождя. Верхушка союза получила возможным образом влиять на выбор членов совета вождя, последний же крайне редко, по сути дела лишь в исключительных случаях, мог добиться включения в руководящие органы союза желательных для себя людей⁶⁶. Возможности союзов как инструмента власти существенно расширяются еще и за счет того, что за ними не-

редко и формально сохраняются важные функции в сфере управления обществом. Так, например, наряду с решающей ролью союзов в социализации и воспитании молодежи на них зачастую лежала организация разного рода общественных работ и руководство ими⁶⁷. И одновременно с этим у ряда африканских народов мужские союзы оказываются непосредственным источником сакральной верховной власти в вождествах и раннегосударственных образованиях. Иерархия органов этой власти параллельна иерархии внутри союзов, так как и там и тут господствует общинно-родовая аристократия⁶⁸.

Таким образом, эффективность мужских союзов в качестве механизма институционализации власти неизменно оказывается высокой. Характерно при этом, что аналогичные, хотя и намного менее распространенные женские союзы даже в тех случаях, когда они располагают немалой экономической мощью (так было, например, в некоторых странах гвинейского побережья), нигде не могут выступить в такой роли. Это следует объяснить, видимо, тем, что мужские и женские союзы находятся в неравном положении по отношению к главным средствам производства, прежде всего к земле, которой к этому времени уже практически безраздельно распоряжаются мужчины. В итоге женщины, даже объединенные в союз, остаются в зависимости от мужчин, а их экономические возможности основываются преимущественно на деятельности в сфере обмена, т. е. вторичной по отношению к общественному производству.

Одним из самых распространенных и действенных механизмов, посредством которых осуществлялась институционализация публичной власти, отделенной от народа, были военно-демократические и тесно с ними связанные военно-иерархические структуры. Их появление было обусловлено резким возрастанием значения военной деятельности на поздних стадиях процесса классового образования. В результате перемен в экономической базе общества — становления частной собственности, появления примитивных форм эксплуатации, углубления имущественного неравенства среди членов общества — война все более и более превращалась, по определению Ф. Энгельса, в постоянный промысел⁶⁹. Отсюда вытекала необходимость существенных изменений в общественном разделении труда.

Война и военная деятельность все более становились специализированным видом труда. Появилась прослойка индивидов, целиком занимавшаяся ими. Понятно, что все это происходило не разом, а потребовало определенного времени. Вооруженная мощь любого племени или надплеменного объединения олицетворялась всем способным носить оружие взрослым населением достаточно долго. Точно так же достаточно долго над этой военной силой главенствовал предводитель, чьи руководящие полномочия существовали лишь в обстановке военных действий и были реальными, только пока эти действия продолжались.

Тем не менее специализация военного дела, быстрое возрастание его значения в жизни общества — ведь эффективная военная организация все чаще становилась вопросом жизни или смерти коллектива! — уже довольно рано привели к ясному осознанию обществом необходимости превращения функции военного предводителя (пока еще только его) в постоянную общественную должность. Но, становясь постоянной, эта должность, как и вообще любая общественная должность в эпоху классовообразования, обнаруживала несомненную тенденцию к тому, чтобы сделаться наследственной.

Описанная Г. Морганом Лига ирокезов показывает нам «технику» такого превращения вполне ясно. Лига изначально располагала двумя военными вождями: эти должности традиция наследственно закрепила за двумя из родов племени сенека. Разумеется, вожди эти входили в состав Совета Лиги. Но поначалу их статус в Совете был ниже статуса сахемов, которые, представляли в собрании все ирокезские племена и роды (т. е. специализированная по своему характеру должность рассматривалась как стоящая ниже должностей представителей народа в целом). Но в условиях почти непрерывного осуществления тех или иных военных акций влияние военных руководителей довольно быстро возрастало; статус их мало-помалу фактически сравнялся со статусом сахемов. А вслед за тем военные вожди все больше начали вмешиваться в общее руководство делами Лиги, и постепенно сделалась явной тенденция к оттеснению именно сахемов на второй план⁷⁰. Теперь войны разного масштаба, в которых в качестве боевой силы выступало пока еще подавляющее большинство мужского взрослого населения, непрерывно повышали и укрепляли высокий и без того престиж воина и его положение в коллективе, характерные для общественных организмов эпохи классовообразования. И более того, даже в тех обществах, в которых не наблюдалось институционализованного разделения функций между руководителями военными и «гражданскими», удачливый военачальник (даже если он действовал как частное лицо, что не раз бывало, скажем, у германцев) практически всегда имел предпочтительные шансы на то, чтобы соединить в своих руках все управление коллективом. И не случайно едва ли не самой характерной фигурой в сфере управления становился в эту эпоху племенной вождь. Обычно он выдвигался из среды родоплеменной верхушки, но нередко бывали и случаи быстрого возвышения победоносного военачальника, по происхождению к этой верхушке не принадлежащего.

Параллельно с возвышением военных предводителей (и в неразрывной связи с ним) складывалась и особая прослойка воинов, так сказать, профессионалов, которым война и военных грабеж давали главный, а затем и вообще единственный источник средств существования. Наличие таких людей, вызванное к жизни ростом военной активности, в свою очередь, в силу об-

ратной связи становилось нередко фактором, повышавшим агрессивность данного общества в его контактах с соседями, стимулировавшим умножение числа военных мероприятий разного рода. Эти воины, естественно, обнаруживали тенденцию группироваться вокруг военного вождя, известного своей удачливостью, а сгруппировавшись, создавали внутри племени относительно независимую от массы его членов военную силу, на которую этот вождь мог опереться, если нужно, в противовес соплеменникам. Так возникали военные дружины у тех же германцев. Но сама по себе дружина не была способна взять на себя целиком всю военную деятельность в обществе: численный ее состав бывал обычно невелик (правда, это в определенной мере компенсировалось уже самим профессиональным ее характером). Поэтому на данном этапе общественной эволюции неизбежно сохранялось и народное ополчение, включавшее по идее всех способных носить оружие мужчин. И само существование этого ополчения ставило достаточно серьезную преграду на пути полного подчинения рядового соплеменника складывавшейся аристократии — будь то старинного, т. е. родо-племенного, происхождения или новой, выраставшей из военного окружения вождя. А состоявшее из этих свободных мужчин народное собрание представляло еще вполне эффективный орган власти.

Сочетание всех этих условий вело к складыванию потестарной структуры, главными составными частями которой были народное собрание, совет старейшин и вождь. Эта форма организации власти в обществе и была обозначена Л. Г. Морганом как «военная демократия», а к типическим ее образцам он относил уже упоминавшуюся Лигу ирокезов⁷¹. Военный аспект определялся здесь тем, что народное собрание составлялось не просто из общинников: последние выступали в данном случае в специфическом качестве вооруженного народа, т. е. воинов. И характерно, что параллельно с этим на переднем плане оказывался военный вождь, оттеснявший совет старейшин племени на вторые роли. Что же касается аспекта демократического (понимая под демократией особую форму правления), то он выражался именно в сохранении в качестве в определенной степени эффективных органов управления и самого народного собрания, и совета старейшин. Притом эта демократия была вполне реальной. У тех же ирокезов особая категория вождей — «вожди Сосны» — выступала в Совете Лиги как представитель женского населения и массы простых общинников. И очень характерно, что титулы «вождей Сосны» не передавались по наследству, а получали их и в самом деле лица общепризнано выдающихся способностей. Но в то же время демократия была уже и ограниченной: собственно говоря, факт появления должностей «вождей Сосны» уже свидетельствовал о том, что простой народ и женская половина населения были отстранены от непосредственного участия в управлении. А кроме того, и в составе Совета

Лиги разные племена и роды были представлены неравномерно, а права их сахемов были неодинаковы⁷².

Надо, впрочем, иметь в виду вовсе не универсальный характер ирокезского образца военной демократии. В частности, у ирокезов не возникали личные дружины, а должностные лица типа «вождей Сосны» отнюдь не характерны для других обществ, с достаточными основаниями относимых к военно-демократическим.

Еще одно свидетельство ограниченности военной демократии — фактическое неравенство и в среде собственно воинов. Главная и самая ценная доля военной добычи в большинстве случаев теперь поступала в распоряжение военного вождя и его дружинников. Первоначальная идея равенства при дележе захваченного имущества перерождалась в нечто принципиально иное — в представление, что всякий воин, участвовавший в походе, имеет право на свою долю добычи. Но размеры и качество такой доли теперь уже зависят от его положения в военной иерархии. Такая трансформация отразилась в нормах раздела, сложившихся у самых разных народов, проходивших стадию военно-демократической организации или подходивших близко к ней. Так, привилегированное в этом отношении положение старших разрядов воинов было отмечено у ндебеле Юго-Восточной и Южной Африки⁷³, у некоторых народов древней Европы, у арабов доисламской эпохи. В последнем случае зафиксированная сунной правовая норма, устанавливавшая, что конный воин получает три доли против одной у пешего, отражала, по существу, как раз уже сложившееся ко времени возникновения ислама разграничение между рядовыми соплеменниками и племенной аристократией.

Насколько можно судить, военная демократия была одной из довольно распространенных в общемировом масштабе форм институционализации власти в эпоху классообразования. Видимо, именно поэтому в нашей науке довольно долго господствовала тенденция рассматривать ее как явление универсальное, а также непосредственно предшествовавшее складыванию государства⁷⁴. Однако сейчас накоплено достаточно фактического материала, и в первую очередь этнографического, чтобы не согласиться с такой точкой зрения. Прежде всего далеко не во всех доступных этнографическому изучению обществах оказалось возможно проследить сколько-нибудь доказуемые черты, которые можно было бы связать с военно-демократической организацией. А в последние десятилетия стало очевидным, что военная демократия непосредственно не превращалась в политическую, государственную организацию: такой переход происходил практически всегда через иные общественные структуры, которые получили у многих авторов название «военно-иерархических»⁷⁵.

Логично предполагать, что появление военно-иерархической организации в большинстве случаев было результатом коренно-

го перерождения военной демократии как формы организации власти: демократические элементы постепенно сходили на нет, реальная власть все больше сосредоточивалась в руках военного предводителя с его родней и приближенными, и в конечном счете на месте некогда существовавшего народовластия, пусть даже и неполного, выростала авторитарная военно-иерархическая система. Весь социальный смысл происходивших перемен заключался в том, что чем дальше, тем больше власть военного вождя отрывалась от авторитета традиции, находя свою опору в факторах реального могущества — в богатстве, в непрерывном расширении круга зависимых от него людей (разных и по степени, и по характеру зависимости) и, наконец, в вооруженной силе, представленной дружиной. Дружине принадлежало здесь особое место, ибо чаще всего именно она поставляла кадры для зародышевого административного аппарата при вожде. В этом своем качестве она логически развивала тенденцию, наметившуюся с самого начала появления в обществе независимой от ополчения военной силы.

С самого начала дружина создавалась вне рамок традиции, и объединяли ее членов не родственные и не общинные связи (хотя какую-то второстепенную роль они в отдельных случаях играть могли). Основой здесь служили профессиональная военная деятельность, ориентация на военный грабеж как главный источник средств к существованию, дополнявшиеся личной преданностью удачливому военному предводителю. Именно эта личная преданность приобретала для последнего особую ценность, когда ему приходилось создавать какую-то только ему подчиненную организацию власти в обществе. В рамках дружины чаще всего не сохранялись те грани, которые за ее пределами достаточно жестко разделяли людей разного исходного социального статуса, прежде всего разного происхождения. В число дружинников мог войти любой чужак, им мог стать вольноотпущенник и даже раб. Все это как раз и обеспечивало преданность вождю, о которой шла речь выше. Отнюдь не случайно множество предклассовых и раннеклассовых, да и достаточно развитых классовых обществ знало постоянную «гвардию» правителя, чаще всего сформированную из чужаков, людей без сколько-нибудь прочных корней в данном обществе.

Используя такой инструмент, военный вождь не просто мог в принципе выдвинуться на первое место, превратившись в фактического руководителя всего общества. Он получал возможность основательно перераспределить влияние и богатство в пределах правящего слоя. Действительно, дружинники и прочие приближенные вождя, используя свои независимые от традиционного производства материальные возможности и стоявший за ними авторитет самостоятельной организации военной силы, могли успешно соперничать с родо-племенной аристократией за власть и влияние. И в случае необходимости вождь оказывался в состоянии, опираясь на дружину, навязать этой

аристократии свою волю. И наоборот, приближенные вождя могли прибегнуть к его авторитету в своем соперничестве с традиционной знатью.

По всей видимости, борьба между старой родо-племенной аристократией и новой знатью военного происхождения, которая может быть обозначена, если иметь в виду общества раннеклассовые, термином «царские люди» (понятно, достаточно условным), была в мировой истории явлением универсальным. Как общее правило, верх в этой борьбе одерживала новая аристократия, традиционная родо-племенная верхушка оттеснялась на второй план. Конечно, эта верхушка сопротивлялась, и в отдельных конкретных случаях такое сопротивление могло быть и упорным и успешным (вероятно, именно так и обстояло дело в обществах, пошедших по аристократическому пути политогенеза). Но в целом в той мере, в какой новая знать не пыталась покуситься на собственность, которой уже располагала старая аристократия, дело обычно завершалось компромиссом в той или иной его форме, тем более что именно военная аристократия оказывалась еще и одним из самых надежных противовесов возраставшему недовольству и сопротивлению рядовых соплеменников.

Понятно, все эти явления постепенно обретали и идеологическую санкцию. Представления о закономерности и необходимости существования, а затем и привилегированного статуса самого вождя и его непосредственного окружения трансформировались в перспективе в представление о вожде как олицетворении целостности и благополучия коллектива, представление, которое рассматривается в предыдущих главах. Отсюда недалеко было и до идеи сакрального правителя, ставшей затем одной из основ идеологической санкции власти в раннеклассовых, раннегосударственных обществах. Общая тенденция в развитии представлений о власти в эпоху классового образования, как уже говорилось, включала и движение от коллектива к индивиду в качестве символа общества и залога его благополучия. Речь шла, естественно, об авторитете сана, а не его конкретного носителя⁷⁶. Но такие изменения в идеологической сфере были необходимой частью процесса перехода от потестарной власти к политической.

Другим столь же необходимым аспектом такого перехода было постепенное ограничение круга лиц, имевших доступ к военной деятельности. Это было особенно важно в обществах, создавших военно-демократические и военно-иерархические формы организации власти: любой свободный в них был по идее потенциальным воином. И поэтому одной из главных задач, которые решали военно-иерархические структуры в процессе становления политической власти, как раз и было постепенное лишение народа оружия посредством сугубой специализации и профессионализации военного аспекта жизни общества⁷⁷.

В некоторых случаях институционализация власти происхо-

дила через складывание общественных структур, которые получили в нашей литературе обозначения «общинно-кастовые»⁷⁸ или «сословно-кастовые»⁷⁹. Речь идет об обществах с жесткой фиксацией форм общественного разделения труда, сложившихся на какой-то определенный момент их развития под воздействием тех или иных конкретно-исторических условий. Такая фиксация осуществлялась на уровне целостных профессиональных групп, зачастую этнопрофессиональных. Конкретные пути складывания таких вариантов организации не всегда можно проследить. Несомненно, иногда их появление бывало связано с завоеванием, которое обращало побежденных в зависимое неполноправное население, как это было, например, в ряде обществ восточноафриканского Межозерья⁸⁰. Регион этот интересен еще и в том отношении, что в нем существование развитых систем общинно-кастового (сословно-кастового) типа сочеталось с широким распространением отношений «патрон—клиент» и оба эти фактора успешно дополняли друг друга (хотя надо сказать, что в последнее время привычные представления о степени распространения и того и другого в доколониальном Межозерье начали подвергаться критике⁸¹). Но известны и случаи складывания сословно-кастовых структур без всякого участия военного фактора⁸².

По-видимому, в тех случаях, когда подобного рода структуры возникали мирным путем, их появление облегчалось и такими обстоятельствами, как раннее сложение иерархии статусов общин и родов или ранняя узурпация социальной верхушкой основных средств производства; слабое развитие обмена тоже могло выступать в роли стимулятора такого развития⁸³. Для нас, однако, важно в данном случае другое: сословно- или об-зщинно-кастовая организация, будучи эффективным механизмом институционализации власти, тем не менее могла серьезно замедлять завершение процесса классово- и политогенеза, обнаруживая тенденцию к стабилизации общества на предклассовом, а его потестарной организации — на позднепотестарном уровне. В качестве примера можно назвать общества народа *и*, или *носу*, в высокогорном районе Ляншань китайской провинции Сычуань.

У *и* существовала весьма развитая социальная стратификация. Само название народа есть одновременно название его «благородного» сословия, собственно *и* (*носу*). Остальные сословия находились в разной степени зависимости от *и* — от полурабской до полукрепостной. Но, несмотря на это, у *и* так и не сформировалась единая политическая организация. При низком уровне развития производительных сил роды, включавшие каждый только членов какого-то одного сословия, очень рано образовали иерархию, в которой аристократические роды, собственно, и превратились в своего рода потестарные структуры, закрыв путь к формированию политических отношений. Или, по выражению установивших это обстоятельство исследователей, «организация политической (точнее, потестарной.— Л. К.) вла-

сти на основе кровнородственного единства оказалась... не в состоянии преобразоваться в политическую власть, основанную на классовом единстве»⁸⁴. Этот пример свидетельствует о том что сама по себе институционализация власти, даже зашедшая очень далеко, в условиях общинно- или сословно-кастовых структур могла оказаться тупиковым путем, если отсутствовали или не проявлялись в должной мере остальные факторы поли-тогенеза, прежде всего в сфере производственной.

6. Формы институционализации власти рассматривались выше по преимуществу с точки зрения их социально-экономической обусловленности. Но с этим, так сказать, базовым уровнем потребности в институционализации взаимодействовал и другой— назовем его организационно-функциональным. Дело в том, что для заключительного этапа эпохи классовообразования характерно было укрупнение и усложнение социальных единиц надобщинного уровня. На первое место все более выходило племя в его качестве социально-потестарного организма; этнокультурные функции племени во все возраставшей степени оказывались возрастепенными по сравнению с потестарной.

Место племени в общей последовательности эволюции форм общественной организации в наши дни оценивается неоднозначно. В центре дебатов по этому поводу находится то бесспорное само по себе соображение, что представление о племени как общности одновременно и социально-потестарной и этнокультурной, длительное время считавшееся в науке аксиомой и восходящее к Л. Г. Моргану, справедливо в основном в применении к племенам сравнительно позднего этапа существования первобытнообщинного строя. Действительно, именно таковы были ирокезы, на изучении племенной структуры которых и построил Л. Г. Морган свою концепцию⁸⁵. Основываясь на этом, многие исследователи на Западе выдвинули тезис, будто племя как форма общественной организации вообще было явлением в общеисторическом плане вторичным, возникая под влиянием контакта с более развитыми обществами, прежде всего классовыми. Странники такой точки зрения—полнее и последовательнее всего ее аргументировал М. Фрид — подчеркивают, собственно, в первую очередь военную и потестарную функции племенной организации. Ведь в контакте с более развитыми соседями военное давление и противодействие ему занимали одно из главных мест⁸⁶.

Первичность или вторичность племени сама по себе нас здесь интересует сравнительно мало. В общем в отечественной литературе последних лет преобладает мнение, что пока нет достаточных аргументов в пользу того, чтобы безоговорочно считать племенную форму организации вторичной и поздней⁸⁷. Однако в любом случае несомненно, что племя превращается в важнейшую социально-потестарную общность именно в эпоху классовообразования. И именно такое племя обычно предшествовало последней стадии развития потестарной организации —

вождеству, которое уже непосредственно переходило в раннее государство, хотя, надо сказать, такая последовательность вовсе не была обязательна. Племя и вождество могли представлять и самостоятельные линии эволюции. Так, на Гавайях вождества возникали без прохождения обществом «предварительного» этапа этнопотестарного племени.

С племенем этого типа были органически связаны (вне племенной организации они вообще были бы невысказанными) военно-демократические и военно-иерархические формы институционализации власти. И те и другие способствовали ускоренному социально-экономическому расслоению общества. Выделявшаяся при этом общинно-родовая знать становилась одной из главных фигур в процессе классогенеза, противопоставляя себя родовым соплеменникам. Эта же знать, в свою очередь, обнаруживала наибольшую заинтересованность в институционализации власти, которая закрепила бы ее статус и привилегии. И в то же самое время превращение прежней общинно-родовой аристократии в племенную знать было непосредственно связано с возрастанием военной и потестарной ролей племени.

Все это прямо обуславливалось разрушением традиционной замкнутости общин, по мере того как расширялись производство и обмен: необходимость увеличения размеров социально-потестарных единиц упорно пробивала себе дорогу. И в том же направлении действовала обстановка непрерывно расширявшихся по своим масштабам грабительских военных акций: выстоять в одиночку изолированные общины были бы не в состоянии, нужно было объединяться. Наконец, не последнее место занимало и стремление сформировавшейся уже в общинах общинно-родовой знати по возможности расширить зону своего непосредственного влияния, а в более отдаленной перспективе включить в нее и неродственное первоначальной общности население. Такое расширение зоны влияния заметно увеличивало массу поступавшего в распоряжение этой знати и ею перераспределявшегося общественного продукта.

По-видимому, мы можем говорить о прямой зависимости между степенью развития племенной организации как потестарного механизма и тем, насколько то или иное общество оказывалось продвинувшимся по пути классогенеза. Едва ли случайно, например, что такая форма племени была почти неизвестна у австралийских аборигенов и в то же время получала наибольшее распространение в обществах, которые в том или ином регионе земного шара олицетворяли самый высокий для него уровень социально-экономического развития.

Те же самые факторы, которые обуславливали и ускоряли превращение племен в преимущественно социально-потестарную общность, делали неизбежной и дальнейшую интеграцию общества, на сей раз уже на надплеменном уровне. Формы такого рода интеграции прошли несколько этапов в своем развитии. Более ранний из них представлен был прежде все-

го объединениями индейских племен Северной Америки, такими, как та же Лига ирокезов, Конфедерация криков, Союз дакота. В принципе в таких объединениях еще сохранялись более или менее равноправные отношения между входившими в них племенами. Притом и степень самостоятельности этих племен бывала достаточно велика. Но ход общественного развития толкал эти союзы в сторону превращения из союза равных в иерархически организованную структуру, в которую входили уже и племена, не связанные с основателями объединения никакими родственными узами. Скажем, в Лигу ирокезов такие чужаки интегрировались в качестве «младших» членов — неполноправных и подвергавшихся эксплуатации; главной формой эксплуатации служила дань, но нередко были случаи стона «младших» племен с их земель⁸⁸. На таких правах включались в Лигу делава-ры, некоторые нейтральные племена, часть гуронов, шауни. Характерно при этом, что даже широко распространенная практика адаптации (массовой!) чужаков не изменяла ведущей тенденции. «Усыновленные» оставались хотя и соплеменниками, но как бы второго сорта. Об этом свидетельствует, например распространенное использование их труда в земледелии — традиционно «женской», по ирокезским представлениям, отрасли производства, да еще совместно с женщинами⁸⁹.

Иерархические союзы племен такого рода достаточно хорошо известны и в евразийских степях, например у скифов или массагетов, и в Юго-Восточной Европе у фракийцев, в разных районах Африки — у туарегов Сахары, бантуязычных нгуни и шона Южной- и Центральной Африки. Все эти объединения племен характеризовались обязательным наличием зачаточных форм эксплуатации. Причем эксплуатации как коллективной «младших» племен союза его полноправными, «благородными» членами, так и индивидуальной, главным образом захваченных в составе полона иноплеменников и неполноправных адаптированных чужаков. И почти всегда существовала еще и данническая эксплуатация соседей, не входивших в состав союза. Эта внешняя эксплуатация в сочетании с военным грабежом могла быть и очень интенсивной. В тот или иной период она вообще могла оказываться главным источником прибавочного продукта, который поступал в распоряжение племенной верхушки, образуя экономическую основу ее функционирования в качестве правящего слоя общества. Притом внешняя эксплуатация на какое-то время отодвигала на второй план попытки племенной знати перейти к отчуждению продукта у соплеменников, порой вообще делала их ненужными. Понятно, что любые варианты внешней эксплуатации требовали особого внимания к военной организации как единственной надежной гарантии ее сохранения. А эта организация составляла уже готовый аппарат власти в случае ее обращения внутрь общества, против своего же народа, т. е. ради эксплуатации внутренней. Но такое обращение происходило обычно у народов оседлых, ведших земледельческое или

комплексное хозяйство. У кочевников, если они рассматриваются сами по себе, до этого обычно не доходило: прикрытием и гарантией внутренней эксплуатации служили в первую очередь традиции родовой взаимопомощи, приобретающие с течением времени смысл, прямо противоположный первоначальному, но тем не менее оставшиеся весьма эффективным социально-психологическим фактором, умерявшим проявление протеста со стороны эксплуатируемой кочевой бедноты. Впрочем, использование этих традиций никогда не было препятствием к применению силы, если оно оказывалось необходимым.

По-видимому, при современном уровне наших знаний можно утверждать, что окончательному оформлению государства даже в ранней его форме предшествует промежуточный тип позднепотестарной надстройки — вождество. Само английское слово *chiefdom*, эквивалентом которого служит русское «вождество», было употреблено К. Обергом в 50-х годах поначалу для обозначения социально-потестарных структур индейских племен бразильского штата Мату-Гросу⁹⁰. Однако как понятие, связанное с определенной стадией в эволюции социально-потестарной организации, оно было окончательно предложено в начале 60-х годов Э. Сервисом, который его рассматривает в качестве самостоятельного уровня «социокультурной интеграции» в своей схеме⁹¹. С точки зрения экономической это понятие сопрягается со стратифицированным обществом, по М. Фриду, т. е. таким, в котором дифференцированным статусам соответствует и неравенство в доступе к важнейшим ресурсам общества⁹².

В нашей литературе подробное рассмотрение этой формы потестарной организации было проделано Л. С. Васильевым (хотя он и предпочел слову «вождество» просто транскрипцию английского «чифдом», что, однако, не меняет сколько-нибудь серьезна существа дела)⁹³. Предложенная им дефиниция гласит: «Чифдом — это основанная на нормах генеалогического родства, знакомая с социальным и имущественным неравенством, разделением труда и обменом деятельностью и возглавляемая сакрализованным лидером политическая структура, главной функцией которой является административно-экономическая, отражающая объективные потребности усложняющегося коллектива. Чифдом являет собой как раз тот этап, на котором правитель из слуги общества начинает становиться, выражаясь словами Ф. Энгельса, господином над ним»⁹⁴.

С таким определением можно, однако, согласиться далеко не во всем. Это относится прежде всего к характеристике «политическая»: в то время как Л. С. Васильев не считает разграничение потестарного и политического необходимым и операциональным⁹⁵, мне в существе вождества представляется главным как раз то, что оно еще не политическая, а именно позднепотестарная, если угодно, предполитическая форма организации.

Сомнителен тезис о сакрализованном лидере как непрменной черте вождества; скорее на этом уровне эволюции поте-

старной культуры наблюдалось зарождение тенденции к сакрализации, делающей ее действительно универсальной на следующем этапе — в раннем государстве (об этом см. выше, в гл. 3 настоящей книги).

Спорен, наконец, и вопрос о том, правомерно ли ставить знак равенства между вождеством и протогосударством, по выражению Л. С. Васильева⁹⁶. Ведь протогосударство — это уже государство, пусть на самых ранних этапах своего существования, а отнюдь не предполитическая структура⁹⁷.

Тем не менее подробный анализ вождества именно как административной структуры, выполненный Л. С. Васильевым, в основном избавляет меня от необходимости всесторонне рассматривать его с этой точки зрения. Хочу задержаться лишь на одном из аспектов становления вождества — закреплении наследственного характера власти за численно и социально ограниченной группой лиц, связанных родственными узами, в связи с тезисом о нераздельности понятий собственности и власти в доклассовых обществах, в которых существовала единая система «власть — собственность»⁹⁸ (сам по себе тезис представляется мне логическим развитием мысли Ф. Энгельса о двух возможных путях классового развития).

Если возвратиться к упоминавшемуся выше укрупнению масштаба социально-потестарных единиц как характерной черте завершающего этапа эпохи классового образования, то вполне очевидно, что в принципе подобное укрупнение с необходимостью требовало укрепления руководства такими увеличивавшимися единицами. Тем более важно здесь было не только само по себе увеличение размера общности, но и то, что оно сочеталось с увеличением масштаба системы, в которой происходило перераспределение общественного продукта (редистрибуционной сети в западной экономантропологии): последнее могло быть результатом как возрастания численности и плотности населения в рамках данного коллектива, так и возможного территориального расширения.

Естественно, и сами носители общественных должностных функций, и общество в целом были кровно заинтересованы в максимальной стабилизации руководства и обоснованности принимаемых управленческих решений. А это требовало налаженной и эффективной системы передачи накопленного управленческого опыта и его усвоения, иными словами, сохранения преемственности в руководстве. В обществе, не знавшем письменности, — а таковы были все доклассовые общества — самым естественным и привычным, да и самым простым путем передачи и закрепления этого опыта могла быть только межпоколенная его трансмиссия в рамках семьи. Отсюда и начиналась тенденция к закреплению организационно-административных функций за теми семьями, члены которых их уже осуществляли. А это означало, что складывалась система наследственных (понимая это слово в широком смысле, необязательно связанном с

прямым наследованием от отца к сыну) носителей власти. И притом ввиду усложнения общественной структуры в целом происходило и уточнение контуров такой системы, и она мало-помалу приобретала иерархический характер.

В сочетании со все расширявшейся тенденцией к использованию формальными лидерами коллектива общественных фондов на личные нужды это совершенно неизбежно вело к возникновению сначала наследственных статусов, а затем и наследственной аристократии, которая в конечном счете сосредоточивала в своих руках руководство всеми без исключения сферами общественной жизни (что, кстати, предполагало в дальнейшем и неминуемую специализацию в среде самой этой аристократии). Но это было равнозначно превращению к конечному счету и самого права доступа к руководству и к власти в любой из таких сфер в своего рода корпоративную сопричастность сложившейся знати, т. е. именно власти-собственности в несколько отличном от предложенного Л. С. Васильевым понимании. Причем аристократия очень рано стала обнаруживать склонность к последовательному сужению и ограничению состава самой корпорации имевших доступ к власти лиц. В крайнем своем выражении такая тенденция могла приобрести вид ограничения наследственной аристократии одной только правящей родственной группой. Примером такого развития может служить Буганда конца XVIII—XIX в. (но в подобных случаях почти неизбежно возникала аристократия служилая, хотя и не наследственная).

Конечно, этнографические материалы засвидетельствовали наличие случаев власти, передаваемой по наследству, даже у народов, пребывающих и сегодня еще далеко от самых ранних этапов разложения первобытнообщинного строя. Так обстоит дело, например, с главарями бушменских локальных групп или в некоторых племенах австралийцев¹⁰⁰. Параллельно с этим у многих примитивных земледельцев наблюдаются и определенные привилегии, предоставляемые главарям или лидерам: право на пользование лучшими земельными участками или, что в таких обществах было особенно важно, право на несколько жен или на преимущественный выбор женщин в составе военной добычи. Такие привилегии прослеживаются у многих групп индейцев Южной Америки — боро, хиваро, чикито — или, скажем, у папуасов-кума. В таком смысле совершенно справедливо утверждение, что становление общественных должностей есть одновременно один из самых ранних шагов к институционализации имущественного неравенства, и именно здесь, пусть и в зачаточной форме, проявляется та неразрывная связь между властью и привилегией, которая в дальнейшем становится характерна для всякого общества с антагонистическими классами¹⁰². Тем не менее справедливо будет утверждать и то, что как преобладающая тенденция и наследственный характер власти, и институционализация связанных с нею привилегий приходятся именно на поздний этап политогенеза, а именно на тот, которому соответ-

ствует вождество в качестве основной формы потестарной организации. Обоим процессам способствуют и усложнение общественного производства и общественной структуры, и резко возросшая роль военной деятельности. Но даже конический клан приобретает структурообразующее значение в общественной организации только тогда, когда в этом возникает объективная потребность: как раз для закрепления, во-первых, наследственной власти в руках немногочисленной аристократической корпорации и, во-вторых, материальных и ритуальных привилегий за членами той же корпорации.

7. Понятно, что и в данном случае, так же, впрочем, как, вероятно, вообще в истории, едва ли возможно точно определить момент, когда на месте вождества появляется раннее государство как специфическая форма организации власти в обществе, хотя попытки такого рода и предпринимались. Мы имеем дело с процессом, причем отнюдь не однолинейным. Раннее государство отличается в качестве характерной черты нестабильность, больше того в не столь уж малом, по-видимому, числе случаев и обратимость. Если, например, взять некоторые полинезийские «сложные» вождества, то не так просто будет вполне однозначно ответить, с вождествами или все-таки с ранними государствами мы имеем дело. Именно поэтому представляется плодотворным предложенное Х. Классеном и П. Скальником подразделение форм раннего государства на три последовательных этапа: зарождающееся (*inchoate*), типическое, переходное¹⁰⁵. При такой классификации критериями служат в конечном счете степень специализации административного аппарата и налогообложения, соотношение между степенью сохранения в качестве структурообразующего принципа кровнородственных связей и ролью связей территориальных, наконец, степень перехода от отношений реципрокации в процессе перераспределения продукта к господству частной собственности (а в конечном счете по завершении формирования предпосылок для развития «открыто антагонистических классов»).

Что касается окончания стадии раннего государства, как такового, то эти же исследователи подчеркивают возможность установления более или менее четкой границы, за которой оно переходит в «просто государство». Этой гранью они считают, и, по-видимому, небезосновательно, именно оттеснение на задний план и ослабление роли таких элементов, как реципрокация и генеалогическое расстояние: складывающийся государственный аппарат в какой-то момент обретает способность «поддерживать, государственную организацию без необходимости прибегать к сверхъестественным способностям правителя или увековечивать взаимные обязательства (правителя и управляемых.— *Л.К.*)»¹⁰⁶. При этом Х. Классен и П. Скальник справедливо оговариваются: многие следы и того и другого сохраняются, и речь идет о том, чтобы выделить среди этапов развития те, на которых эти факторы продолжают служить идеологическим обо-

снованием существования государства, и те, на которых они переставали выполнять эту функцию. Как мне представляется, этот критерий в целом вполне может быть принят в качестве рабочего при определении характера сложившейся государственности. Справедливо и то, что в политической культуре раннего государство подчеркнута важное место принадлежит именно личностному характеру связи управляющего и управляемого и взаимности их обязательств по отношению друг к другу¹⁰⁷.

Л. С. Васильев наряду с вождеством достаточно подробно рассмотрел и раннее государство с точки зрения его социально-экономических оснований. Поэтому едва ли есть необходимость детально обсуждать здесь эти вопросы. Целесообразнее будет остановиться в заключение на некоторых специфических аспектах перехода к политической, государственной организации, которые достаточно определенно проявляются в ранних государствах.

Возникая как итог и следствие разделения общества на антагонистические классы (пусть даже и в форме «протоклассов», особенно в типическом, а тем более в зарождающемся раннем государстве), политическая организация в конечном итоге оказывается государством «самого могущественного, экономического господствующего класса, который при помощи государства становится также политически господствующим классом и приобретает таким образом новые средства для подавления и эксплуатации угнетенного класса»¹⁰⁸. Это содержание политической организации и ее концентрированного выражения, каким представляется государство, было одним и тем же в любом районе земного шара, вне зависимости от огромного многообразия конкретных форм, которые они принимали в тех или иных условиях.

Однако роль государства повсеместно бывает отмечена определенной двойственностью. В самом деле, по своему смыслу оно есть орудие господства меньшинства над большинством и эксплуатации этого большинства меньшинством. Но вместе с тем государство выступает и как фактор социальной и этнокультурной интеграции, олицетворяя единство данного социального организма. Эта функция структуры власти, сложившаяся еще в доклассовом обществе и выполнявшаяся там потестарной организацией, полностью сохраняет актуальность и после сложения государства. Но единство, олицетворяемое и выражаемое сформировавшейся политической надстройкой, по самой своей сущности принципиально иное, нежели единство, выраженное и олицетворяемое потестарной структурой. Здесь речь уже идет об относительном единстве общества, в котором действуют конфликты, приобретшие антагонистический характер, а социальный порядок строится на отношениях господства и подчинения, на отношениях эксплуататорских, которых не знало доклассовое общество. Да и этнокультурное единство, стимулируемое и обороняемое политической организацией,

тоже носит совсем иной характер: как правило, уже любое раннее государство гетерогенно в этническом отношении за счет подчинения областей с населением, не связанным с этническим ядром такого государства даже фиктивным родством. Поэтому политическая надстройка интегрирует в единое целое разные культуры, прежде всего, конечно, потестарные и политические (см. гл. 2 и 5).

Нужно также четко разграничивать при оценке роли раннего государства объективную и субъективную стороны дела. С точки зрения исторического процесса в общемировом масштабе, т. е. объективно, интегрирующая роль раннего государства, по видимому, всегда должна расцениваться в целом положительно в той мере, в какой она создает благоприятные возможности для развития производительных сил общества и стимулирует общественное производство. Рассматриваемая в этом смысле, скажем, политическая надстройка раннерабовладельческого общества, безусловно, представляет более прогрессивное явление, нежели потестарная надстройка общества доклассового. Кстати, косвенным доказательством этого могут служить масштабы производственной кооперации при сооружении как сугубо утилитарных, так и ритуальных объектов общегосударственного значения.

Но что касается субъективного восприятия интегрирующей роли государства объектом властных отношений, т. е. подданными государства как некоей общностью, то можно определенно утверждать, что целиком положительным оно может быть лишь у полноправных, в особенности же у привилегированных групп и слоев. На долю же прочих социальных слоев и групп, подвергающихся эксплуатации в той или иной форме и с той или иной мерой интенсивности, все больше выпадают, так сказать, издержки, связанные с интеграционной функцией государственной власти, а это не может не порождать и соответствующую отрицательную реакцию, сколь бы замедленно она ни складывалась и ни проявлялась. Иными словами, мы можем утверждать, что степень позитивного восприятия политической надстройки и ее деятельности теми, на кого распространяется ее власть, ранжирована в зависимости от статуса той или иной категории ее объектов на социальной лестнице. И именно здесь лежит исходная точка складывания в рамках единой политической культуры общества политической субкультуры его низших эксплуатируемых слоев, в значительной степени отличной от господствующей и системой ценностей, и мотивацией политического поведения.

И все же объективно в поддержании в определенных пределах целостности данного социального организма прежде всего как нормально функционирующей хозяйственной системы при сохранении классового господства и эксплуататорских отношений в ней, что как раз и обеспечивает государство, оказывались в общем случае заинтересованы все члены общества, во всяком случае подавляющее их большинство. Исключение здесь могли

составлять, пожалуй, только эксплуатируемые чужаки, в первую голову рабы-чужеземцы.

С интеграционной функцией государства непосредственно связана проблема «первичности» или «вторичности» того или иного политического образования, т. е. в конечном счете проблема того, в какой мере складывание политической надстройки обуславливается чисто эндогенными, а в какой — экзогенными факторами. В такой формулировке ее поставил М. Фрид, который подчеркивал уже в 1960 г., что делает это в противовес до недавнего времени распространенной среди антропологов англосаксонских стран теории «завоевательного» происхождения государства, восходящей к работам Л. Гумпловича и Ф. Оппенгеймера¹¹⁰. Понятно, в наши дни встретить эту концепцию в ее «чистом» виде практически невозможно: никому не приходит в голову отрицать первостепенную важность именно внутреннего социально-экономического развития в процессах, ведущих в конечном счете к появлению государственности в целом. Речь идет только об относительном значении этого развития и внешнего военного давления на общество, и как раз преувеличение роли последнего фактора можно еще обнаружить у некоторых западных авторов¹¹¹, хотя в качестве первоосновы военных столкновений и следующего за ними образования государства и они рассматривают «соперничество из-за скудных ресурсов», т. е. в конечном счете фактор социально-экономический¹¹².

В любом случае представляются несомненными два обстоятельства. Во-первых, война действительно может способствовать интенсификации политогенеза, ускорять его. Осуществляется это воздействие по нескольким каналам: прежде всего, активизацией имущественного расслоения и социальной стратификации за счет военной добычи; через демографические изменения, связанные с перегруппировкой значительных масс населения и повышением его плотности; наконец, через своего рода «естественный отбор» более сильных и жизнеспособных вождеств, которые обычно обнаруживают повышенную агрессивность по отношению к соседям и тем самым и их стимулируют к ускоренному развитию предполитической надстройки, перерастающей затем в политическую. И тем не менее сама по себе повышенная военная активность либо вообще не связывается с политогенезом (пример тому — индейцы Амазонии, ведшие много войн, но не обнаруживающие никаких признаков политогенеза, которые бы заслуживали упоминания¹¹³), либо практически никак не влияет на его темпы, если не оказывается достигнут определенный порог уровня общественного развития, в первую очередь социальной стратификации (так было у папуасов горных областей Новой Гвинеи¹¹⁴). Больше того, исторический опыт человечества опровергает главную посылку «завоевательной» теории — тезис о якобы одновременном превосхождении завоевателей. Как правило, при завоевании каким-либо социальным организмом другого общества, стоявшего выше завоевателя по шкале социально-

экономического и культурного развития, дело заканчивалось тем, что именно победители приспособлялись к отношениям, которые находили на покоренной территории, а не наоборот (если, конечно, исключить случаи физического истребления побежденных).

Во-вторых, оптимум условий и возможностей для складывания государства «первичного» (pristine state, по терминологии М. Фрида) наблюдается там, где имеются предпосылки сравнительно быстрого роста общественного производства, прежде всего земледельческого хозяйства. Здесь устанавливается в общем случае наибольшая плотность населения, что заметно ускоряет формирование в таких коллективах позднестарших и затем раннеполитических структур (впрочем, и значение этого фактора не стоит абсолютизировать, а с этим иногда приходится сталкиваться в некоторых работах западных коллег¹¹⁵). Именно в таких зонах возникают первичные центры классов- и политогенеза, в последующем распространяющие свое влияние—и, естественно, вместе с ним и эксплуататорские отношения в качестве всеобщей модели отношений и формы их постарно-политического и идеологического обеспечения — на окружающие общества. В последних в результате такого влияния возникают уже «вторичные государства» (secondary states). Притом вовсе не обязательно (и даже, видимо, не в большинстве случаев) дело облекается в форму прямого заимствования тех или иных конкретных форм общественной организации или духовной культуры¹¹⁶. Гораздо чаще связи с более развитыми социально-экономическими и постарно-политическими системами играют роль катализатора процессов классов- и политогенеза, спонтанно начавшихся в периферийных обществах, более или менее существенно ускоряя его протекание.

В государствах «вторичных» обычно происходит наложение социальной стратификации по новым принципам, характерным теперь уже для классового общества с его отношениями господства и подчинения, отношениями эксплуататорскими, на существовавшую к этому моменту социальную стратификацию, строившуюся еще на критериях, свойственных доклассовой эпохе: кровном родстве, действительном или фиктивном, возрасте, статусе, ранге. И вот в таком смысле вполне правомерно говорить о «первичной» и «вторичной» социальной стратификации. Но появление различия между ними вовсе не сводится только к результатам «первичного» или же «вторичного» завоевания, как пытался в свое время доказать в рамках своей концепции «гидравлического общества» К. Витфогель¹¹⁷.

Возникновение государства, даже в его ранней форме, непременно бывает связано с появлением суда как специализированного органа отделившейся от народа публичной власти. Регулирование споров и взаимных претензий между членами общества, не говоря уже о спорах между ними и властью, олицетворяемой правителем и его окружением, теперь постепенно сосредоточи-

вается именно в руках этих последних и их локальных представителей (делегирующие власти вообще один из признаков вождества, а тем более раннего государства). Отправление правосудия отныне в намного большей степени связывается с физическим принуждением, нежели раньше, хотя роль принуждения психологического отнюдь не утрачивает своего значения. Иными словами, суд как специализированный орган с самого начала существования политической организации может быть только орудием классовой по своему содержанию диктатуры, так же, впрочем, как и военный аппарат, а в конечном счете и религия.

Такие изменения в сфере отправления правосудия становятся возможны в большой мере потому, что одним из главных следствий перемен в базисных социально-экономических отношениях оказывается в надстроечной сфере разделение первобытной монономы на мораль и право. Первая так и осталась совокупностью общественных норм, соблюдение которых обеспечивает только общественное мнение. Зарождающееся же право с самого начала формируется как совокупность норм, обеспеченных государственным аппаратом физического принуждения и подавления. Речь идет о том, что право должно гарантировать, с одной стороны, социальные и имущественные привилегии зародившегося класса эксплуататоров в максимально возможной степени, с другой стороны, такое регулирование поведения массы членов общества в переходный период, когда совершается перестройка всей совокупности социальных связей выше общинного уровня, которое бы, в свою очередь, обеспечило неприкосновенность этих привилегий. Иными словами, право с самого начала есть явление классовое, ориентированное на защиту социальной дифференциации, переросшей в классовую. Конечно, мораль тоже классовая, почему и оказывается в конце концов разной в разных общественных слоях и тем более у разных классов. Но право, возникая в качестве инструмента институционализованной на надплеменном уровне публичной власти, в принципе едино для всего общества, а поэтому может играть и играло заметную роль как интегрирующий фактор. В значительной своей части оно формируется сознательно, путем отбора социальной верхушкой тех традиционных норм, какие ей выгодны. Отобранные нормы закрепляются силой государственного принуждения и в конечном счете фиксируются письменно. Традиционная же монономия в тех случаях, когда она не противоречит интересам правящего класса, превращается в обычное право, не фиксированное на государственном уровне.

Конечно, право как явление и, выражаясь современным языком, соответствующие правоохранительные органы складываются по-разному в неодинаковых конкретных условиях. Неодинаковыми бывают темп и масштаб дифференциации правовой санкции в зависимости от статуса его субъекта и объекта, сама эта санкция неодинаковым образом охватывает различные области жизни общества. Прделанное в свое время Х. Классеном

структурное исследование раннего государства обнаружило почти полное (99%) совпадение лишь по трем пунктам, рассмотренным на материале 21 общества разных частей света. Этими пунктами — характеристиками ранних государств оказались следующие: верховный правитель — формальный источник права (law-giver); верховный правитель одновременно и верховный судья; в раннем государстве всегда обнаруживаются неформальные влияния на правотворчество (law-giving). В последнем случае совпадение было стопроцентным¹¹⁹. Такие же характеристики, как наличие или отсутствие системы законов, апелляционных судов, полицейских органов, социально дифференцированной санкции и т. п., оказались очень по-разному распределены в принятой выборке в зависимости в последнем счете от общего уровня социально-экономического развития того или иного общества. Тем не менее вполне очевидно, что раннее право во всех случаях служит достаточно эффективным средством укрепления раннего государства и его окончательной консолидации. Это обстоятельство очень существенно, ибо на первых порах, пока государство еще не окрепло, процесс его становления может оказываться иной раз и обратимым под воздействием то ли внешних причин, то ли недостаточности тех средств подавления массы подданных, которыми такое раннее государство располагает, то ли факторов материально-технического порядка, скажем трудностей сообщения между разными его частями.

Естественно, что точно так же конкретными историческими обстоятельствами, в которых складывается в том или ином обществе раннее государство, обуславливалось и то, какие именно формы оно может принимать и принимает. В обстановке перехода от доклассового общества к классовой структуре и от потестарной организации к политической, государственной, который осуществлялся в различных регионах и на протяжении нескольких тысячелетий, неизбежно возникало бесчисленное разнообразие комбинаций традиционных и новых общественных институтов. При этом в условиях зарождавшейся государственности и под ее воздействием резко убыстрялась как раз трансформация традиционных институтов, их постепенное, сознательное или бессознательное приспособление к новым условиям существования и функционирования. Этнографически зафиксировано великое множество примеров подобного рода эволюции у самых разных народов.

Но именно в силу такого многообразия оказывается в высшей степени сложно решать одну из тех задач, которые неизменно привлекали внимание исследователей, занимавшихся потестарной или политической этнографией/антропологией: создание типологии или хотя бы классификации форм раннего государства. Конечно, те из них, кто стоит на марксистских позициях, имеют очевидное преимущество перед остальными хотя бы уже потому, что могут с самого начала отделить потестарные структуры власти от власти политической, государственной. Но

за этими пределами и мы, марксисты, в состоянии лишь в самой общей форме классифицировать докапиталистические политические структуры по их формационной принадлежности, соотнося их уровень со степенью зрелости той формации, к которой они принадлежат, в данном обществе. Не случайно и авторы и редакторы не раз здесь упоминавшейся книги о раннем государстве ограничивались классификацией ранних государств по степени их зрелости, не пытаясь создать формально-функциональную типологию, которая предоставила бы в руки специалистов весьма полезный, а порой, возможно, и просто необходимый инструмент научного анализа.

Трудность заключена еще и в том, что ранние государства, попадая по одним критериям в одну и ту же категорию, могут при других критериях классификации или типологизации оказаться в совсем иной. К тому же развитие науки открывает все новые и новые конкретные варианты организации власти и властных отношений в обществе. В этих условиях дальнейшая детализация неминуемо ведет в конце концов к разрушению основы любой типологии — ее всеобщности.

Все это предопределило лишь частичный успех многочисленных попыток типологизации, предпринимавшихся в 50-х и 60-х годах, преимущественно на материалах доколониальной Африки (в той мере, в какой этнографические исследования колониального и постколониального времени позволяют такую Африку реконструировать). Эти типологии более подробно рассматривались мной в специальной работе¹²⁰, здесь же хочу сказать, что отсутствие единой и всеобъемлющей формально-функциональной типологии раннего государства, "по-видимому, в принципе не следует считать обстоятельством временным. Строго говоря, едва ли вообще возможно построить такую типологию, которая была бы равно приложима ко всем конкретным случаям (несколько проще обстоит дело с классификацией, но и здесь действуют в конечном счете те же принципиальные ограничения). И ничего нет дурного в существовании типологий и классификаций, построенных по разным критериям и потому отражающих каждая с большей полнотой какие-то определенные стороны явления. Не исключено, что как раз сочетание типологий, построенных по разным критериям, позволит в конце концов дать максимально полную картину ранних форм государственности и предшествовавших ей потестарных форм власти.

ПОТЕСТАРНО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ
И ЭТНИЧЕСКОЕ — ПРОБЛЕМА СООТНОШЕНИЯ

Народ — собирательное понятие, затруднительное для определения, поскольку в него вкладывают различное содержание в соответствии с местом, временем и природой власти.

Л. де Жокур. Народ («Энциклопедия»)

1. Соотношение между потестарно-политическим и этническим моментами в жизни общества отчасти уже рассматривалось в гл. 2. Но там шла речь прежде всего об этнической роли потестарной или политической культуры, трактуемой в качестве составной части культуры в целом. Между тем, коль скоро объектом этнографии служит народ-этнос, проблема может быть подвергнута анализу и со стороны того, как потестарная и/или политическая культура воздействует на него, в каком отношении находятся динамика развития этноса и динамика развития потестарной и политической культуры.

Такая постановка вопроса может быть обоснована по крайней мере двумя обстоятельствами. Во-первых, и это уже говорилось ранее, структура и культура неидентичны друг другу: в этом смысле потестарная или политическая структура, будучи концентрированным выражением соответствующей культуры, предстает перед нами как система культурно детерминированных ролей. И функционирование этой системы, т. е. потестарная или политическая деятельность в данном общественном организме, по определению, шире, нежели та культура, которой обуславливаются ее формы. Во-вторых же, и это непосредственно вытекает из первого, воздействие потестарной или политической культуры на этнос, вообще на любую форму этнической общности реализуется именно через потестарно-политическую организацию, через существующие в том или ином обществе потестарные или политические структуры. Таким образом, поставленную выше проблему соотношения целесообразнее всего анализировать как соотношение потестарных или политических структур и этнических общностей в процессе общественного развития.

Подобный подход сам по себе отнюдь не нов. Скорее он, пожалуй, вполне традиционен: с ним мы сталкиваемся в любом труде, в котором так или иначе затрагиваются этнические, тем более национальные проблемы. Но столь же традиционен применяется этот подход, как правило, к общностям национального

уровня и гораздо реже к этническим общностям феодальной эпохи. Что же касается соотношения более ранних стадий этнического и социально-экономического развития, то до самого недавнего времени оно практически вовсе не привлекало внимания исследователей. В принципе понятно и почему так происходило: до начала углубленной разработки нашей наукой на рубеже 60—70-х годов теории этноса указанная проблематика относилась скорее к сфере интересов философов, историков, социологов., А они изучали общественные организмы тех уровней развития, на которых политическое уже в значительной мере, а то и вообще обрело относительную автономию от этнической.

Но на более ранних ступенях социально-экономической эволюции такая автономия, сколь бы относительна она ни была, еще не существовала. Потестарные и раннеполитические отношения не выделились еще из синкретического массива традиционно-бытовой культуры, которая издавна изучалась этнографами. И только теперь развитие теории этноса сделало возможным специальное и углубленное рассмотрение потестарных и политических отношений в доклассовых и раннеклассовых обществах в связи с их этнической структурой.

Прежде чем переходить к дальнейшему, разумно будет определить одно из главных понятий, с которым нам предстоит оперировать в последующем,— понятие этнической общности. Такая общность определяется здесь в соответствии с критериями, предложенными в свое время Н. Н. Чебоксаровым, а затем им же уточненными совместно с С. А. Арутюновым, т. е. как «всякая осознанная культурно-языковая общность, сложившаяся на определенной территории, среди людей, находящихся между собой в реальных социально-экономических отношениях». Вместе с тем сама проблематика настоящей работы предполагает, что этнические общности интересуют нас главным образом в их ипостаси этносоциальных организмов, т. е. образований, обладающих помимо собственно этнической (в первую очередь культурной) общности еще и общностью территориальной, экономической, социальной и потестарно-политической².

Можно априорно предполагать, что в ходе общественной эволюции на разных ее стадиях, прежде всего на разном формационном уровне, соотношение этнического и потестарного или политического факторов, их относительное значение в функционировании эсо не оставались постоянными. Конечно, постоянство сохранялось в том, что, как справедливо отмечалось в свое время, в объективной реальности «этнос не существует вне социальных институтов, выступающих в роли его структурообразующей формы. Притом эту роль могут выполнить самые различные социальные общности — от семьи до государства»³. Но, во-первых, вполне очевидно, упоминаемые Ю. В. Бромлеем социальные общности разных таксономического и стадийного уровней отнюдь не равноценны ни по масштабу, количеству и пространственному, своего воздействия на развитие этноса, ни по

интенсивности такого воздействия, ни по, так сказать, техническим возможностям осуществлять последнее. А во-вторых, как уже говорилось в предыдущих главах, отношения уровня ниже общинного не могут рассматриваться в качестве потестарных, а тем более политических. И этому нисколько не противоречит то обстоятельство, что семья тем не менее остается главным звеном начальной социализации индивида как в общекультурном, так и в потестарно-политическом плане.

По мере развития человеческого общества возникали и укреплялись новые типы общественных структур, постепенно становившиеся определяющими в этом развитии. И само изменение масштабов и типов этнических общностей, в их качестве эсо, в общем виде обуславливалось как раз такой сменой типов общественных структур. И, в частности, этим же определялись и изменения в диалектике этнического и потестарного или политического моментов в рамках тех или иных конкретных эсо, причем не последнюю роль здесь играли взаимодействия между «внутренней» и «внешней» динамикой развития⁴. При этом, правда, нужно иметь в виду, что в зарубежной антропологической литературе отсутствует прямой аналог нашему понятию «эсо»; ближе всего к нему, пожалуй, понятие «глобальное общество» (societe globale), введенное французским социологом Ж. Гурвичем и определяемое, например, Ж. Макэ как сгусток социальных связей, отделенный от других такого рода сгустков зонами редкого взаимодействия⁵.

Если, однако, ограничиться уровнем эсо, т. е. по сути своей самостоятельных социальных организмов, то оказывается, что подавляющее большинство исследователей, отечественных и зарубежных, рассматривают наличие собственной структуры организованной власти в качестве необходимого и обязательного признака этнической общности — эсо как общественного явления⁶. В качестве примера можно назвать точку зрения С. А. Токарева⁷; аналогичны взгляды, скажем, Р. Нэролла или Г. До-ул⁸. Впрочем, если для западных авторов неразграничение власти в обществах доклассовом и классовом, т. е. потестарной и политической, вполне обычно не только терминологически, то в советской литературе указанный тезис формулировался в применении именно к политической, т. е. государственной, надстройке, характерной уже для классового общества. А в таком обществе и ход этнических процессов, и результаты их, т. е. в конечном счете тот или иной тип этнической общности, определяются в первую очередь классовым фактором, но не существованием или отсутствием собственной политической, государственной организации. При всем том, конечно, невозможно отрицать и воздействие последнего фактора на этническое развитие в данной его фазе, хотя бы уже потому, что «своя» государственность в принципе обеспечивает более четкое выявление классовых структур общества и опосредованно активизирует этнические процессы.

Но все же на более ранних стадиях общественного развития — в обществе доклассовом, а тем более предклассовом и даже в раннеклассовом — потестарная или раннеполитическая надстройка играла в этнических процессах, в частности в становлении той формы этнических общностей, которую у нас традиционно определяют как народность, относительно намного большую роль, нежели позднее. Здесь, в таком обществе, потестарные и раннеполитические структуры оказывались первостепенной важности факторами этнической консолидации и этнической дифференциации.

В принципе мы можем говорить о нескольких уровнях связи между потестарной или политической структурой общества как социального организма и этносом в узком смысле этого слова, «собственно этносом», или этникосом, по определению Ю. В. Бромляя⁹. На, так сказать, фундаментальном уровне этническое и потестарное и политическое развитие связаны через общую материальную основу функционирования общества в качестве самовоспроизводящейся системы — общественное производство. Ведь производство немислимо вне определенных форм его организации, т. е. в конечном счете вне социальных институтов. Этникос превращают в эсо именно эти институты, и именно поэтому они и выполняют роль структурообразующих форм этноса как определенной формы исторической общности людей.

2. Однако социальные институты, будучи необходимым условием самого существования этноса-эсо, не исчерпывают всех таких условий. Непосредственно из потребностей общественного производства объясняется и существование еще одного уровня связей между потестарной или политической структурой и этнической общностью-эсо — уровня территориального. Вполне очевидно, что на любой стадии общественного развития всякая человеческая общность нуждается в том, чтобы в той или иной форме регулировать хозяйственное использование занимаемой такой группой территории. Поэтому, например, в качестве одного из важнейших признаков этнической общности выдвигаются «определенная форма социально-территориальной организации»¹⁰ или «приспособление (amenagement) пространства в политических целях». Такая организация была необходима уже в ранней первобытности.

При переходе же к производящему хозяйству роль территориальной организации становилась еще более важной. Особенно заметно это оказывалось тогда, когда соседствовали и вступа ли в контакт человеческие общности с разным типом хозяйства, чаще всего представлявшие непродувающую и продувающую экономику: с одной стороны — охотники и собиратели, с другой стороны — земледельцы и скотоводы. И еще больше возрастало значение организации территории для хозяйственного использования тогда, когда таким разным общностям приходилось сосуществовать в одной и той же экологической нише и использовать ее природные ресурсы¹².

Последний случай заставляет более внимательно присмотреться к такому фактору, непосредственно воздействовавшему на формы и темпы складывания соответствующей территориальной организации, как естественные границы.

В отечественной литературе П. И. Кушнером был сформулирован тезис, согласно которому «образование народностей не имело никакой связи с естественными, т. е. географическими, рубежами»¹³. Сходное мнение, хотя и не в столь категоричной форме, высказал и Ф. Барт, отмечавший, что, с одной стороны, этническая общность формируется не изолированно, а в ходе межгрупповых контактов, а с другой — территориальные границы для существования уже сложившейся общности менее важны, чем границы социальные. Речь, несомненно, идет о достаточно ясно выраженной тенденции в этническом развитии, однако абсолютизировать ее едва ли стоит.

В самом деле, такая тенденция проявляется в виде общей закономерности при формировании народностей нового времени, «вторичных», по определению Н. Н. Чебоксарова и С. А. Арутюнова¹⁵. Но далеко не столь очевидной она представляется в тех случаях, когда дело касается «первичных» народностей, возникших непосредственно в ходе разложения первобытнообщинного строя и складывания раннеклассового общества. И уж еще менее пригоден этот тезис в категорической форме, если речь идет об этнических общностях доклассового уровня, еще мало затронутых процессом классового образования. В конце концов преодоление естественных границ находилось в прямой зависимости от материально-технического уровня развития производственной базы того или иного социального организма. А это, в свою очередь, требовало максимально возможного в данных условиях повышения эффективности общественного производства как неперемennого условия (речь идет, понятно, об объективном процессе, а вовсе не об обязательном осознании такой необходимости членами общества).

Правда, Н. Н. Чебоксаров в противоположность В. И. Козлову полагал, что определенные формы социально-территориальной организации могут быть относимы к числу признаков лишь этнических общностей «самого конца первобытнообщинного строя и в еще большей мере эпохи классового общества»¹⁶. Однако, по-видимому, и в данном случае стоило бы проявить большую осторожность. Ведь даже если согласиться с такой точкой зрения, то и в этом случае люди, находящиеся, по определению самого же Н. Н. Чебоксарова, в реальных хозяйственных связях на определенной территории, нуждаются в каких-то структурных, организационных рамках для осуществления таких хозяйственных связей, т. е. на той или иной территории.

Именно обеспечение большей или меньшей степени устойчивости таких рамок всегда было одной из главных задач любой социальной структуры. Но сама по себе социальная структура в целом может в определенном смысле рассматриваться как су-

ществующая в данном общественном организме структура власти¹⁷. Ведь речь идет о том, что обществом необходимо управлять, осуществлять руководство им на любом уровне общественного развития. И так или иначе, этот процесс связан с властью, с отношениями властвования, с организацией этих отношений. И, следовательно, приходится говорить и о соответствующей организационной структуре. А такая структура есть сначала организация потестарная, а впоследствии организация политическая. Именно ею обеспечивается регулирование функционирования общества как самовоспроизводящейся системы.

Но у этого регулирования по необходимости есть две стороны — внешняя и внутренняя, причем в обоих случаях оно имеет в виду в качестве одной из главных своих черт (а во внешних отношениях вообще главной) либо полное пресечение действия на общество деструктивных факторов любого происхождения, либо ограничение этого действия приемлемыми для общества пределами. Иначе говоря, внутренняя и внешняя стороны процесса регулирования должны обеспечить сохранение целостности социального организма самого по себе. Как один из распространенных вариантов поддержания такой целостности может рассматриваться создание и поддержание определенных форм к рамок нарушения этой целостности. При соблюдении последних сохраняющаяся и вновь возникшая части социального организма способны продолжать свое существование уже в роли самостоятельных единиц. Самым наглядным примером этого процесса за счет автоматического воссоздания (регенерации) в них таких общественных структур и механизмов, которые гарантировали бы вновь созданным единицам хотя бы минимально необходимую плотность и устойчивость их информационной сети, может служить сегментация, выступающая в качестве механизма, обеспечивающего оптимальные в заданных экологических и хозяйственных условиях масштабы социальных организмов⁴⁸. Гарантом сохранения таких новых и обновленных социальных организмов и выступает в первую очередь организационная структура власти в них, т. е. потестарная, а в более поздний период и политическая структура. Еще более важной оказывается роль потестарной и политической (а точнее, позднеспотестарной и раннеполитической) структуры на заключительных стадиях классово- и политогенеза, когда резкое возрастание значения военного фактора в жизни общества чем дальше, тем жестче ставит проблему сохранения своей самостоятельности отдельными частями относительно крупных общностей в случае раздробления последних под влиянием превратностей военных судеб¹⁹. Наконец, система, которую можно обозначить как диалектику дробления и объединения и на которой строится вся потестарная структура так называемых сегментных обществ» даже если принимать во внимание, что такое общество в «чистом» виде все же скорее теоретический конструкт²⁰, «работает» в том же направлении.

При всех важнейших различиях, какие существуют между названными выше стадийными вариантами общественного развития, их с интересующей нас точки зрения объединяет общая черта. В любом из них потестарные или политические структуры выступают в качестве того ядра, вокруг которого консолидируется общность-эсо. Они играют роль арматуры, скрепляющей этот эсо, и тем самым выполняют очень важную этническую функцию. Иными словами, потестарная и политическая организация оказывается этноконсолидационным фактором, воздействующим как на сам ход этнических процессов, так и на закрепление их результатов, придание последним определенной стабильности.

В этой связи может возникнуть вопрос: каким образом соотносится подобная этноконсолидационная роль потестарной и политической структуры с возможными и действительными различиями в протекании и направленности этнических процессов? Как известно, последние могут двигаться в диаметрально противоположных направлениях. Более того, можно говорить о преобладании той или иной тенденции в их движении на разных стадиях общественной эволюции. В развитом, так сказать, классическом первобытном обществе есть достаточные основания считать такой преобладающей тенденцией движение в сторону этнической дифференциации, сопровождаемое значительной дробностью этнических единиц. По мере же начинающегося разложения первобытной общественно-экономической формации все больше стали выдвигаться на первый план процессы этнического объединения (что в общем соответствовало тенденции к укрупнению масштаба также и социальных организмов²¹).

Однако потестарная или политическая структура общества в полной мере сохраняла свое значение ядра этнической консолидации практически вне зависимости от того, в каком направлении, с каким «знаком» двигался в данный момент процесс этнического развития той или иной общности, а также и от того, каков был стадийный уровень самой такой структуры.

Причины подобной однозначности в достаточной мере очевидны. В самом деле, нетрудно заметить, что потестарная или политическая организация оказывается одинаково необходима при любом из противоположных вариантов направленности, при любом возможном знаке этнического процесса. Ведь эта организация обеспечивает рамки, регулирующие функционирование эсо и при его укрупнении, и при его разделении. В первом случае само расширение эсо, тем более его единство в новых рамках, сколь бы зыбким ни было такое единство, особенно на первых порах (и, кстати, именно поэтому), попросту немислимо вне достаточно эффективной структуры власти. А при разделении той или иной этнической общности на более мелкие единицы (как, скажем, в уже упоминавшемся случае сегментации ее) образующиеся новые, «дочерние» общности точно так же нуждаются в какой-то организационной структуре, которая одна

только и могла им позволить функционировать в качестве самостоятельных эсо.

Именно здесь, на стыке собственно этнических и социальных аспектов, пожалуй, как нигде более ясна становится первичность социального организма и вторичность этнической общности в узком смысле слова, этникоса. И именно первичность социального организма, каков бы он ни был с формационно-типологической точки зрения, и, следовательно, одного из важнейших аспектов его — потестарной или политической структуры — всегда предопределяла в принципе сохранение за этой структурой этноконсолидационной роли при любом направлении этнического процесса.

В то же время можно даже априорно предполагать, что роль эта могла быть в неодинаковой степени выражена на разных этапах общественного развития. Вполне очевидно, при укрупнении масштабов эсо по мере активизации процессов классовообразования все большей должна была быть сила связующей общности, по выражению К. Маркса, особенно если принять во внимание, что общественная мощь средства обмена²² как раз на этом этапе бывала чаще всего еще недостаточно велика для того, чтобы служить основой целостности общества. И действительно, в период становления классового общества роль потестарной и политической надстройки как фактора этнической консолидации заметно возрастала. Больше того, подобное возрастание через возникавшую обратную связь не только способствовало консолидации, но и служило весьма действенным стимулом изменения самого типа этнической общности. В этом смысле очень показательна отмечавшаяся Л. П. Лашуком трансформация архаических этнических общностей Аттики и Лациума²³. Трансформация эта не просто сопровождалась, она в еще большей мере и стимулировалась именно становлением и расширением зон действия потестарных, а затем, по мере перехода к рабовладельческому строю, и раннеполитических связей. И с не меньшей ясностью обнаруживались обе эти стороны воздействия потестарной и политической структуры на характер возникавшей этнической общности в период формирования, скажем, феодальной германской народности. Для начальной стадии этого процесса характерна была множественность и значительная раздробленность общин, родственных по происхождению и вполне такое родство сознававших, но ничем, кроме этого сознания, не связанных. И существо дела в интересующем нас здесь смысле предельно четко выразил Ф. Энгельс: «Вследствие такого состава народа только из мелких общин, экономические интересы которых были, правда, одинаковые, но именно поэтому и не общие, условием дальнейшего существования нации становится государственная власть»²⁴.

3. Таким образом, значение потестарной или политической структуры общества, особенно предклассового или раннеклассового, не исчерпывалось тем, что она выступала в качестве яд-

ра этнической консолидации. Подобная этноконсолидационная функция потестарной и политической надстройки сочетается с другой функцией, которую можно, видимо, определить за неимением лучшего термина как этноструктурирующую. Речь, как уже говорилось выше, идет о том, что ядро этнической консолидации в виде этой надстройки оказывает обратное влияние на ход процесса этнической консолидации, в заметной степени определяя его темп, эгалитарный или стратифицированный в социальном отношении характер, наконец, ориентацию, которую приобретают результаты данного процесса, т. е. реальный эсо. Иными словами, характер и этнического процесса, и формирующейся в его итоге этнической общности-эсо оказывался диалектически связан с характером потестарной или политической организации общества. Вместе с тем признание этого обстоятельства ни в коей мере не означает, что эта организация играет в данном случае определяющую роль. Такая роль при всех обстоятельствах оставалась за развитием общественного производства и складывавшимися при этом производственными отношениями. Но этнические специфические черты формировавшегося эсо во многом оказывались обусловлены именно характером его потестарной или политической структуры.

Сказанное относится, в частности, к степени замкнутости общества или, наоборот, его склонности к развитию контактов со своими соседями. Потестарная или политическая организация могла быть ориентирована, с одной стороны, преимущественно на сохранение замкнутого характера данной этнической общности-эсо, ее автаркичности. Примеры подобной ориентации своей потестарной структуры дают такие «сегментные» общества, как неоднократно уже упоминавшиеся нуэры Судана или тив Нигерии и некоторые другие, т. е. общества, построенные в виде системы сегментных агнатных линиджей, находящихся в отношениях дополняющей оппозиции.

Впрочем, автаркичность ориентации не следует в данном случае понимать чересчур буквально. Она существует в том смысле, что, скажем, те же нуэры не проявляли еще в 30-е годы нашего столетия особенной заинтересованности в мирных, т. е. торговых или культурных, контактах с соседями (чему в немалой мере способствовала специфика их хозяйственной деятельности, не представлявшей достаточного количества избыточного продукта, который мог бы стать предметом обмена)²⁶. Но это нисколько не препятствовало нуэрам более или менее регулярно грабить своих соседей — динка, а захваченных пленников инкорпорировать в собственные линиджи, причем иногда так поступали и с целыми линиджами динка. Так что вовсе не случайно М. Салинз именно нуэрскую систему линиджей избрал в качестве образца общественной организации, ориентированной на «хищническую экспансию»²⁷, видя в ней «социальное средство вторжения и соперничества в уже занятой экологической нише». Впрочем, инкорпорация опять-таки не была полной: память о

происхождении от динка очень устойчиво сохранялась в общественном сознании.

Тем не менее остается справедливым, что подобная потестарная организация не стимулировала расширения масштаба этнической общности за счет включения в нее иноэтничных элементов. Инкорпорация динка выступала лишь как второстепенное следствие военной активности и не обуславливалась расширением этнической территории нуэров в качестве конечной цели. Поэтому эта структура может быть принята за один из полюсов некоей мысленной шкалы, или континуума, вдоль которой мы можем расположить этнографически засвидетельствованные варианты ориентации потестарной или политической организации в обществах предклассового и раннеклассового уровней.

Здесь потестарную структуру отличает несомненная рыхлость. Сколько-нибудь действенной она оказывалась лишь в случаях, когда требовалась мобилизация усилий нескольких сегментов выше уровня первичного (минимального) против какого-либо общего соперника, и сохраняла эффективность только в продолжение такого столкновения. Однако и при подобных формах проявления такого рода потестарная структура, выражавшаяся в категориях родственных (генеалогических) отношений, способствовала осознанию родственных связей между нуэрскими или тивскими линиями разных уровней, а тем самым зарождению и стабилизации каких-то, пускай еще и очень слабых начальных форм общенуэрского и общетивского этнического самосознания.

Противоположный полюс образуют социальные организмы, точнее, эсо непосредственно предклассовой стадии развития, на которой, по хорошо всем известному определению Ф. Энгельса, война и организация для войны становились «регулярными функциями народной жизни»²⁸, и в еще большей степени общества раннеклассовые, для которых вообще была характерна объективная тенденция к расширению хозяйственной системы до размеров, оптимальных при данном уровне развития производительных сил²⁹. Именно это различие, чисто стадияльное по характеру, с одной стороны, выступает причиной того, что раннеполитические структуры несравненно реже потестарных бывали автаркически ориентированы, а с другой — служит хорошим подтверждением того тезиса, что сами по себе активная военная деятельность и приспособление к ней потестарной структуры не могут выступать ускорителем процесса укрупнения этнических общностей, если для такого укрупнения не сложились соответствующие социально-экономические предпосылки. Вместе с тем в данном контексте важна не столько сама военная активность, сколько ее результаты, т. е. конкретные формы, приобретаемые связью потестарной или политической надстройки с характером этнической общности-эсо.

В своем крайнем проявлении позднепотестарная или раннеполитическая структура, ориентированная на расширение соог-

ветствующего этнопотестарного или этиополитического организма³⁰, могла принять вид надстройки, этнически чуждой массе населения создавшегося расширенного этнопотестарного или этнополитического образования. Такая ориентация этой структуры вообще характерна для завершающихся этапов эпохи классового образования и начальных этапов существования общества раннеклассового. Именно поэтому как раз раннеклассовые политические образования особенно часто предстают перед исследователем как структуры, в которых в роли политической надстройки оказываются целиком определенные этнические общности, точнее определенные эсо.

Масштабы таких господствующих групп, воплощающих верхний эшелон складывающейся не только политической, но, самое главное, социальной структуры, построенной на отношениях господства и подчинения, могут варьировать в весьма широких пределах. Это могла быть, по существу, микроэтническая группа: так обстояло дело, например, когда в Судане или Заире отдельные коллективы ленду или окебо «принимали» в качестве правителя кого-то из алурув (и соответственно его клан)³¹. Аналогичным образом развивались события и тогда, когда небольшие группы выходцев с Ближнего Востока или из района Персидского залива становились правящими в некоторых торговых городах восточноафриканского побережья³².

Но в других случаях правящей надстройкой оказывается уже целый эсо, как происходило это в восточноафриканском Междуречье, в особенности в доколониальной Руанде, которая традиционно рассматривается в литературе в качестве модели подобного хода развития. Неизбежным следствием такого «наложения» одного эсо на другой (или другие) становилась, как правило, более или менее прочная фиксация этнических границ средствами власти. Но результаты этой фиксации, да и формы ее тоже бывали достаточно разными.

В той же Руанде этническая граница довольно быстро превратилась в кастовую, что, кстати, делало ее еще менее проницаемой (хотя отнюдь не исключало вместе с тем и определенной социальной мобильности). Но такая кастовая граница в сочетании с допущением некоторого участия земледельцев-ху в системе администрации, особенно же в военных предприятиях правящей аристократии тутси, все же не препятствовала формированию даже у подчиненной части населения сознания ее принадлежности к некоему единому целому — социально и этнически стратифицированному эсо баньяруанда. Существование этого единого эсо все более подчеркивают исследования последнего времени³³.

Достаточно типичным для подобных расширенных и стратифицированных эсо бывает сосуществование двух параллельных потестарных и/или политических структур в тех случаях, когда и поскольку на нижних уровнях управления сохраняются такие структуры, принадлежащие основной массе подчиненного насе-

ления. В гл. 2 этот вопрос уже рассматривался в контексте сочетания в одной политической культуре двух неравноправных субкультур. В дополнение к уже сказанному следует, видимо, добавить, что как раз в таких эсо соответствующая культура может обозначаться именно как «потестарно-политическая» по своему содержанию. На верхнем уровне, т. е. во взаимоотношениях господствующего эсо с подчиненным, это культура и отношения власти, несомненно, политические. Но внутри самого подчиненного эсо отношения между отдельными его частями не включают элементов господства и подчинения, и соответственно культура остается потестарной по своей сущности.

Между этими полюсами располагается множество возможных «промежуточных» вариантов соотношения потестарной и политической структуры и этноса, причем все они могут в основном описываться в категориях взаимодействия и в конечном счете синтеза этнических субстрата и суперстрата в ходе этнических процессов. Если ограничиваться только африканскими примерами, то можно в качестве таковых упомянуть, скажем, туарегов кель-ахаггар как вариант, типологически близкий к скотоводческо-земледельческим обществам Межозерья³⁴, и тех же алуров и их окружение по обе стороны суданско-заирской границы в качестве образца еще только начинавшегося складывания этнически и потестарно стратифицированного общества³⁵.

В первом случае туареги, господствующие над оседлым земледельческим населением оазисов и образующие верхний ярус уже политической по своему смыслу структуры, вместе с тем сохраняют свою целостность и как этникос, и как эсо. При этом туарегский этнос-эсо четко отграничен и от других туарегских объединений, и от земледельцев (обычно отличающихся от кель-ахаггар еще в расовом отношении).

Во втором примере — у алуров — наблюдается своего рода соединение системы агнатных линиджей с определенными формами отделившейся уже от них потестарной структуры. В данном случае значительно облегчилась инкорпорация и ассимиляция иноэтнических элементов в алурских линиджах. Иными словами, по сравнению, скажем, с нуэрской такая потестарная организация обнаруживает большие возможности контакта с соседями, во-первых, и гораздо большую предрасположенность к тому, чтобы действовать в сторону расширения алурского эсо, во-вторых.

Впрочем, потестарные структуры типа алурской еще довольно рыхлы и слабы. В результате по мере удаления от центра (в целом более или менее совпадающего с центром этнической территории самих алуров) возникает своего рода социально-потестарная и этническая непрерывность, когда четко выраженные границы между разными эсо отсутствуют, а их периферийные группы могут одновременно принадлежать к разным этническим и даже потестарным общностям³⁶.

Можно утверждать, что как раз здесь проходит принци-

альная грань между структурами и отношениями ранне- и позднепотестарными. В принципе первые из них, в общем соответствующие акефальным обществам англоязычной литературы, обычно не имеют вполне определенных территориальных границ, и этническая гетерогенность если и ощущается, то довольно относительно именно в силу только что отмеченной непрерывности. По мере укрепления потестарных структур и нарастания элемента централизации (пусть даже эта централизация тоже бывает относительной) гетерогенность объединяемых одной этнопотестарной структурой человеческих групп начинает ощущаться все более определенно. И в то же время изменяется сам характер инкорпорации: для раннепотестарного общества характерна достаточно быстрая социально-культурная ассимиляция инкорпорлируемых (ср. динка в том же нуэрском обществе), и общество-эсо оставалось в целом однородным в этнокультурном отношении. Но по мере продвижения по пути политогенеза нарастает не просто осознание гетерогенности: несравненно большими становятся объективные возможности удержать в рамках единой потестарной структуры разнородные в этнокультурном смысле элементы, включаемые в эту структуру как более или менее целостные единицы³⁷.

Вопрос о соотношении этнической и потестарной или политической границы в обществах пред- и раннеклассовых вообще едва ли поддается однозначному решению. Иногда эта граница может в значительной степени оказаться подвижной не только между разными группами в составе одного и того же этноса, но и между последним и его более развитыми соседями именно под влиянием этих соседей, вернее, их образа жизни и экономических возможностей. Конечно, могут возразить, что смена этнической принадлежности, включая и этническое самосознание, происходит во всяком классово антагонистическом и этнически стратифицированном обществе, и это будет справедливо. Однако разница, видимо, окажется заключена в масштабах явления: чем выше уровень общественного развития такого общества, тем более вероятно, что в нем социальная мобильность, сопровождаемая сменой этнической принадлежности, будет происходить в индивидуальном порядке. В эсо же раннеклассовых или предклассовых гораздо чаще бывают возможны случаи такой трансформации целых общностей. В качестве примера можно сослаться на изучавшихся Э. Личем качинов Бирмы.

Как известно, Э. Лич выделил у качинов два главных варианта социально-потестарной организации: эгалитарный гумлао и «аристократический» гумса (хотя настойчиво подчеркивал при этом определенную условность такого деления и, во всяком случае, в принципе динамичный, а не застывший его характер). Вариант гумса в этом отношении показателен. Часть общин, относимых к нему, обнаруживали тенденцию к превращению в более эгалитарные. Но большая часть, особенно под влиянием благоприятных экономических условий или используя брачные

союзы, ориентировалась на соседних шанов, у которых социально стратифицированный характер общественной организации выражен гораздо более четко. В конечном итоге идеальным завершением этого процесса представлялось качинским «аристократам» такое, при котором они могли чувствовать, что «стали шанами»³⁸. Несомненно, культурная и хозяйственная близость качинов и шанов играла здесь определенную роль, но близость эта все же не исключала наличия достаточно устойчивого качинского этнического самосознания.

Характерно, что сам Э. Лич трактовал такое превращение качинов в шанов как проявление открытой Л. Морганом закономерности перехода от социальной организации к политической, от *societas* к *civitas*³⁹, и показывал принципиальное различие между качинской и шанской организацией: при всей культурной близости более значимыми оказываются у этих народов «разные аспекты определенных представлений» (*different aspects of particular ideas*). Так, если качин идентифицирует себя прежде всего по отношению к своему линиджу, то шан ставит на первое место название места своего рождения, т. е. переход от родового принципа связей к территориальному⁴⁰ выражен здесь с полной определенностью. В то же время сам Э. Лич придерживался уже упоминавшегося выше тезиса, сформулированного позднее в явной форме З. Наделем, рассматривая социальную структуру, собственно, как структуру власти в данном обществе; об этом свидетельствует само название его исследования о качинах.

Степень взаимодействия потестарных и политических структур во многом определяет те конкретные формы, какие принимает в той или иной исторической обстановке и в тот или иной период этнический плюрализм. Эти формы, проанализированные М. Смитом и размещенные им вдоль воображаемой шкалы, простирающейся от «сегрегации» до «дифференциальной инкорпорации» (о последней уже шла речь в предшествующих главах)⁴¹, представляют именно «способы коллективного приспособления» (*collective accomodation*). И роль потестарной и политической организации оказывается здесь разной. Скажем, если в случае «сегрегации» ее задача сводится прежде всего к поддержанию целостности эсо, понимаемой в сугубо автаркичном смысле, то «дифференциальная инкорпорация» обеспечивает поддержание, с одной стороны, целостности разноэтничного по происхождению его составных частей этнопотестарного или этнополитического организма, а с другой стороны, социального и потестарно-политического неравенства этих составных частей.

Но взаимодействие потестарных и политических структур — его формы и эффективность — зависит и от того, как протекают этнические процессы, в ходе которых становилось неизбежным такое взаимодействие. Например, в рассматривавшихся выше случаях контакта алуоров и ленду, качинов и шанов эти процессы идут в условиях более или менее (во втором случае) выраженной культурной и потестарной непрерывности. Результатом ока-

зываются в большинстве случаев такие формы этнического плюрализма, если продолжать придерживаться терминологии М. Смита, как «симбиоз» и «консолидация», т. е. отмеченные большим или меньшим внутренним равноправием, хотя М. Смит справедливо оговаривал, что предлагаемые им типы — не взаимоисключающие, что они переплетаются друг с другом и в принципе «любой способ коллективного приспособления... может быть превращен в систему дифференциальной инкорпорации подчинением отдельных компонентов господству других»⁴².

При взаимодействии туарегов с негроидным земледельческим населением или руандийских тутси и хуту действовал уже другой тип контакта: здесь синтезировались этнические субстрат и суперстрат⁴³. Установление равноправных отношений между ними в большинстве случаев оказывалось маловероятным, и именно здесь чаще всего наблюдалось сохранение двух субкультур и двух субструктур в рамках единых позднепотестарных или раннеполитических культур и структур.

Наконец, весьма типичным для обществ докапиталистического классового уровня был такой вариант фиксации этнических и социальных границ (они в данном случае обычно совпадали вполне однозначно), как переселение компактных этнических коллективов из прежних своих ареалов в чуждую им этническую среду и часто за сотни, а то и тысячи километров от родины. Притом такие переселенные группы обычно искусственно, средствами власти поддерживались как замкнутые и нередко эндогамные общности; в данном случае политическая структура усиливала и закрепляла естественную в таких условиях (особенно на первых порах) тенденцию к сохранению своей этнокультурной индивидуальности⁴⁴. В качестве примеров можно назвать, скажем, среднеазиатских арабов наших дней, предками которых были люди, угнанные с Ближнего Востока Тимуром в конце XIV — начале XV в. или жителей земледельческих поселений, создававшихся из угнанного полона правящей верхушкой средневековых (в широком смысле слова, т. е. вплоть до XIX в.) государственных образований Западного и Центрального Судана. Эти деревни сохранили свой замкнутый и иноэтнический по отношению к окружающему населению характер чуть ли не до наших дней⁴⁵. В данном случае мы имеем дело с «дифференциальной инкорпорацией» в, так сказать, чистом виде, возможной уже только в классовом обществе. И роль политической структуры как средства подавления выступает здесь в ничем не прикрытом виде.

Практически во всех рассмотренных выше случаях этническая принадлежность выступает в роли своего рода «суперстатуса» (*superordinate status*), по определению Ф. Барта. Этот «суперстатус» обуславливает все остальные возможные сочетания социальных статусов, все варианты взаимодействия, какие разрешаются носителям этого суперстатуса в данном полиэтническом обществе⁴⁶. Следует добавить, что последний вместе со

всеми связанными с ним социальными и идеологическими последствиями именно как «суперстатус» и воспринимается всеми группами населения.

4. До настоящего момента мы имели дело с ролью потестарной и политической структуры в фиксации этнических границ прежде всего с точки зрения этнической консолидации, т. е. либо интеграции этнокультурной общности в более или менее одноэтнический эсо, либо объединения поначалу в этнопотестарный или этнополитический, а затем и в единый эсо разнородных этнических общностей. Но, по-видимому, ничуть не менее важна, если исследовать проблему в аспекте внутренней консолидации эсо, закрепления консолидации в этническом сознании иусамосознании его членов, и этнодифференциационная роль потестарной и политической надстройки, хотя и в данном случае функции последней в этнической консолидации и этнической дифференциации настолько тесно переплетены друг с другом, что рассматриваться отдельно могут, как это происходит и во множестве других случаев, лишь на логическом, аналитическом уровне.

В самом деле, уже шла речь о том, что потестарная и политическая структура, с одной стороны, ориентирована вовне того или иного эсо, обеспечивая его целостность перед лицом социального окружения, с другой же — служит задачам поддержания внутренней целостности этого эсо, страхуя его от воздействия внутренних деструктивных факторов развития, как социальных, так и природных. И, выполняя при этом весьма заметную функцию этнической консолидации, эта структура одновременно оказывается во внешних контактах этнической общности-эсо одним из важнейших факторов ее отграничения от других таких общностей.

Иначе говоря, потестарная или политическая организация в этом контексте предстает перед нами в роли действенного разграничителя в системе отношений «мы — они», составляющей объективную основу любого этнического сознания и самосознания⁴⁷. Она создает определенную корпоративность этого «мы», причем проявляется такая корпоративность в обоих планах — как внутри данного эсо, так и за его пределами — и функции при этом выполняет достаточно разные.

Именно корпоративность «вовне» — обозначим ее условно «внешняя» — отделяет членов данной общности от их соседей, конструируя те ситуации, в которых «общий характер племени проявляется и должен проявляться как негативное единство по отношению к внешнему миру»⁴⁸. Таким образом, внешняя корпоративность функционирует в качестве фактора этнической дифференциации, выступая со знаком минус, т. е. в самом общем виде: «мы не такие, как они».

Корпоративность, направленная внутрь эсо, — назовем ее по аналогии «внутренняя» — несет в себе значение «мы именно такие, какие мы есть». Ее задача — обеспечивать внутреннюю целостность и сплоченность (понятно, пределы такой сплоченно-

сти весьма варьируют в зависимости от формационного и стадийного уровня общества) эсо, без чего было бы невозможно нормальное его функционирование как самовоспроизводящейся системы. Если в первом случае на первом месте стоит различие, то здесь — сходство.

Что же касается неразделимости внешней и внутренней корпоративности в исторической реальности, то в этом отношении в высшей степени показателен тот своеобразный синтез этих ее форм, который можно наблюдать в эсо полиэтничных, возникающих на основе синтеза субстрата и суперстрата. Здесь первоначальная этническая стратификация постепенно превращается в социальную. К числу самых характерных примеров такого превращения принадлежат, скажем, не раз уже упоминавшиеся здесь общества восточноафриканского Междозерья, хотя ни Междозерье не представляет в этом отношении чего-то исключительного на Африканском континенте, более того, непосредственная связь этнической стратификации с социально-потестарной и социально-политической вообще может считаться типичной чертой доколониальных африканских обществ⁴⁹, ни сама Африка не выделяется сколько-нибудь заметно среди других континентов. Просто Тропическая Африка дает сегодня исследователю, пожалуй, наибольшее многообразие вариантов.

Этнические общности, как уже говорилось, существуют в социальной действительности лишь в рамках определенных общественных институтов. Тем не менее этническое и потестарное и/или политическое развитие представляют относительно самостоятельные линии эволюции общества. Выше рассматривались два из возможных уровней их связи — производственный и территориальный. Но имеется и еще один весьма существенный уровень такой связи — культурный, т. е. культурный аспект соотношения этнического и потестарно-политического моментов в общественном развитии. По этому поводу основное говорится в гл. 2, здесь же я постараюсь коснуться только отдельных сторон этого соотношения, пока еще не затрагивавшихся в настоящей работе.

В частности, если рассматривать функционирование потестарной или политической культуры в доклассовом и раннеклассовом обществе, то нельзя обойти такое обстоятельство, как соотношение между иерархией этнических и потестарных или политических общностей. Известно, что этнические общности иерархичны, образуя разные таксономические уровни⁵⁰. И действительно, их формы, т. е. такие формы, которые обладают комплексом этнически специфичных и значимых черт, могут варьировать по вертикали от единиц микроэтнических, самым характерным образцом которых служит семья⁵¹, до макроэтнических, скажем соплеменности или семьи племен. По-видимому, в интересующем нас сейчас смысле в качестве самой малой таксономической единицы должна быть принята семья. Такая теоретически выделяемая микроединица, как «этнофор», т. е. от-

дельный индивид как носитель этнических свойств⁵², в данном случае рассматриваться не может — по крайней мере по трем соображениям. Прежде всего, отдельный человек не в состоянии обеспечить межпоколенную передачу этнической информации и соответственно воспроизводство этнических свойств⁵³. Во-вторых, он немислим экономически, т. е. лишен объективной основы существования в качестве этнической единицы: вспомним слова К. Маркса о том, что «изолированный индивид совершенно так же не мог бы иметь собственность на землю, как он не мог бы и говорить»⁵⁴. И в-третьих, это особенно для нас существенно сейчас, такой изолированный индивид не может быть ни субъектом, ни объектом власти: он в ней просто не нуждается.

Но на всех остальных уровнях этнической иерархии существует потребность в руководстве функционированием образующих эти уровни этнических единиц в их качестве человеческих коллективов и самостоятельных эсо. А значит, должна существовать и какая-то структура власти и властных отношений, без которых руководство реализоваться в большинстве случаев не может. До определенного уровня эта власть и эти властные отношения, как я уже пытался показать, не могут считаться потестарными, тем более политическими; за отсутствием подходящего термина их можно было бы чисто условно обозначить как социально-бытовые. И тем не менее такая социально-бытовая власть — это именно власть со всеми ее характерными чертами, отмечавшимися в гл. 1. И на своем уровне она служит для регулирования жизнедеятельности несамостоятельных микроэтнических единиц — семьи (понятно, в тех случаях, когда семья, большая или малая, выступает в роли хозяйственной ячейки) или общины. Именно поэтому и оказывается возможной первичная потестарная или политическая социализация индивида в рамках семьи, о чем шла речь выше, т. е. то формирование «первичных политических ценностей», без которого этот индивид не смог бы впоследствии действовать в качестве равноправного (вернее, «полноценного») члена данного эсо. С этой точки зрения традиции социально-бытовой власти объективно входят в состав потестарной или политической культуры этноса. В этой связи возникает довольно интересный вопрос: в какой степени могут совпадать этнический и потестарно-политический уровни общественной эволюции? Что касается власти социально-бытовой, то в применении к ней вопрос кажется беспредметным: будучи неотъемлемой частью традиционно-бытовой культуры любого общества, вне зависимости от его формационного уровня, она этнична в такой же мере, как и последняя, будучи элементом именно этнической культуры. С культурой потестарной, а тем более политической дело обстоит сложнее.

По-видимому, начинать следует с того бесспорного общеметодологического соображения, что совпадение или несовпадение — явления исторические, и потому не следует ожидать единогообразного ответа на поставленный выше вопрос вне зависи-

мости от конкретной обстановки, в которой существует данный эсо, прежде всего от его стадийного уровня. С изменением последнего могут происходить весьма серьезные сдвиги в соотношении этнического и потестарного или политического моментов.

В принципе, однако, можно, по-видимому, установить некоторые закономерности в развитии этого соотношения. На мой взгляд, они были весьма удачно прослежены М. В. Крюковым, проделавшим параллельный анализ взаимодействия этнического и политического в древнем Китае и в древней Греции. Положив в основу исследования понятие «этнополитической общности», предложенное С. И. Бруком и Н. Н. Чебоксаровым⁵⁵, М. В. Крюков выделил три последовательных этапа становления древнекитайского этноса: от своего рода «прототипа этнополитической общности», включавшего и интегрировавшего отдельные разноэтнические группы жителей Великой Китайской равнины, через распад этой общности при одновременном завершении складывания единой этнической общности древних китайцев (аналогичный этап этнического развития он отмечает и в древней Греции VI—IV вв. до н. э., хотя в целом для нас хронологические рамки в данный момент не имеют особого значения) и к формированию этнополитической общности уже на новом уровне, когда после недолгого совпадения этнических и политических границ сильная централизованная власть государства начинает объединять разнородные этнические компоненты, которые в конечном итоге и ассимилируются ханьским этносом⁵⁶. Иначе говоря, в зависимости от конкретно-исторической обстановки, а в более широкой исторической перспективе с прогрессом общественного производства общностью более высокого порядка могла выступать то этническая, то политическая. При этом совпадение их неизменно оказывалось кратковременным и преходящим, что и можно рассматривать в качестве важнейшей закономерности взаимоотношений этнического и потестарного или политического факторов в общественном развитии.

О причинах и факторах, предопределяющих несовпадение потестарной и политической культуры и соответствующих структур общества, уже говорилось довольно подробно в гл. 2. В диалектике взаимодействия потестарно-политического и этнического в целом действуют эти же причины и факторы, в первую очередь разный характер информационных связей — этнических и потестарно-политических. Не буду повторять уже сказанное, тем более что сейчас нас интересует не столько само по себе различие в характере связей, сколько их плотность. В самом деле, если мы постулируем наличие в общности-эсо по крайней мере двух информационных сетей, из которых одна несет главным образом потестарную или политическую нагрузку, а вторая — преимущественно этническую, то логично предположить, что совпадение этнической и потестарной или политической общностей может произойти в оптимальном варианте при примерном совпадении

плотности обеих сетей. Этническая история древних китайцев, рассмотренная М. В. Крюковым, в этом смысле как раз и может трактоваться в качестве выражения постоянно изменяющегося соотношения плотностей информационных сетей, когда их совпадение — не более чем частный случай.

Между тем плотность информационной сети определяется как общим уровнем социально-экономического развития, так и масштабами общности, которую она обслуживает. В этом смысле этнические общности разных иерархических уровней неизбежно будут существенно различаться. И столь же различна будет плотность сети инфосвязей потестарных или политических в зависимости от размеров и иерархического уровня того или иного потестарного или политического организма. Замечу попутно, что следует четко разграничивать информационные связи потестарной или политической сети и связи социальные. Последние тоже суть информационные связи, но в их поле соотношение вертикального и горизонтального моментов иное, нежели в потестарно-политической сети. Так, отношения господства — подчинения, совершенно однозначно вертикальные в социальных отношениях, будучи рассматриваемыми в качестве составной части отношений политических, принадлежат горизонтальной информационной сети. В то же время отношения, например, между членами одной общины, горизонтальные с точки зрения социальных контактов, окажутся вертикальными, если видеть в них связи, обеспечивающие фиксацию и передачу традиций потестарной или политической культуры⁵⁷.

5. Если возвратиться к вопросу о плотности информационной сети на разных уровнях этнической иерархии и потестарно-политической организации, то в принципе существует единодушное относительно того, что наибольшей эта плотность будет в племени-общности, которую С. А. Арутюнов и Н. Н. Чебоксаров удачно определили как сгусток информационных связей этнического характера⁵⁸. Однако можно с достаточной уверенностью утверждать и то, что такой характер племя приобретает именно потому, что в то же самое время оно функционирует не просто в качестве эсо, но еще и в роли организма этнопотестарного, по терминологии Ю. В. Бромлея. Иначе говоря, плотность этнических признаков в племени определяется в значительной мере его признаками как структуры власти. И действительно, плотность информационных связей на уровне, превышающем племенной — в соплеменностях или племенных группах, которые многие исследователи рассматривают в качестве главной формы этнической общности в эпоху первобытнообщинного строя⁵⁹, оказывается разреженной в сравнении с племенем. И это ведет к неспособности племени функционировать в качестве эсо, тем более организма этнопотестарного: оно, как правило, выступает скорее в функции этникоса, этноса в узком смысле этого слова.

К тому же общности потестарные или раннеполитические более высокого таксономического уровня, чем племенной, напри-

мер союз племен, с этнической точки зрения едва ли могут считаться общностями. И прежде всего в силу неоднородности, вызываемой присутствием в их составе целостных этнопотестарных единиц, вовсе не обязательно связанных с основной массой членов такого союза даже фиктивным родством. А в результате информационные связи синхронного характера неизбежно оказываются более интенсивными, нежели диахронные, этнокультурные по преимуществу; картина в этом смысле становится противоположна той, которая наблюдается в соплеменностях.

Единицы же этнической иерархии, более низкие, чем племя, как правило, не функционировали в роли самостоятельных социально-потестарных организмов. Сюда относятся такие общности, как «подплемена», «колена», «кланы», «секции» и т. п.; к тому же эта терминология отнюдь не безупречна в содержательном отношении, не отличаясь большой определенностью. Правда, следует оговорить, что на уровне сегментных обществ такие низшие по отношению к племени единицы, как линиджи, обнаруживают немалую долю самостоятельности в роли и этнических и потестарных общностей (впрочем, в этом случае практически невозможно бывает разделить структуру линиджей и территориальную организацию).

Таким образом, есть достаточные основания считать, что совпадение двух линий общественной эволюции — этнической и потестарно-политической — в предклассовых и раннеклассовых обществах (в последнем случае скорее пережиточно или в специфических условиях экологии, например у кочевников) происходит на уровне племени, представляющего поэтому этнопотестарное единство.

Вместе с тем неправильно было бы, видимо, обойти молчаливом некоторые теоретические затруднения, возникающие при таком подходе к вопросу (речь здесь идет сугубо о соотношении этнического и потестарно-политического, место племенной организации в качестве формы организации власти подробно рассматривалось в предыдущей главе). Дело в том, что как этнопотестарный организм племя — явление сравнительно позднее. Сочетание этнического и потестарного или политического аспектов в его организации было характерно скорее для развитого племени, сформировавшегося уже в ту пору, когда разложение первобытнообщинного строя в «классических» его формах зашло достаточно далеко. Поэтому и ранние варианты племенной организации, и их функционирование в большой степени реконструируются скорее теоретически⁶¹, а те из племен, которые сохранились до наших дней и доступны этнографическому наблюдению, все подверглись воздействию более развитых обществ, пусть и в различной степени, так что развитие их отклонилось от спонтанного.

Именно эти обстоятельства и послужили исходным пунктом для наступления на традиционное для этнографии понимание племени как формы общественной организации в, западной,

особенно американской, социальной и культурной антропологии. Начавшись около двух десятилетий назад, это наступление нашло наиболее последовательную аргументацию в трудах М. Фрида.

Правда, ни он сам, ни его единомышленники вовсе не отвергают идею племени вообще. Основной смысл критики сводится к тому, что племя возникало, по мнению этих исследователей, как явление производное, в результате контактов с уже сформировавшимися «государственными» обществами, как средство противостоять таким обществам не в последнюю очередь. А развитая племенная организация, какую наблюдал у ирокезов Л. Морган, легшая в основу ранее принятых представлений о племени — стадии социальной эволюции, как раз и была «вторичной».

Характерно при этом, что даже самые непримиримые критики ни в малейшей мере не отрицают как раз потестарную (по их терминологии, естественно, «политическую») функцию племени как формы общественной организации. Зато отрицались именно такие черты, которые делали племя этнической общностью: единый язык и культура, единая экономика⁶².

Безусловно справедливо (и подтверждается достаточно репрезентативным фактическим материалом), что широкий, если можно так выразиться, глобальный подход к представлениям о племени как комплексе экономических, территориальных, языковых, идеологических, потестарных и иных свойств не всегда может считаться достаточно обоснованным. Вполне очевидно: в данном случае едва ли возможны однозначные ответы. Вместе с тем нет, по-видимому, причин и для того, чтобы отказаться от понятия племени в качестве такой относительно крупной единицы социальной организации, которая выступает в роли и этнической и социально-потестарной (или даже социально-политической общности (хотя, конечно, критерии ее выделения требуют дальнейшего изучения⁶³).

Именно как такая общность племя и будет пониматься в последующем изложении.

Потестарная и политическая структура общества, которая в своем функционировании выполняет роль фактора как этнической консолидации, так и этнической дифференциации, именно в силу этих причин осознается членами того или иного эсо в качестве такого этнического индикатора. Сознание принадлежности к определенному этнопотестарному, а в раннеклассовом обществе уже к этнополитическому, т. е. раннегосударственному, организму превращается в один из главных признаков, отделяющих «своего» от «чужака». Поэтому мы можем говорить о том, что в этническом сознании и самосознании, которое уже само по себе есть сознание отличия «своих» от «чужих», на достаточно ранних этапах его существования присутствует определенная этнопотестарная составляющая, которая может быть условно обозначена как потестарное самосознание, соответствовавшее

тому потестарному сознанию, о котором была речь выше. Складывание такого сознания и самосознания представляется явлением вполне естественным, если этническое самосознание понимать вслед за П. И. Кушнером как «своего рода результанту действия всех основных факторов, формирующих этническую общность»⁶⁴.

Принципиальная важность этого вопроса заключена, собственно, в том, что этническое сознание и самосознание образует одну из главных характеристик всякой этнической общности. Каким же образом соотносятся в нем собственно этнический и потестарный (или политический) моменты? По-видимому, диалектика их взаимодействия должна рассматриваться аналогично диалектике взаимодействия двух этих линий общественной эволюции, представляя, по существу, частный ее случай. В занимающем нас сейчас случае развитие идет в направлении постепенной дифференциации: из комплексного этнического сознания и самосознания, которое свойственно развитому первобытному обществу («мы» — «они»), со временем вычленяются относительно самостоятельные этническое и потестарное, а затем политическое сознание и самосознание. Но окончательное их разделение происходит сравнительно поздно — уже на стадии раннеклассового общества, когда начинали формироваться первичные народности, иными словами, после «второй сегментации», по определению И. Н. Хлопина⁶⁵.

Однако этническое сознание и самосознание эволюционирует не только в сторону дифференциации. В. И. Козлов справедливо отметил такую особенность этнического самосознания доклассового общества, как постепенное изменение его оснований: от представления об общности происхождения, т. е. чисто генеалогического, до практического отождествления этнической и, скажем, конфессиональной или же, что особенно существенно для нас сейчас, принадлежности этнической и, если мне позволено будет так выразиться, «ритуально-потестарной»⁶⁶. В этой связи несомненный интерес представляют случаи превращения в этнонимы политонимов, т. е. названий раннегосударственных образований или же отдельных социальных организмов меньшего масштаба.

Ограничусь и в данном случае африканскими примерами. Если говорить о политонимах в полном смысле этого слова, т. е. названиях государственных образований, можно прежде всего обратить внимание на название малинке, одного из крупнейших народов Западной Африки. Слово «малинке» буквально означает «люди Мали» (mali + nke). Тем самым в нем сохранена память о той эпохе, когда народ (точнее, конечно, предки современного народа) малинке послужил этнической основой средневекового раннего государства Мали (XIII—XVI вв.). Еще более характерно при этом, что у соседей малинке, народа фульбе, этническое обозначение соседей вообще сохранило почти неизменной форму названия государства — мали, или мелли⁶⁷.

Есть достаточно оснований полагать, что таким же образом сложилось нынешнее название другого западноафриканского народа — сонгаев. И в данном случае употребление названия «Сонгай» для обозначения государственного образования, по всей видимости, предшествовало его использованию в качестве этнонима⁶⁸.

Здесь же относятся и изученные О. С. Томановской этнонимы типа «конго», «сунди», «лоанго» и им подобные. Все они так или иначе связаны с идеей своей принадлежности к определенному потестарному или раннеполитическому объединению; иногда такая идея опосредовалась сложными идеологическими конструкциями, связанными с сакральным характером центральной власти в этом объединении⁶⁹.

Если же говорить о социальных организациях меньшего масштаба, то едва ли не самым ярким будет пример народа йеке (байеке) на территории современных Танзании и Заира. Здесь этнонимом сделалось название охотничьего союза у одной из групп народа ньямвези — «байега» (охотники на слонов), после того как в середине прошлого века отдельные отряды охотников-ньямвези ушли далеко на запад, оторвавшись от основного этнического массива этого народа⁷⁰.

Аналогичным образом возник и этноним «яга/яка» на территории нынешних Заира и Анголы (правда, в данном случае мы имеем дело не с самоназванием); так обозначались военные отряды молодежи самого разного этнического происхождения. Этнонимом сделалось и название сходных военных отрядов у народа овимбунду в той же Анголе — имбангала⁷¹.

Однако изменения этнического сознания и самосознания отражают и постепенное изменение социальной структуры этноса. Перемены эти находят выражение в изменении роли потестарной надстройки, в ее перерождении в раннеполитическую, т. е. построенную на отношениях господства и подчинения и ориентированную на эксплуатацию сначала соседей, а позднее и соплеменников. С такой точки зрения исключительный интерес представляет наблюдение Н. Ф. Колесницкого по поводу этнического самосознания раннесредневековых (раннефеодальных) народностей на территории Германии. Это самосознание характеризовалось подчеркиванием «мнимого превосходства своего народа над другими»⁷². Сходную ситуацию рисует и З. Надель: вновь присоединенные к государству народа нупе этнические группы ненупе в 30-е годы стремились идентифицировать себя с нупе. Но последние не обнаруживали ни малейшей склонности признавать их таковыми и, следовательно, считать равными себе⁷³.

Здесь, таким образом, происходило расширение первоначальной этнодифференцирующей функции этнопотестарного сознания и самосознания. При этом принципиально изменялась его, так сказать, целевая установка: речь шла уже о том, чтобы не только отличать «своих» от «чужих», но и идеологически обосновать

вать свое право на то, чтобы этих чужаков грабить и эксплуатировать.

В других случаях подобная трансформация этнического самосознания сочетается с появлением действующего в целом в этом же направлении сознания и самосознания конфессионального. Так обстояло дело, например, в период арабских завоеваний на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Правда, этот процесс отнюдь не был гладким и непротиворечивым: можно напомнить о характере взаимоотношений между собственно арабским и иранским элементами внутри раннего халифата. Но существенно, что во всех таких случаях потестарная и политическая составляющая этнического сознания и самосознания проявлялась очень резко.

Однако в данном случае мы имеем дело уже с отделением потестарного и раннеполитического сознания и самосознания от этнического. Их полное совпадение имеет место, по-видимому, на том же самом уровне, когда этническая общность-этнокос приобретает социально-потестарные функции, т. е. опять-таки на уровне племени-эсо. Но совпадение это может просуществовать лишь ограниченное время. Позднее, особенно с началом превращения организма этнопотестарного в этнополитический, единое этнопотестарное сознание и самосознание неминуемо раздваивается, хотя сам процесс такого раздвоения может серьезно запаздывать в сравнении с реальным ходом социального и этнического развития.

Уже на уровне союза племен, социально-потестарного организма эпохи перехода к раннеклассовому обществу, лишь частично выполняющего и этнические функции, осознание принадлежности к такому союзу существует у членов входящих в него племен параллельно с сознанием своей принадлежности в этнокультурном смысле к тому или иному из племен, образующих данный союз. Притом именно это племенное по своим масштабам самосознание, вероятнее всего, было более сильным, особенно поначалу. Здесь, правда, стоило бы учитывать и еще одну форму этнического сознания и самосознания, достаточно специфичную и характерную как раз для этой эпохи,— осознание действительных или же фиктивных родственных связей, существующих между отдельными племенами. Оно не наносит ущерба главному разграничению «мы — они» и в то же время выступает и в роли дополнительного фактора этнических консолидации и дифференциации, пусть и не столь интенсивного и действенного, как сознание принадлежности к «своей» общности.

В ходе дальнейшей эволюции, по мере складывания такого типа социально-потестарной организации, как вождество, и параллельно ему возникает новый тип этнической общности — первичная народность, потестарное сознание и самосознание перерастает этнический уровень, превращаясь в осознание своей принадлежности к определенной позднепотестарной, а затем и ран-

неполитической общности, перекрывающей границы того или иного отдельно взятого эсо. При этом формирование такого раннеполитического по характеру сознания и самосознания нередко может опережать складывание этнического сознания и самосознания на новом его уровне: сначала протонародностей, а затем первичных народностей. И чаще это случается тогда, когда это раннеполитическое сознание обнаруживает тенденцию ассоциировать себя с принадлежностью к иным, например профессиональным, макроэтническим общностям.

**ТРАДИЦИОННАЯ ПОТЕСТАРНАЯ И
ПОЛИТИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И
СОВРЕМЕННОСТЬ**

Общность эпох настолько существенна, что познавательные связи между ними и впрямь обоюдны. Незнание прошлого неизбежно приводит к непониманию настоящего.

*М. Блок. Апология истории,
или Ремесло историка.*

1. Предмет настоящей главы в том виде, в каком он формулируется в ее названии, составляет, строго говоря, лишь один из аспектов более широкой проблемы, которую можно определить с известной мерой условности как результаты взаимодействия между разными потестарными или политическими культурами. Явление это ни в коем случае не новое, отчасти оно затрагивалось ранее (в гл. 2), и тогда же подчеркивалось, что в исторической реальности равноправное взаимодействие было в гораздо большей степени исключением, нежели правилом.

Необходимость специального рассмотрения указанной проблемы (точнее, круга взаимосвязанных проблем) вытекает из того, что в современной обстановке, когда на мировой арене появились и активно функционируют десятки новых государств, возникших на месте бывших колониальных владений, ход и итоги взаимодействия между традициями потестарной или политической организации, присущими народам этих государств еще с доколониальных времен, и той политической культурой, которую неизбежно привносила колонизация, становятся особенно важными для них. Если попытаться обобщенно выразить существо вопроса, то, пожалуй, оно сведется к одному слову — «интенсификация». В самом деле, можно говорить об интенсификации самих контактов; об интенсификации, т. е. в данном контексте углублении, разрыва между формационными уровнями вступавших в контакт потестарных и политических культур; об интенсификации неравенства между этими культурами; наконец, о небывалой интенсификации воздействия более сильной политической культуры на более слабые, непосредственно связанной с возможностями, которые предоставляет нынешнее состояние средств массовой коммуникации.

Надо сказать, что быстрые изменения в политической культуре свойственны вовсе не одним только молодым государствам развивающихся стран. Ведь сами по себе такие перемены обра-

зуют неотъемлемую составную часть, так сказать, глобальной проблемы—соотношения традиционного и нового в общественном развитии; и, по справедливому замечанию одного из западных исследователей, «ни в какой момент истории столько совпадающих друг с другом изменений не затрагивало столько обществ»¹. Однако определенные ранее границы предметной зоны потестарной и политической этнографии заставляют нас обратить свое внимание главным образом на развивающиеся страны.

Впрочем, само собой разумеется, вопрос о соотношении традиционного и нового в политической культуре даже только этих стран принимает разные масштабы и разные формы в зависимости от исходного уровня, с какого начиналось независимое государственное существование, т. е. в последнем-то счете от уровня социально-экономического развития той или иной страны. Действительно, едва ли кому-нибудь придет в голову «впрямую» сравнивать в этом смысле такие страны, как Индия и, скажем, Центральноафриканская Республика. И тем не менее при всех возможных и неизбежных различиях известные задачи, которые приходится решать и там и тут, в принципе, если и не по масштабам, оказываются сходными.

В генетическом плане нынешнее состояние традиционных потестарных и политических культур и их место в новых общественно-политических условиях, прежде всего в рамках новой политической культуры, выполняющей, по существу, функции национальной политической культуры (вне зависимости от того, сложилась ли уже в данных политических границах нация, как таковая, или же, как мы можем видеть в подавляющем большинстве стран, ее формирование в лучшем случае дело достаточно отдаленного будущего), восходит к взаимодействию между традиционными потестарными и политическими культурами народов, подвергавшихся колониальному завоеванию, и привносимой в завоевываемые страны политической культурой колонизатора, иными словами, к контакту между разными по своему характеру культурами в условиях колониальной ситуации и соответствующего ей колониального общества. Причем в интересующем нас сейчас смысле такой контакт стал оказывать по-настоящему существенное влияние на традиционные потестарные и политические культуры сравнительно поздно: можно утверждать, что происходило это уже тогда, когда со стороны колонизатора выступала политическая культура капиталистического общества, буржуазная политическая культура. Ведь позднефеодалная португальская или испанская колонизация, во-первых, не ставила задачи налаживания какого-то взаимодействия с потестарными или политическими культурами колонизируемых, будучи ориентирована главным образом на прямой грабеж на начальном этапе и на «прямое» управление в последующем. Во-вторых, если исключить такие зоны Нового Света, как Месоамерика или Перу, а отчасти и Бразилия, политические формы закрепления испанцев и португальцев на колонизуе-

мых землях редко ставили их перед необходимостью как-то учитывать даже объективное существование местных потестарных или политических культур, поскольку ограничивались почти повсеместно немногими торговыми факториями, выполнявшими одновременно роль военных и политических опорных пунктов. Тенденция же к установлению эффективного контроля над хинтерландом таких факторий в полной мере стала проявляться, во всяком случае в Азии и Африке, прежде всего у голландцев и британцев, т. е. представителей тех обществ, которые уже вступили на путь капиталистического развития. Наибольший же размах взаимодействию подобного рода приобрело только со второй половины XIX в., когда завершился колониальный раздел мира.

При этом хронологический приоритет в установлении такого вида контакта оставался за странами Азиатского континента, прежде всего Индией и Юго-Восточной Азией, которые на первых порах европейской колониальной экспансии служили главным объектом колонизаторских устремлений. В Новом Свете контакт практически сразу свелся к уничтожению традиционных форм потестарной и политической культуры, во всяком случае в том, что касается надобственного уровня. В то же время в Азии колониальным администраторам приходилось долгое время сосуществовать с такими традиционными формами этой культуры, и именно здесь начиналось целенаправленное включение колонизатором тех или иных форм и проявлений местных потестарных и политических культур в складывавшуюся принципиально новую по своей сущности колониальную политическую культуру, о которой пойдет речь далее. Тем не менее самый широкий спектр вариантов взаимодействия традиционной потестарной и/или политической культуры с политической культурой колонизатора в рамках возникавшего колониального общества представлен все же скорее в Тропической Африке, чем в Азии. И в то же время, если рассматривать осуществление власти и отношений властвования на собственно общинном уровне или даже ниже его (вне зависимости от того, определяется ли такая власть как политическая или как-то иначе; см. выше, гл. 1), нельзя не отметить, что современная политическая антропология на Западе довольно широко оперирует и материалами обществ Центральной и Южной Америки.

Прежде чем обратиться к рассмотрению места традиционной потестарной и политической культуры в современных развивающихся странах и той трансформации, которой она при этом подвергается, полезно будет предварительно определить объем и содержание некоторых ключевых понятий, которыми нам предстоит пользоваться в дальнейшем. Речь идет о таких понятиях, как «традиционная» потестарная и/или политическая культура (а также «традиционное» в интересующем нас контексте вообще) и колониальное общество.

Что касается первого из них, то «традиционность» рассматривается здесь отнюдь не как характеристика власти самой по

себе в качестве «чистого типа», по М. Веберу. Нас интересует только преимущественная форма передачи социальной информации в той или иной потестарной или политической культуре, причем сама эта культура понимается как некая коммуникативная система. Это относится в особенности к тем бесписьменным обществам, которые составляли большинство общественных организаций, оказывавшихся в вынужденном контакте с буржуазной политической культурой, которую представлял за пределами Европы колонизатор. В такого рода обществах передача информации осуществляется главным образом в устной форме, через мифологическую, историческую и иные формы традиции. Тем не менее не приходится отрицать, что в обществах этого типа объективно присутствуют те важнейшие черты, какими характеризуется веберовский «чистый тип» традиционного легитимного господства (*traditioneller legitimer Herrschaft*): обусловленность поведения «привычкой» к определенным его формам и личностный характер отношений между людьми во всех сферах жизни². Собственно говоря, именно это обстоятельство позволяет в принципе относить к традиционным и достаточно развитые, бесспорно классовые по своему характеру общества, в которых отправление власти строилось на мусульманском праве (в случае включения их в состав колониальных владений европейских держав). С точки зрения формационной принадлежности вполне очевидно, что понятие «традиционный» в интересующем нас контексте равнозначно понятию «докапиталистический» в широком смысле слова.

Под колониальным обществом имеется в виду специфический и, как правило, навязываемый насильственно вариант общественного развития в рамках мировой системы капиталистического хозяйства, при котором привносимые извне капиталистические отношения «накладываются» на отношения, характерные для социально-экономических структур, принадлежащих к докапиталистическим классовым, а то и вообще к доклассовой общественно-экономической формации. Естественным результатом такого «наложения» при складывавшемся в этих случаях соотношении сил сторон оказывается неизменно насильственная (в большинстве случаев и всегда объективно неизбежная) ломка докапиталистических отношений и структур и их трансформация. Более того, и сами-то привносимые капиталистические отношения чаще всего приобретают искаженный, уродливый характер, весьма непохожий на «классические» формы капиталистического развития³.

Такое общесоциологическое, если можно так выразиться, понимание колониального общества в советской науке было впервые сформулировано, насколько мне известно, Н. Б. Кочаковой в 1970 г.⁴ Практически его придерживаются все наши исследователи, что вовсе не исключает возможности более специального взгляда на понятие, когда в зависимости от задач конкретного исследования наибольший интерес представляют, скажем,

общекультурная или этническая стороны вопроса ⁵. В зарубежной науке изучение колониального общества как самостоятельного явления начиналось в 50-х годах в связи с предложенным тогда же понятием «колониальная ситуация» ⁶ и проводилось на материале народа фанг в Габоне ⁷. С тех пор понятие колониального общества, рассматриваемого по преимуществу в качестве особой социально-культурной структуры, используется довольно широко.

Именно в рамках колониального общества протекало взаимодействие докапиталистических и капиталистических социально-экономических, общественно-психологических, культурных и иных структур. Это взаимодействие затрагивало все сферы жизни общества и отличалось немалым многообразием. Тем не менее при любых вариантах отношений между колонизатором и колонизованным на переднем плане, во всяком случае в том, что касается общественного сознания, оказывалась сфера политических отношений и соответственно самым активным оказывался контакт между традиционными потестарными или политическими культурами и политической культурой «европейского образца», привносимой колонизатором. Это вполне естественно: если конечной целью колонизации в принципе всегда была препятственная экономическая эксплуатация захваченной территории, то важнейшим (а на начальных этапах колониального «освоения» — зачастую и единственным) средством обеспечить возможности такой эксплуатации были политические структуры, которые формировались в складывавшемся колониальном обществе. Хочу еще раз подчеркнуть, что в, так сказать, законченном виде все это установилось уже в эпоху колониального раздела мира между сильнейшими империалистическими державами, когда, собственно, и возникло колониальное общество как особая структура. Но отдельные проявления тенденции к приоритету политической культуры в контакте между, грубо говоря, европейцами и неевропейцами наблюдались и гораздо раньше: примерами могли бы служить и португальская политика в средневековом Конго, и деятельность британской и голландской Ост-Индских компаний соответственно в Индии и Индонезии.

Расположение традиционной потестарной и политической культуры в зоне наиболее активного контакта с привносимой культурой неизбежно влекло за собой весьма серьезные и далеко идущие последствия. Причем последствия эти касались как собственно потестарно-политической сферы, так и этнокультурных процессов, да и всего этнокультурного развития колонизируемых областей в целом. Определяющими моментами в ходе самого взаимодействия и тем более в его результатах служили, во-первых, то, что с самого начала взаимодействующие культуры были неравноправны, а во-вторых, то, что культуры эти, даже если иметь в виду со стороны колонизируемого только политические культуры, существовавшие в традиционных классовых обществах, представляли общества принципиально разных фор-

мационных уровней, иной раз трудносопоставимые друг с другом.

Неравноправие взаимодействующих политических культур, как об этом говорилось уже в гл. 2, было в целом достаточно обычным даже при контакте общественных организмов одной общественно-экономической формации. Но в условиях колониального общества неравноправие, а главное — неравенство возможностей между участниками контакта настолько усиливалось за счет разрыва между формационными уровнями, что приобретало качественно иной характер. И по мере того как колонизуемое общество превращалось в колониальное, т. е. по мере внедрения в жизнь захваченной страны капиталистических отношений, нажим на традиционные формы потестарной и политической культуры, которые и так с самого начала пребывали в состоянии оборонительном, непрерывно возрастал, насильственно вовлекая их в сферу формирующейся новой, колониальной политической культуры, о которой еще пойдет речь дальше.

Эта общая тенденция развития действовала вне зависимости от того, какая именно система колониальной администрации устанавливалась на той или иной территории Азиатского или Африканского континента или Океании — «прямая» или «непрямая»⁸. Разница могла наблюдаться лишь в темпах или в степени выявленное указанной тенденции, не изменяя ее основного смысла.

Конечно, взаимодействие докапиталистических и капиталистической политических культур происходило отнюдь не только в условиях колониального общества в строгом смысле данного понятия, т. е. не только при включении той или иной страны в состав колониальных владений какой-либо империалистической державы. В ряде случаев оно осуществлялось при сохранении формальной независимости более слабого партнера, в качестве примеров можно назвать хотя бы Турцию второй половины XIX — начала XX в., или поздний каджарский Иран, или Китай в последние десятилетия маньчжурского владычества, да отчасти и после Синхайской революции. Иными словами, речь идет о странах, которые в нашей литературе обозначаются как полукolonии. Общее направление эволюции политической культуры в этих случаях было в принципе таким же, что и в колониях, однако отличалось все же достаточно определенной спецификой, и прежде всего тем, что правящая верхушка в таких странах, пытаясь их «модернизировать» и тем укрепить свое положение и внутри страны, и в ее внешних сношениях, старалась более или менее механически включить в традиционные формы политической организации отдельные элементы «европейской», т. е. буржуазной, политической культуры. Иначе говоря, в субъективном плане пробовали приспособить привносимую политическую культуру к традиционной, тогда как в колониальном обществе дело обстояло как раз наоборот: традиционная потестарная или политическая культура вынуждена была приспособляться к

привносимой. Результаты таких попыток «модернизации» зависели в конечном счете от степени развития капиталистических отношений в заимствующей буржуазную политическую культуру стране; для подтверждения этого в общем достаточно сравнить эволюцию политической культуры в тех же Китае или Турции после первой мировой войны, с одной стороны, и Ирана при Реза-шахе и его преемнике — с другой. Более того, в последнем случае мы имеем в недавние годы достаточно убедительный пример обратимости подобного рода «модернизации» политической культуры, если традиционная, в частности мусульманская, политическая культура имеет глубокие корни в массовом сознании, а капиталистические отношения отягощены великим множеством феодальных пережитков. И наконец, совершенно особый вариант выборочного приспособления отдельных элементов буржуазной политической культуры к главным образом феодальной политической культуре (с использованием этих заимствований почти целиком вовне общества) предстает перед нами в современном мире в таких странах, как Саудовская Аравия или Объединенные Арабские Эмираты.

Именно потому, что при национально-суверенном пути капиталистической трансформации афро-азиатских обществ в отличие от пути колониально-зависимого ⁹ речь шла о приспособлении к еще докапиталистической по своей сути политической культуре элементов и форм, характерных для политической культуры капиталистической, буржуазной, мне представляется, что это приспособление оказывается вне пределов предметной зоны потестарно-политической этнографии. Действительно, при подобной модернизации мы имеем дело с переносом уже глубоко специализированных институтов, вычленимых из сферы культуры, которая и сама по себе вполне специализирована. И функционирование этих институтов в новых условиях, и их воздействие на традиционную политическую культуру, и связанные с этим изменения массового сознания именно из-за подобной специализации и ее неизбежного следствия — отделения политической культуры от традиционно-бытовой, — сколь бы медленно этот процесс ни развивался (впрочем, его замедленность вовсе не была общим правилом), входят, следовательно, скорее в зону интересов таких научных дисциплин как собственно политология или общая социология политических отношений.

Именно поэтому в последующем главное внимание будет уделяться функционированию и эволюции традиционных потестарных и политических культур в рамках колониального общества. В качестве же фактической основы и иллюстрации выдвигаемых тезисов я буду использовать главным образом материалы обществ Тропической Африки, преимущества которой как своего рода «полигона», если так можно выразиться, отмечались выше. Можно, правда, добавить: преимущества эти не ограничивались одной только шириной спектра доступных наблюдению вариантов становления и развития колониального общества: дело еще

и в том, что, несмотря на такое разнообразие, обусловленное тем, что в контакт с капиталистическим обществом и его политической культурой вступали здесь общественные организмы самых разных стадийных уровней — от маргинальных групп охотников и собирателей до сравнительно высокоразвитых феодальных обществ — характерные черты такого взаимодействия качественно разных политических культур в своем существовании оказывались практически едиными на всей территории региона.

Прежде чем говорить о тех или иных качественных изменениях традиционной потестарной или политической культуры в результате ее развития в условиях колониального общества и соответственно о том, какое место эта культура заняла в принципе новой — постколониальной — политической культуре наших дней, целесообразно задержаться на том, что Ж. Баланье определял как «непосредственные политические следствия колониальной ситуации». Таких следствий французский исследователь насчитывает пять¹⁰.

Прежде всего, искажение характера традиционных потестарных и политических образований. За редкими исключениями, колониальные границы не совпадали с традиционными рамками этих образований. Достаточно болезненное само по себе, такое искажение оказывается чревато очень непростыми проблемами для правительств молодых государств, возникших после распада колониальной системы. К этому можно заметить еще и то, что одним из таких последствий оказывается затрудненное формирование постколониальной политической культуры, призванной играть роль национальной.

Другим «непосредственным следствием» столкновения с капиталистической политической культурой в ее колониальных формах стала двойственная политическая структура, при которой традиционные формы потестарной или политической организации, лишаемые колонизатором их места в жизни соответствующего народа, превращались как бы в подпольную параллельную политическую организацию. При этом, подчеркивает Ж. Баланье, «колонизированный использует с немалой ловкостью культурный разрыв, который его отделяет от колонизатора»¹¹. Характерно притом, что такое параллельное существование могло принимать внешний облик либо вполне невинного, с точки зрения колониальной администрации, традиционализма или неотрадиционализма, не имеющего на первый взгляд политического оттенка, либо разного рода религиозных (скажем точнее, афрохристианских) течений.

Далее, столкновение с колониальной действительностью приводило к разрушению традиционных систем ограничения и контроля власти правителя. И это особенно проявлялось в тех случаях, когда внешние формы этой власти в той или иной мере сохранялись (как то бывало при системе «непрямого» колониального управления).

Еще одним непосредственным результатом контакта Ж. Ба-

ландье считает несовместимость двух систем власти и авторитета, которые возникают в колониальном обществе. В принципе такая несовместимость близка к постулируемому М. Вебером различию между традиционной и бюрократической властью. Баландье не солидаризуется «впрямую» с веберовским истолкованием различия между традиционной властью и формами власти, насаждавшимися колониальной администрацией, однако признает, что у него есть определенные объективные основания, в частности «безличный» характер власти этой последней.

И наконец, происходит несомненная десакрализация власти, притом независимо от того, насколько сильно сакральный момент был выражен в власти традиционной. Сфера политики в условиях сосуществования двух форм власти (точнее было бы, видимо, сказать — двух политических культур или потестарной и политической) неизбежно приобретала все более светский характер в том смысле, что сакральные основы традиционной власти подрывались во все возрастающей степени. И еще легче происходило утверждение такой светской по характеру власти в тех случаях, когда колонизатор имел дело с обществами без централизованной системы власти (т. е., по нашей терминологии, потестарными), которые, как подчеркивает Ж. Баландье, «более проницаемы для бюрократизации»¹².

Изложенная выше концепция во многом справедливо отражает политические и социокультурные реальности колониальных обществ. Существенно то, что она построена, хотя сам исследователь не говорит об этом, на фактическом признании противоположности потестарных и политических культур, вступающих во взаимодействие. Конечно, и сами взгляды Ж. Баландье могут быть расширены с учетом наблюдений других ученых, и некоторые из отмеченных им закономерностей претерпевают довольно существенные изменения в процессе построения постколониальной политической культуры на базе той, которая складывалась в рамках колониального общества.

Последнее обстоятельство заслуживает, на мой взгляд, особого внимания. Речь идет о том, что во вновь создаваемой политической культуре освободившихся стран параллельно закреплению немалого числа элементов, заимствуемых из буржуазной политической культуры еще в колониальный период (это естественно, коль скоро постколониальная политическая культура есть в определенном смысле развитие колониальной), происходит ре-актуализация многих важных элементов и традиций докапиталистической традиционной политической культуры, как правило имеющих заметную этническую окраску. Вместе с тем в таких традициях вполне определенно просматривается и некий общий для разных этнически специфичных культур и, следовательно, стадийно обусловленный фон, например, в склонности к установлению в ряде развивающихся государств харизматической по своему характеру власти верховного правителя (хотя такой правитель практически всегда носит титул президента, но не мо -

нарха). Кстати сказать, в этом, да и в развитии националистической идеологии в этих странах проявляется та же самая — на первый взгляд парадоксальная — закономерность, что и в период национально-освободительной борьбы. Даже сугубо традиционные взгляды, ценности, представления выражаются теперь в категориях, заимствованных из идеологии и политической культуры индустриально развитых стран. Чаще речь идет о заимствованиях, восходящих к буржуазно-демократическим политическим культурам, хотя по мере возрастания числа стран, избравших социалистическую ориентацию (так это было, скажем, в Гвинее при Секу Туре или в Гане в правление Кваме Нкрумы), заимствоваться могли и категориальный аппарат, и отдельные термины социалистической политической культуры. Понятно, в таких случаях соотношение декларируемого и реально наблюдаемого социалистического элемента — вопрос совершенно особый.

2. С учетом всего сказанного перейдем к рассмотрению конкретных форм функционирования традиционной потестарной и политической культуры сначала в колониальном, а затем и в постколониальном обществе. Замечу при этом, что, коль скоро предметом нашего рассмотрения будет именно потестарная или политическая культура, сугубое внимание будет обращено как раз на те сюжеты, которые касаются прежде всего принципиальной разницы, существовавшей (а отчасти и сейчас сохраняющейся) между традиционной культурой и той, что привносилась в традиционное, т. е. докапиталистическое, общество в процессе контакта с колонизатором.

Формационно разные, эти культуры в колониальном обществе были не только и не просто различны по уровню своего развития. Можно с полным основанием утверждать, что важнейшие характеристики традиционной потестарной или политической культуры оказывались не только не совпадающими с аналогичными характеристиками политической культуры колонизатора, буржуазной политической культуры, но во многих отношениях по своей направленности и диаметрально ей противоположными. Обнаруживалось это и в объективной, и в субъективной сфере культуры. Вполне естественно, те организационные формы, в каких реализовались отношения власти и властвования в традиционном обществе, непременно должны были далеко расходиться с такими формами в политической культуре колонизатора; залогом этого был уже сам по себе разрыв хотя бы в материально-техническом уровне взаимодействовавших культур. Так оно и было, но тем не менее куда более существенную роль играла разница между субъективными сферами политических культур (употребляю это определение краткости ради, ни в коей мере не забывая того, что со стороны колонизованного могла выступать также и потестарная культура). Истоки этой разницы коренились в специфике традиционной культуры в целом.

В самом деле, традиционная потестарная или политическая

культура, будучи органической составной частью докапиталистической культуры вообще, не может сколько-нибудь существенно от нее отличаться. Соответственно для нее характерна прежде всего этническая дробность; такая культура обслуживает как общее и более или менее неизменное правило относительно немногочисленные человеческие коллективы. Этим определяются и другие важные черты традиционной политической (и тем более потестарной) культуры. С одной стороны, она отражает сравнительно ограниченный круг социального опыта, т. е. опыт именно данного коллектива. С другой же стороны, традиционная культура в целом, в том числе и ее потестарная или политическая составляющая, оказывается этнически замкнута; она есть, особенно в том, что касается как раз потестарной и политической стороны дела, именно этническая культура, ориентированная, во всяком случае с точки зрения ее носителей, преимущественно автаркически. Иначе говоря, всякий контакт с какой-то другой культурой воспринимается при таких социально-психологических установках как нечто вынужденное, скорее как неизбежное зло, нежели явление полезное. Осмысление возможностей, которые предоставляет контакт, а тем более заимствование отдельных элементов другой культуры в психологическом смысле вторичны.

С этническим характером традиционной потестарной и политической культуры непосредственно связана и такая ее особенность, как циклический характер представлений о времени, в интересующем нас контексте о времени в процессах осуществления власти и властных отношений. Цикличность времени, вообще характерная для традиционных афро-азиатских и океанийских культур, в данной сфере особенно выявлена; ведь речь идет не об эволюции, а о непрерывном воспроизводстве, воссоздании некоего изначального состояния, о сохранении в целостном виде, некогда заданном предками (или богами, что не меняет существа дела, можно говорить только о большей или меньшей выраженности сакрального момента), отношений власти и властвования и связанных с ними соответствующих форм деятельности. И именно поэтому традиционная потестарная или политическая культура в целом мало восприимчива к инновациям. Те же инновации, которые все же вводятся (без этого так или иначе не обойтись в реальной социальной практике), обычно стараются подать в виде развития или частного случая традиционной нормы. Иными словами, обнаруживается тенденция привести изменения к той их разновидности, которую Ф. Бейли определил как «повторяющееся изменение» (*repetitive change*), придать им циклический характер, с тем чтобы в конечном счете еще более укрепить прежнее состояние дел. Простейший случай развития по этой модели — периодическая смена правителей в том или ином обществе. И ритуализованный конфликт, рассматривавшийся ранее в связи с идеологическим обоснованием власти, в данном случае как раз и оказывается одним из средств

укрепления такой цикличности потестарного или политического времени, даже если он и не связан с приходом к власти нового правителя, а представляет регулярно повторяющуюся церемонию типа все той же *инчвала* у свази.

Весьма существенно и то, что в традиционной культуре в лучшем случае только начиналась специализация отдельных ее сфер. Потестарная и даже феодальная политическая культура в большинстве обществ, оказавшихся в пределах тех или иных колониальных владений, еще не выделилась в относительно самостоятельную часть культуры в целом. Притом такое отсутствие специализации или, во всяком случае, слабое ее развитие обнаруживаются как в отношении культуры вообще, так и на уровне собственно потестарной и политической культуры. И это в значительной мере определяет само содержание последней, выражаясь и в ее объективных, институциональных элементах, и в субъективной сфере, т. е. в формах массового потестарного или политического сознания и самосознания.

Прежде всего — и это непосредственно следует из только что сказанного — потестарная и политическая культура традиционного — доколониального и докапиталистического — общества (что относится в принципе и к сравнительно высокоразвитым политическим культурам исламизированных социальных организмов, например в Западном или Центральном Судане) неизбежно оказывается синкретичной. Это проще всего увидеть на примере массового потестарного или политического сознания, представляющего, по сути дела, как бы концентрированное выражение субъективного момента соответствующей потестарной или политической культуры. Такое сознание и самосознание включает как мифологические представления данной общности, так и опыт собственно потестарной и/или политической деятельности, которой приходилось заниматься раньше и проводимой в настоящий момент ее членами; как элементы этнического сознания и самосознания, так и религиозные верования и многое другое. Таким образом, с одной стороны, потестарное и политическое сознание, или, иными словами, отношение массы членов общества к власти и ее отправлению и функционированию, есть совокупность и не просто совокупность, но система, включающая миф, религию, ритуал, потестарно-политический опыт, как таковой, притом система, закрепленная длительной традицией. Поэтому и символика традиционной потестарной и политической культуры бывает, как правило, намного более емкой и универсальной, чем символика буржуазной политической культуры, которую приносил с собой колонизатор, символика, делавшаяся неотъемлемой составной частью деятельности колониальной администрации.

С другой стороны, традиционную потестарно-политическую культуру неизменно отличает такая черта, как почти полное совпадение потестарно-политического сознания и самосознания с этническим. Она логически вытекает из отмечавшейся выше эт-

нической дробности, свойственной традиционной культуре. В потестарном и политической сознании обе эти черты сопровождает представление о потестарной или политической структуре данного общества как о главнейшем средстве социальной интеграции вообще, к тому же представление это в доклассовых обществах часто, а в раннеклассовых практически всегда «подкрепляется» сакрализацией самой власти, оформляющих ее структур, а главное — ее верховного носителя. Помимо того что он рассматривается в качестве символа единства и благополучия всего общества, о чем уже была речь ранее, в нем обычно концентрируются представления массы рядовых членов общества как о силе, способной их защитить от малопонятных и очень часто просто враждебных внешних обстоятельств (среди последних одно из первых мест занимало именно появление колонизаторов). Собственно говоря, если иметь в виду различие между «теоретическим» обоснованием «прямой» и «непрямой» систем колониального управления, то оно в значительной мере вращалось вокруг того, как отнестись именно к этой черте традиционной потестарной и политической культуры: использовать в своих интересах или рассматривать в качестве угрозы для новой администрации и устранить? Хотя, конечно, в такой откровенной форме вопрос и не ставился.

Если принять во внимание эти характерные черты традиционной потестарной и политической культуры, высказанное выше мнение о диаметральной противоположности ряда сторон последней политической культуре капиталистического общества, во всяком случае ее буржуазно-демократическим формам, окажется достаточно убедительным.

В самом деле, буржуазная политическая культура, противостоящая в колониях традиционной, отличается универсализмом, массовостью и практически полным подчинением своего этнокультурного аспекта классово антагонистическому характеру общественного строя. Именно это обстоятельство и было определяющим во всей системе взаимоотношений традиционной и привносимой извне культур. Конечно, многие элементы политической культуры капиталистического общества видоизменялись в колониальных условиях, прежде всего заметно «сокращались» и ограничивались содержащиеся в ней черты буржуазной демократии. Но классовый характер буржуазной политической культуры оставался незыблем и, более того, выявлялся особенно ясно и откровенно.

Это условие с самого начала было и неизменно оставалось в последнем счете решающим. Оно предопределяло, какие формы принимало взаимодействие традиционной потестарно-политической культуры с политической культурой колонизатора в социальной практике колониального общества и к каким конкретным результатам оно приводило. Вместе с тем немаловажное место занимали в этом и структурно-функциональные особенности буржуазной политической культуры, в частности то, что она с

самого начала специализирована на обслуживании очень определенной области общественных отношений. В этом также кроется ее принципиальное отличие от традиционной потестарной и политической культуры.

Выше говорилось о том, что символика традиционной культуры емче и универсальнее, нежели символика буржуазной политической культуры. Это логически следует как раз из специализированного характера последней, из того, что специализация ее зашла уже достаточно далеко. Несомненно, в буржуазной политической культуре присутствуют и этнический момент, и ритуал, и даже мифология (в этом смысле принципиальных отличий не наблюдается). Они возникают из-за того, что все эти элементы в буржуазной политической культуре функционально резко ослаблены по сравнению с традиционной потестарной и политической культурой. Решающая же роль принадлежит, причем безраздельно, необходимости обеспечить средствами власти вполне определенную классовую, эксплуататорскую структуру общественного организма. И именно поэтому буржуазная политическая культура колонизатора в любом колониальном обществе в общем оказывалась как бы этнически нейтральна по отношению к коренному населению. Она, конечно же, несла в себе и этническое значение, но этническое в данном случае разграничивалось не столько даже по собственно этнической, сколько скорее по расовой линии, т. е. «европеец—африканец, азиат, меланезиец и т. п.». А что касается неевропейцев, то этнические различия между ними и их культурами в принципе мало занимали колониальных администраторов, если только такие различия не использовались для облегчения управления новыми подданными по принципу «разделяй и властвуй».

Как уже говорилось, формационный разрыв между взаимодействовавшими в колониальном обществе культурами усугублял изначальное неравенство между этими культурами в процессе контакта. И поэтому понятно, влияние политической культуры колонизатора в таком контакте решительно преобладала. В принципе можно достаточно уверенно утверждать, что изменению подверглась традиционная потестарная и политическая культура колонизованных под влиянием политической культуры колонизатора, тогда как обратного воздействия, в сущности, не наблюдалось. При этом такое изменение происходило, несколькими путями. На первом месте, естественно, оказывалось прямое заимствование, причем тенденция к нему заметно усиливалась по мере активизации национально-освободительной борьбы вплоть до завоевания политической независимости. Только позднее, когда нормы буржуазной политической культуры стали во все возрастающей степени обнаруживать свою малую эффективность в условиях только что освободившихся африканских и некоторых азиатских стран (в последнем смысле очень характерна Индонезия в период пребывания у власти президента Сукарно), начались лихорадочные поиски «аутентично африкан-

ских» или «аутентично азиатских» форм политической культуры, к чему нам еще предстоит вернуться. Тем не менее заимствование и сейчас, видимо, остается преобладающим путем трансформации традиционной (а в последние полтора-два десятилетия — уже складывающейся постколониальной) политической культуры в развивающихся странах Африки и Азии.

Вместе с тем не приходится отрицать, что определенную роль в преобразовании традиционной потестарно-политической культуры могла и должна была играть та форма внедрения инноваций, которую С. А. Арутюнов обозначает как стимулированную трансформацию («внутренняя трансформация культуры, которая происходит под косвенным воздействием внешних импульсов, но не имеет характера прямого заимствования»¹⁴). Если сам С. А. Арутюнов в качестве примера стимулированной трансформации приводит хорошо известную ситуацию складывания «вторичных» племен под давлением классовых общественных организмов, то в интересующей нас сфере таким примером могло бы послужить формирование сильных военных держав, таких, как Ойо или Дагмея, под влиянием стремительно расширявшейся европейской работоторговли на гвинейском побережье.

И все же в условиях контакта политических культур в колониальном обществе роль стимулированной трансформации оказывалась куда менее значительной, чем, с одной стороны, прямого заимствования (коль скоро колониальная действительность редко предоставляла время и возможности для нормального действия механизма этой формы внедрения инноваций), а с другой — того процесса, который Ф. Бейли называет «манипулируемым изменением»¹⁵. Под этим выражением исследователь имеет в виду изменения потестарной или политической структуры как следствие серии целенаправленных предварительных шагов, предпринимаемых внешней по отношению к претерпевающему изменению обществу силой. Ситуация «манипулируемого изменения» рассмотрена Ф. Бейли на материале дравидоязычных кхондов (кандхи), населяющих лесистые горные районы современного индийского штата Орисса, точнее, на примере их взаимоотношений с британской, а затем национальной индийской администрацией. По-видимому, не менее характерным образцом такого пути трансформации политической культуры колонизованных могла бы служить, по существу, вся британская политика «непрямого» управления в бывших британских владениях в Африке, в таких странах, как Нигерия, Уганда или Золотой Берег (нынешняя Гана). Впрочем, столь же характерно и то, что политика колониальной администрации вызывала отнюдь не одни только те последствия, на которые рассчитывал колонизатор. К этой стороне дела нам еще предстоит вернуться, пока же было бы, по-видимому, целесообразно попробовать рассмотреть то, как происходила трансформация традиционной потестарной политической культуры в колониальном обществе и как складывались предпосылки формирования качественно новой колони-

альной политической культуры, на базе которой в дальнейшем предстояло возникнуть политической культуре постколониальной.

3. Прodelать это удобнее всего с помощью таких категорий, как передача социальной и культурной информации и традиция, в которой эта информация фиксируется. Обратимся к уже упоминавшейся ранее модифицированной модели С. А. Арутюнова и Н. Н. Чебоксарова и соответственно к движению информации в историко-культурном пространстве.¹⁶

В соответствии с этой моделью потестарная или политическая культура вместе со свойственными ей традициями может рассматриваться в виде сочетания неограниченного в принципе (из-за возможности их построения по любому критерию) числа синхронных и диахронных информационных сетей, а также проекций информационных пучков, представляющих традицию, на синхронных, горизонтальных плоскостях, отстоящих на разных расстояниях от исходной точки формирования традиции. При этом традиция понимается как некая совокупность информационных связей, имеющая не только временное, но и пространственное распространение. Иначе говоря, всякая культурная традиция — и традиции потестарной и политической культуры не составляют исключения — существует на какой-то территории, в определенном ареале. Исходя из всего сказанного, попытаемся представить себе, каким образом проявляется в таком историко-культурном пространстве взаимодействие традиционной потестарной или политической культуры и той, буржуазной, которую привносила в ту или иную страну Африки, Азии или Океании колонизация.

Вспомним первое из упоминаемых Ж. Баландые «непосредственных следствий» колониальной ситуации — искажение характера традиционных потестарных и политических образований. Речь идет, собственно, о более широкой проблеме: пренебрежение колонизатора границами этнических территорий при захвате того или иного колониального владения вело к тому, что в одних случаях целостные этнические общности с присущей им этнически окрашенной потестарной или политической культурой и организацией могли оказаться разрезаны колониальными границами, а в других в состав колонии бывали включены ареалы соответствующих культур нескольких народов. Впрочем, чаще всего в границах одного и того же колониального владения присутствовали оба эти варианта. И, таким образом, структура политико-административного деления, вводимого при колонизации, была одновременно и шире и уже привычных для коренного населения границ, которые, в свою очередь, в основном совпадали с границами ареалов традиционных этнических потестарных и политических культур. Все эти культуры оказывались в зоне действия этнически нейтральной политической культуры колонизатора, для которой этнический аспект дела значим был, как уже сказано, лишь на уровне разграничения «колониза-

тор — колонизируемый». И такой «неэтнической» она была на всей территории колонии, обладая в целом одинаковой плотностью информационных связей по этому критерию.

В итоге этнически специфичные потестарные и политические культуры тех или иных народов включались в состав гораздо более широких систем: во-первых, синхронной системы информационных связей, во-вторых, колониальной территории, на которой действовала последняя. Информационный пучок политической культуры колонизатора охватывал соответствующие пучки традиционных культур, а в горизонтальной — временной и территориальной — проекции информационной «пятно» буржуазной политической культуры (понятно, в ее ограниченном колониальном варианте), с одной стороны, занимало всю площадь данной колонии, а с другой — в него оказывались вкраплены «пятна»-проекции информационных пучков традиционных "потестарных и политических культур.

Если информационная плотность буржуазной политической культуры на всей территории колонии была примерно одинаковой, то для традиционных культур дело обстоит иначе. Их проекции имели различную плотность в зависимости от расстояния между той или иной их точкой и центром «пятна». И в прямое взаимодействие с политической культурой колонизатора вступали прежде всего периферийные зоны «пятна», центральная же его часть оказывалась в общем мало затронута контактом. Более того, чем дальше, тем больше прослеживалась тенденция максимально их от этого контакта оградить. В этом сказывалась разная реакция синхронной и диахронией составляющих информационной сети на контакт.

Собственно традиции потестарной и политической культуры, т. е. информационный пучок сам по себе, обнаруживают значительную устойчивость. В начальный период антиколониального сопротивления, которое носило чаще всего вооруженный характер, как раз традиционная потестарно-политическая культура выступала в функции одной из основ борьбы против европейской экспансии. А после колонизации именно эта культура во многих случаях сделалась едва ли не главным гарантом сохранения этнического самосознания колонизованных. Причем сознание принадлежности к определенной потестарной или политической общности упорно сохранялось даже и в тех случаях, когда эти общности, с точки зрения колониальной администрации, давно прекратили свое существование. В качестве примера можно указать хотя бы на описанных М. Салинзом фиджийцев о-ва Моала: в разных частях острова они не просто хранят память о некогда существовавших здесь потестарных единицах, но и само-то традиционное деление территории острова (не административное!) строится именно на этих единицах¹⁷. Традиции потестарно-политической культуры продолжают ограничивать народ от его соседей, оказавшихся в пределах тех же колониальных территорий, и, конечно же, от колонизатора.

В данном случае особенно важно строго разграничивать объективный и субъективный аспекты потестарной и политической культуры. Традиция ставила определенный и не столь уж редко труднопреодолимый барьер на пути складывания новой политической культуры колониального общества — колониальной политической культуры. И этот барьер был особенно высок в субъективном плане: осознание массой населения колоний своей включенности в такую новую культуру происходило, как правило, очень поздно. В этом смысле политическая деятельность и теоретические взгляды англоязычной интеллигенции Золотого Берега, Сьерра-Леоне и отчасти юго-западных районов современной Нигерии в последней трети прошлого века и в первые годы нынешнего были редким исключением¹⁸. В то же время объективно, в структурно-функциональном плане, все традиционные потестарные и политические культуры волей-неволей становились составными элементами новой политической культуры колониального общества.

Таким образом, реальное существование относительной изолированности субъективной сферы взаимодействовавших политических культур и сохранение той или иной степени такой изолированности на всем протяжении колониальной эпохи были фактом. Хотя, конечно, в целом было бы неверно представлять себе колониальное общество в виде двух совершенно друг от друга отделенных структур, и в таком смысле можно согласиться с критикой сугубо «дуалистического» подхода к нему¹⁹. Но как бы то ни было, остается несомненным, что изменения в коммуникативной сети традиционных потестарных и политических культур протекали неравномерно: в вертикальном направлении, т. е. в том, что касалось функционирования и сохранения традиции, они оказывались малоизмеримы по темпам и интенсивности с теми, которые под воздействием самого фактора включения их ареалов в более обширную территорию колонии происходили в горизонтальном.

Впрочем, с точки зрения конкретной истории того или иного колониального владения истоки большей устойчивости традиции, как таковой, могли быть разными. Они во многом зависели от того, насколько энергично эта колония вовлекалась в систему мирового капиталистического хозяйства. При резком ускорении темпов социально-экономического развития осуществлялось быстрое растяжение информационного пучка традиции по вертикали. При этом неизбежно какая-то часть связей обрывалась, и общая плотность их в синхронно-территориальной проекции оказывалась пониженной. Но это вызывало со стороны националистически настроенных кругов — а их численность увеличилась за счет формировавшейся новой, получившей то или иное современное образование интеллигенции — попытки укрепить, а то и вообще «возродить» традицию. Такая деятельность могла идти двумя путями. Можно было попытаться обосновать свои представления о традиции «подменной» ее действительной осно-

вы: такой основой провозглашается гораздо более позднее, чем это было на самом деле, синхронное сечение информационного пучка, и это «подмененное» сечение со временем приобретает в массовом сознании статус вполне аутентичной исходной точки традиции. Либо можно было, исходя из конкретных потребностей политической жизни или антиколониальной борьбы, построить то, что можно было бы с известной долей условности определить как «ложную традицию»: «восстановить» восходящий информационный пучок, не имеющий на самом деле реальной исходной точки в прошлом, и создать для него воображаемый более ранний синхронный образ. Тем любопытнее, что оба эти пути могли использоваться для обоснования одного и того же факта или явления политической жизни в целом и политической культуры в частности. Очень убедительным примером могут служить в данном случае различные обоснования необходимости харизматической власти в развивающихся странах Азии и Африки²⁰. Правда, обоснования эти принадлежат уже постколониальной политической культуре, но зарождались подобные традиции в идеологии еще в пору национально-освободительной борьбы с колонизаторами.

В случае, когда колониальное завоевание резко тормозило, а то и отбрасывало назад развитие колонизируемого общества, ситуация в информационной сети культуры оказывалась иной. Информационный пучок культурной традиции как бы сплющивался, но связи в нем не разрывались, а площадь синхронного сечения оставалась практически неизменной, т. е. социальный смысл традиции, передаваемой данным пучком, не «размывался». Иными словами, обнаруживалась тенденция к стабилизации, а то и стагнации традиции. В этих случаях достаточно типичным было стремление колонизованных, насколько это была возможно, исключить из практики вмешательство внешних сил, т. е., конечно, прежде всего колониальной администрации, во внутренние дела коллектива. Подобные субъективные установки, в свою очередь, обнаруживают немалую живучесть, причем не столь уж редко, и в постколониальной политической культуре. Так, скажем, Ф. Бейли рассказывает о попытке низших каст в одной из населенных ория деревень индийского штата Орисса вовлечь в конце 50-х годов государственную власть в свою борьбу за равноправие с высшими кастами в общинной жизни. Очень характерно, что наибольшее возмущение вызвали в этом случае не столько сами по себе претензии низших каст, сколько именно их обращение за помощью к администрации: оно было воспринято как грубейшее нарушение традиции решать вопросы внутриобщинной жизни без вмешательства властей²¹.

Несмотря на то что синхронные и диахронные связи в информационной сети культуры (и, шире, в историко-культурном пространстве) традиционных обществ при их включении в общество колониальное действовали разнонаправленно, в обоих случаях наблюдался положительный момент. Расширение сети отражало

тенденцию к ликвидации локальной замкнутости, характерной для традиционных обществ, к включению их в значительно более широкую систему отношений и контактов. Стабилизация же диахронных связей и традиции в целом выступала в качестве одного из самых эффективных средств сохранения индивидуальности колонизованного и его способности сопротивляться колониальному режиму (хотя, конечно, и затрудняла ликвидацию замкнутости традиционного общества).

Несовместимость систем власти и авторитета, о которой говорил Ж. Баландьё как о еще одном непосредственном следствии колониальной ситуации, по сути дела, означала, что массовое политическое (и потестарное) сознание и самосознание в традиционном обществе, становившемся частью общества колониального, утрачивало присущую ему определенную уравновешенность. И это в полной мере обнаруживалось во вновь складывавшемся, теперь уже «колониальном» политическом сознании и самосознании. Причем колониальным оно было и в чисто формальном смысле, возникая в странах, превращенных в колонии, и по своей социальной сущности представляя «наложение» отдельных элементов буржуазной политической культуры на субъективные моменты культуры традиционной (в результате чего подвергались искажению и те и другие), т. е. по аналогии с понятием «колониальное общество».

Такое сознание и самосознание было с самого начала многослойным. Объяснялось это, естественно, тем, что человек традиционного африканского, азиатского или океанийского общества, превратившийся в колониального «подданного», по необходимости был вынужден выступать в своей деятельности в нескольких ипостасях, сталкиваясь помимо привычной для него власти еще и с чуждой и непонятной ему колониальной администрацией. И уж тем более многоликим приходилось и приходится быть тому, кто выступает в роли политического деятеля на стыке традиционного общества и общества колониального, а впоследствии и постколониального, в которое этот традиционный общественный организм включен²². Конечно, в принципе сама по себе множественность социальных ролей, в которых выступает индивид, не представляет чего-либо неожиданного для человека традиционного общества²³. Но в колониальном политическом сознании и самосознании на самой поверхности лежала реальность сугубо классового по своему смыслу разделения на европейцев и неевропейцев, хотя внешне это разделение и выглядело чисто этнорасовым. И этот момент принципиально меняет весь смысл множественности ролей для члена колониального общества, принадлежавшего к коренному населению и вынужденного иметь дело непосредственно с европейской общиной, прежде всего, конечно, в лице колониальной администрации.

Что же касается массы коренного населения, то она сохраняла ориентированность на привычные поведенческие и ценностные стереотипы, складывавшиеся еще в доколониальное вре-

мя. Здесь, видимо, стоит сказать, что восприятие любых инноваций, и в первую очередь в политической сфере, в колониальном обществе шло по разному пути на этном и эмном уровнях⁴. В первом случае новое усваивалось в общем достаточно быстро и легко: члены общества, которым приходилось действовать в обстановке контакта с непривычными, качественно новыми формами политической культуры и явлениями политической жизни, сравнительно легко овладевали определенным ограниченным набором новых «правил игры». Но на эмном уровне новое усваивалось с куда большим трудом, что само по себе вполне естественно: в конечном счете этнокультурная специфичность той или иной человеческой общности фиксируется именно на эмном, т. е., упрощенно говоря, содержательном уровне осмысления. По этому-то под очень тонкой коркой таких более или менее современных представлений о «правилах игры» (именно так и воспринимались в этом случае новые нормы политического поведения) оставался практически этими новшествами не затронутый мощный (и, как правило, нерасчлененный) слой характерных для традиционной культуры ценностей, мотиваций, ролевых ожиданий и поведенческих стереотипов. Притом такое положение отнюдь не заканчивается с достижением политической независимости: оно сохраняется и в политической жизни молодых государств, вырастающих в границах бывших колоний.

Такое усвоение «правил игры» при сохранении чисто традиционного субстрата в политическом сознании и самосознании предопределило одну из важнейших черт складывавшегося колониального политического сознания и самосознания — его двойственность. Собственно говоря, она отражала маргинальность ситуации, притом маргинальность двоякую. Для массы коренного населения, в особенности для крестьян глубинных районов колоний, маргинальным был сам непосредственный контакт с представителями колониальной администрации. Соответственно к минимуму сводилась и возможность такого контакта между политической культурой колонизатора и традиционной потестарной или политической культурой (естественно, что речь в данном случае не идет о переселенческих колониях). Для повседневной практики внутри данной этнической, точнее, этнокультурной общности вполне действенными оставались нормы традиционной потестарной или политической культуры.

Иной тип маргинальности представляло положение той многочисленной прослойки коренных жителей, которую колониальной администрации в своих же собственных интересах приходилось в той или иной мере «допускать» к европейскому образованию. Они оказывались маргинальными по отношению ко всему колониальному обществу, оторвавшись от соплеменников и, как правило, не будучи приняты «на равных» европейской общиной. Конечно, двойственность была свойственна всему сознанию этой общественной категории; она вызвала к жизни обширную исследовательскую и художественную литературу. Нас

занимает в этой связи лишь то обстоятельство, что в таком двойственном общественном сознании сознание и самосознание политическое было едва ли не самой важной составной частью. Если говорить об Африке, где это явление было выражено, пожалуй, с наибольшей определенностью, то именно вокруг такого, двойственного политического сознания и самосознания строились все попытки отыскания «африканской личности» — от Э. У. Блайдена и до создателей теории негритюда в ее варианте-30—40-х годов. Выше упоминалась англоязычная западноафриканская интеллигенция последней трети прошлого века как редкий пример осознания своей принадлежности именно к колониальной политической культуре. Однако стоит, видимо, задуматься над тем, не была ли такая позиция, в том числе и открытое признание цивилизаторской роли колонизации, у того же, скажем, епископа С. Кроутера неосознанной попыткой вырваться из «заколдованного круга» такой мучительной для африканского интеллигента двойственности. Бесспорно, конечно, что в культурном национализме, каким он сложился в африканских владениях европейских империалистических держав, речь шла в первую очередь о культурной самоидентификации африканца. Так обстояло дело с субъективной точки зрения. Но в плане объективном вопрос о культурной самоидентификации с самого начала неизбежно упирался в необходимость самоидентификации политической, иначе говоря, в «снятие» все той же двойственности политического сознания и самосознания.

Немаловажным фактором, способствовавшим формированию и сохранению такой двойственности, служил типичный для складывавшейся колониальной политической культуры отрыв власти от ее этнической основы. Мне приходилось в свое время расматривать эту проблему на примере африканских колониальных обществ²⁵, поэтому сейчас едва ли целесообразно задерживаться на ней подробно еще раз. Замечу только, что эта же черта колониальной политической культуры стимулировала и стремление упорно придерживаться вне рамок контактов с колонизатором привычных форм организации власти и властвования. Игнорируя в массовом потестарном и политическом сознании роль своего рода противовеса этнически чуждой, даже в определенном смысле «антиэтнической» колониальной власти, эти привычные формы выступали одновременно в качестве одного из главных условий и факторов сохранения этничности — этнического облика культуры колонизованного, его этнического сознания и самосознания. Иными словами, традиционная потестарная и политическая культура в своей субъективной части, существуя параллельно с буржуазной политической культурой колонизатора и в определенной степени независимо от нее (даже в тех случаях, когда объективная, институциональная составляющая традиционной культуры подвергалась сознательному разрушению при колонизации), на новом витке истории опять становилась, средством сохранения и стабилизации этноса, на сей раз уже

сформировавшегося, а не пребывающего в процессе становления²⁶, и, понятно, делала это со всеми из этого вытекающими следствиями социально-политического характера, в первую очередь обеспечивая определенную базу психологического сопротивления колонизации. Не приходится отрицать, что на этапах национально-освободительной борьбы, предшествовавших окончанию второй мировой войны, такое функционирование традиционной потестарной и политической культуры было, во-первых, неизбежным, а во-вторых, объективно прогрессивным явлением.

Разумеется, прогрессивный характер этого явления вовсе не «был абсолютным». Исползовать традиционную потестарно-политическую культуру, продуманно и целенаправленно стабилизируя и видоизменяя ее, нередко стремилась и администрация. Естественно, что попытки такого рода стабилизации относились в первую очередь к консервативным элементам культуры, именно так старались действовать британские власти в условиях «непрямого» колониального управления. Но, как уже было сказано, результаты этой политики вовсе не ограничивались теми, которых желала добиться администрация. Более того, в долгосрочном плане «побочные» результаты подрывали сами основы политики «непрямого» управления. Скажем, с одной стороны, расширение полномочий одних правителей за счет других (которые нередко просто устранялись с политической арены как главы определенных потестарно-политических единиц) в конечном счете вело к подрыву этнической основы власти признанного администрацией правителя во вновь подчиняемых ему районах.

Но, с другой стороны, это же расширение территории отдельных владений способствовало разрушению локальной замкнутости отдельных потестарных или политических общностей, создавая предпосылки для осознания колонизованными своего единства в более отдаленном будущем. Фактическое снятие ограничений власти правителя, характерных для традиционной культуры и в целом остававшихся более или менее действенными, превращение традиционного правителя в автократа по отношению к подданным разрушали идеологическую базу традиционной власти, подрывая ее авторитет и тем самым стимулируя поиски иных политических решений, тем более что параллельно складывались новые активные социальные слои, готовые искать такие решения по «европейским» образцам и способные их найти. Наконец, попытки сохранить традиционную власть в виде, сколько-нибудь приемлемом для носителей доколониальных представлений о ее существовании и о том, кто ее должен отправлять и в каких формах, находились в неразрешимом противоречии с потребностью в усложнении и модернизации аппарата власти в силу усложнения самого колониального общества. Такое усложнение внешне принимало форму складывания бюрократического аппарата по образу и подобию европейского чиновничества (отсюда и тенденция многих западных авторов, особенно англосак-

сонских, оценивать данный процесс в вебериянских категориях перехода от традиционного чистого типа власти к рационально-бюрократическому; нельзя отрицать, что формальные основания для такого подхода к проблеме у них были). А бюрократизация аппарата власти сразу же оказывалась трудносовместима с традиционными формами последней, и, главное, власть в любом случае попадала здесь с точки зрения традиции «не в те руки»²⁷.

Разумеется, это еще острее ощущалось тогда, когда колониальная администрация пыталась обойтись без использования традиционных правителей, формируя нижний эшелон власти из чиновников, принадлежащих к коренному населению колонии и получавших какой-то минимум европейского образования. Такие чиновники, как правило, тоже не соответствовали традиционным стандартам, прежде всего по возрасту, будучи слишком молоды, а нередко и по социальному происхождению и этнической принадлежности²⁸.

В практике колониальной администрации бывали порой и случаи создания «туземных властей», так сказать, из ничего, когда у колонизованных в их потестарной и политической культуре вообще отсутствовала традиция какой бы то ни было власти выше деревенско-общинного уровня. Пожалуй, самый известный пример такого рода образовывали так называемые назначенные вожди (*warrant chiefs*), насаждавшиеся британцами у некоторых народов Юго-Восточной Нигерии — ибо, иджо, итсекири и других — в первой трети нашего столетия²⁹. Но они вовсе не единичный факт. Уже после окончания второй мировой войны австралийские чиновники на Новой Гвинее в 40—50-е годы назначали на должности деревенских старост (должности ими же и созданные) в зоне расселения папуасов-баруйя традиционных «великих воинов» (*aoulatta*). Между тем в доколониальной социальной системе баруйя эти индивиды никакими правами на власть над соплеменниками не обладали³⁰.

4. Как бы то ни было, все такого рода явления, возникая и развиваясь на фоне общего укрепления колониального режима и непосредственно из него вытекавшей и им стимулировавшейся расширяющейся капиталистической эксплуатацией стабилизации колониального общества, ускорили объективно неизбежный процесс складывания также и специфической формы политической культуры, присущей такому обществу. Понятно, что темпы и интенсивность его во многом зависели от уровня социально-экономического развития данной территории и не в последнюю очередь от степени заинтересованности метрополии в ее эффективной эксплуатации. Разной оказывалась и способность традиционных культур адаптироваться к новым условиям, разным был и их потенциал сопротивления инновациям в сфере политических отношений. Но в общем преобладала, если говорить о территории того или иного колониального владения в целом, тенденция к «медленному дрейфу в сторону единообразия»,

по выражению современного исследователя, к утрате локальными аренами потестарной или политической деятельности своей обособленности и к уподоблению происходящих на них процессов тем, которые развертывались на «главной» арене, а то и к слиянию локальных арен с такой главной, охватывавшей всю территорию колоний³¹.

В итоге возникало некое достаточно целостное образование, которое, по-видимому, может быть обоснованно определено как колониальная политическая культура. Самой характерной ее чертой было то, что она с самого начала формировалась в качестве итога взаимодействия двух неравноправных и принципиально различных, к тому же разделенных формационным рубежом субкультур, причем в качестве таковых оказывались уже сложившиеся ранее культуры. Преобладающее место занимала в ней субкультура, представленная буржуазной политической культурой, которую привносил в страну колонизатор.

Колониальная политическая культура имела подчеркнуто классовый, эксплуататорский характер, который и отражало раз и навсегда заданное неравенство образовавших ее субкультур. Именно этот классовый характер имел прямым следствием то, что для коренного населения колонии новая политическая культура оказывалась еще более «антиэтнична», чем буржуазная политическая культура колонизатора. Последняя могла рассматриваться как в целом этнически нейтральная, коль скоро этническая принадлежность подданных не представляла для нее интереса. Колониальная же политическая культура в принципе отрицала за различными этническими общностями коренного населения какое бы то ни было право на этническую специфику в сфере ее действия. Колониальные подданные метрополии противопоставлялись как некое целое ее полноправным гражданам — немногочисленному в подавляющем большинстве случаев населению европейского происхождения. Но и для этого меньшинства колониальная политическая культура представала в некотором роде двуслойной: ведь она предполагала, так сказать, двойной стандарт политического поведения — один в среде европейцев, другой в отношениях между европейцами и коренными жителями колоний. Для первого случая в той или иной мере действовали обычные для европейца нормы буржуазной демократии, пусть даже и с теми или иными ограничениями. Но в отношениях с «туземцами» эти нормы либо вовсе отбрасывались, либо искажались до неузнаваемости.

Конечно, принципиальное отрицание этнической специфики у коренного населения в практической деятельности колониальных администраторов неизбежно подвергалось той или иной степени коррекции. Не учитывать эту специфику даже при системе «прямого» управления было просто невозможно, если управление должно было быть мало-мальски эффективным. Ведь подчиненная субкультура в данном случае включала не одну, а множество этнически окрашенных потестарных или политических

культур, и ради эффективности приходилось мириться с расхождением между нормативными и прагматическими правилами административной деятельности. И все же антиэтничность складывавшейся колониальной политической культуры (с точки зрения члена традиционного общества) оказывалась немаловажным преимуществом с позиций общего развития территории, ограниченной колониальными границами. Она, несомненно, способствовала преодолению этнической замкнутости и автаркической ориентированности традиционных культур. Более того, ее классовый характер, откровенно выражавший противостояние колонизатора и колонизованного, создавал объективные и, что в данном случае, пожалуй, еще существеннее, субъективные предпосылки для формирования некоего антиколониального политического единства. И в таком смысле даже то поверхностное усвоение «правил игры» в рамках новой политической культуры, о котором говорилось выше, было уже несомненным шагом вперед, по пути становления новых стереотипов политического сознания и самосознания и политического поведения. Именно здесь закладывались основы будущей постколониальной политической культуры.

Понятно, что это был весьма скромный шаг. Сила и устойчивость традиционного отождествления потестарно-политического и этнического моментов недвусмысленно проявились, например, в развитии национально-освободительного движения в Тропической Африке в период, непосредственно предшествовавший завоеванию независимости, а в иных случаях и довольно долгое время после этого. Своеобразным выражением компромисса между старым и новым, притом выражением достаточно типичным, были в этот период политические партии на этнической основе. И та сравнительно незначительная роль, которую они сыграли в антиколониальной борьбе, и то, что в их деятельности этнические устремления чаще всего противостояли общедемократическим требованиям в масштабе всего населения колонии, без учета его этнических различий, могут служить свидетельством трудностей, с которыми сталкивалось формирование нового политического сознания и самосознания в рамках новой политической культуры, которой в дальнейшем предстояло играть роль уже национальной политической культуры. И тем не менее сам факт образования таких неведомых до того организаций, как политические партии, пусть и на традиционной основе, говорил о прогрессе в развитии новой политической культуры.

Двойственность политического сознания и самосознания, характерная для массы населения колониальных владений, точнее говоря, незначительное знакомство его со складывавшейся колониальной политической культурой начали сглаживаться намного быстрее, по мере того как обострялась борьба за независимость в 40—50-е годы, особенно же уже после завоевания независимости, когда перед молодыми государствами во весь рост встала проблема духовной деколонизации. Заметное расширение зна-

комства относительно многочисленных слоев населения бывших колоний с новой политической культурой, приходящей в эти государства во время непрерывно расширяющихся контактов с внешним миром (на сей раз речь идет о возможности ознакомления не только с буржуазной политической культурой бывших метрополий, но и с политической культурой стран социализма), во многом обуславливается стремительной урбанизацией. В городских условиях складываются и окончательно оформляются современные социально-классовые группы, прежде всего промышленный рабочий класс. Именно эти новые общественные слои, вырабатывая теперь уже классовое политическое сознание и самосознание раньше остального населения, в особенности крестьянства глубинных районов, приобщались к новым формам политической культуры.

Но процесс этот не простой и отнюдь не однозначный. Вовсе не сразу классовое политическое сознание и самосознание становится господствующим. Ему неизбежно приходится соседствовать и вступать во взаимодействие с традиционным, т. е. преимущественно этнически ориентированным потестарным или политическим сознанием и самосознанием. Больше того, историческое развитие большинства молодых независимых государств — как в Азии, так и в Африке — свидетельствует о том, что сам по себе процесс формирования нового политического сознания может оказаться и обратимым. Исследования многих ученых убедительно показали, скажем, на примере африканских стран, что то, какая форма политического сознания — классово или этнически (или конфессионально) ориентированная — окажется преобладающей в том или ином случае, определяется прежде всего конкретной социально-политической ситуацией³².

Но вместе с тем устойчивости традиционного потестарного и политического сознания и самосознания способствует то, что не всегда и не во всех странах после достижения независимости от колонизатора наблюдаются такие серьезные структурные изменения в административно-политической надстройке общества, которые бы гарантировали быстрое устранение маргинального характера контакта массы населения, особенно опятьтаки крестьянства глубинных районов, с новой, уже национальной администрацией. И даже больше: резкое возрастание роли классового момента в новой политической культуре, что определено его важнейшей ролью в обществе, ставшем политически независимым, не так уж редко влечет за собой дальнейшее отчуждение того же крестьянства от носителей новой власти — бюрократической и технократической элиты, которая к тому же быстро обуржуазивается. А в итоге двойственность (скорее даже маргинальность) политического сознания после независимости сохраняется по-прежнему у достаточно широких слоев народа, хотя в целом новое политическое сознание и самосознание теперь уже становится характерно для гораздо более многочисленных социальных групп, чем при колониальном режиме. По

существо, можно говорить о том, что мы в данном случае имеем дело с политическим бикультурализмом (биполитизмом), выраженным в разной степени. Но при этом типичной его формой предстает биполитизм незавершенный, не завершенный потому, что от нового в политической культуре усваивается на первых порах только внешняя форма, о чем уже была речь выше.

Но при такой структуре массового политического сознания и самосознания оно, с одной стороны, неизбежно обнаруживает неустойчивость в реакциях на те или иные факты политической жизни. Однако несомненным остается то, что при прочих равных условиях предпочтение отдается сугубо традиционным путям разрешения возникающих проблем, а такие пути нередко оказываются неадекватными обстановке. В результате неустойчивость массового политического сознания и самосознания нарастает. А с другой стороны, в таких условиях и как прямое их следствие складывается и вполне недвусмысленно проявляется тенденция к использованию форм деятельности, характерных для современной политической культуры, для реализации сугубо традиционалистских ценностных ориентации. Едва ли не самым типичным примером этого представляется приспособление такой организационной структуры, как политическая партия, для достижения трибалистских или общинных целей.

И все же, несмотря на все эти сложности, новые формы политической культуры, возникшие на основе колониальной политической культуры сравнительно недавнего прошлого, сделались в молодых государствах Азии и Африки одним из главных средств в решении такой сложной задачи, как интеграция этнически разнородного населения в единую этнополитическую общность в пределах заданных наследием колониального периода государственных границ. Однако в данном случае можно наблюдать тенденцию, противоположную только что рассматривавшейся: использование в рамках новых форм политической культуры, постколониальной по происхождению и практически национальной по функциям, традиционных форм и методов воздействия на массы ради достижения политических целей, соответствующих новой исторической обстановке.

Дело в том, что, как следует из всего вышесказанного, политическая культура постколониальная также включает две субкультуры— общегосударственную и традиционную. Причем последняя остается весьма действенной (а иногда и единственно действенной) при осуществлении власти и властвования на массовом уровне. Причины этого достаточно очевидны: сохранение полунатурального хозяйства на обширных пространствах, сравнительно низкий уровень грамотности, острая нехватка национальных кадров составляют очень актуальные и острые проблемы для большинства молодых государств. Эти и многие другие проблемы основательно замедляют формирование субъективного элемента новой, современной политической культуры, которая бы полностью соответствовала современному этапу нацио-

нального развития. В Африке проблемы эти выражены с максимальной остротой, в Азии — меньше, но практически с ними приходится иметь дело повсеместно в развивающихся странах. И все это вызывает необходимость в наибольшей степени использовать в интересах национальной государственности те формы традиционной потестарной и политической культуры, которые более доступны и понятны населению.

Правящим слоям развивающихся стран приходится считать с таким фактом, как сохранение в ряде случаев в рамках нового государства традиционных правителей. Правители эти нередко обладают вполне реальной властью над своими подданными, так что государственная власть зачастую просто не может непосредственно иметь дело с последними. Приходилось на начальном этапе независимого существования либо законодательно фиксировать право князей или вождей на участие в управлении, либо молчаливо оставлять в их руках все управление на местах, либо включать их владения в состав государства на правах автономных территорий и т. п. Конечно, упомянутый выше «дрейф в сторону единообразия» в политической жизни действует и в этих случаях: в большинстве развивающихся стран Азии и Африки политические возможности традиционных правителей сейчас намного меньше тех, какими они располагали сразу же после провозглашения независимости. Но конкретные формы ограничения их власти и тем более общее решение проблемы традиционных правителей зависят в первую голову от общего уровня социально-экономического развития той или иной страны. Чем сильнее оказывается национальная буржуазия, тем быстрее и радикальнее (относительно, конечно!) ликвидируется статус традиционных правителей в качестве политической структуры, в какой-то мере параллельной государственной администрации. Не случайно в Индии проблема князей была решена уже давно и достаточно последовательно, тогда как в таких африканских странах, как Нигерия, Камерун или Гана, эмиры и вожди и поныне сохраняют немалое влияние в политической жизни.

Несомненная специфика отличает во многих случаях и функционирование такого элемента современной политической культуры, как политические партии. Они представляют один из главных инструментов «модернизации» традиционного общества. Но в то же время им приходится, с одной стороны, считаться с реальностями этого общества, коль скоро оно еще существует и, видимо, будет еще существовать в освободившихся странах достаточно долго, а с другой — использовать институты такого общества для реализации вполне современных политических задач. Партийным функционерам надо согласовывать свою деятельность с местной знатью и с религиозными деятелями, служа в определенном смысле достижению если не консенсуса, то хотя бы нейтралитета этих авторитетных фигур и групп при проведении в жизнь тех или иных модернизаторских мероприятий»

В то же время для мобилизации политической поддержки со стороны населения партии нередко действуют через сугубо традиционные институты типа мужских союзов или женских торговых объединений³³. Выступления партийных деятелей и представителей государственной власти перед народом зачастую строго подчинены канону ритуализованных традиционных публичных выступлений. Причем употребляются опять-таки традиционные для данной общности понятия и категории, в которые, однако, вкладывается совершенно иное, новое по сравнению с традиционным социально-экономическое и политическое содержание³⁴.

Наверное, одним из самых ярких примеров взаимопроникновения в политической культуре развивающихся стран традиционного и нового служит довольно частый в них вариант административно-политической надстройки в виде однопартийного государства во главе с харизматической по своей сути (с точки зрения ее восприятие согражданами) фигурой национального вождя. Этому явлению посвящена обширная литература, но нас интересует в данном контексте лишь то, что восходит к традиционным социально-потестарным или социально-политическим ориентациям. С одной стороны, политическая культура здесь воспринимается как нечто нерасчлененное, и с этим связана склонность рядового общинника во всем полагаться на «большого брата», т. е. вождя, передавать в его распоряжение все свои потенции, свою способность сопротивляться непонятым внешним обстоятельствам, которые представляются ему враждебными уже в силу самой своей непонятности. Вождь же, с другой стороны, выступает в роли символа всеобщего благоденствия и нерушимой целостности всего общества (детально эти вопросы рассматривались в гл. 3). И в этом случае заимствуемые из европейской политической культуры формы реализации ее, формы политической деятельности, такие, как пост главы государства, выборные местные и центральные органы власти, министерства, политическая партия, служат лишь декорумом, так сказать, наружным зрительным и шумовым оформлением для целиком традиционных, восходящих не то что к доколониальной, но зачастую и к доклассовой эпохе.

Немалый интерес представляет и несколько неожиданная на первый взгляд связь между традиционными, скажем, для обществ Тропической Африки структурами власти и современной государственной властью, возникающей в результате нередких в этой части континента военных переворотов. Исследования последних полутора десятилетий обнаруживают, с одной стороны, определенную преемственность между правлением военных в наши дни и традицией правления военных вождей в доколониальное время³⁵, т. е., если пользоваться нашей терминологией (см. выше), военно-иерархической. С другой же стороны, подчеркивается склонность приходящих к власти офицеров, в особенности в менее развитых регионах (Заир, Уганда), выступать

иной раз не столько в роли «модернизаторов» — а именно так ставился вопрос в западной литературе 60-х — начала 70-х годов³⁶, — сколько в качестве «возродителей» неких якобы исконных африканских традиций³⁷. Истинная или мнимая «исконность» последних — вопрос, конечно, особый. Во-первых, существовала вполне реальная возможность образования «вторичных» или даже «ложных» вариантов традиции³⁸. А во-вторых, возникновение таких вариантов в данном случае становилось тем более вероятным, что приходится учитывать и заметное, хотя чаще всего не осознававшееся влияние, какое нередко оказывали на традицию взгляды и представления, свойственные европейской культуре и усваивавшиеся теми членами социальной верхушки колонизованного народа, которые выступали в роли «кодификаторов» традиции³⁹. Но так или иначе, при ретрадиционализации речь идет лишь о преимущественной ориентации в субъективной сфере, т. е. в идеологическом обеспечении власти, либо на «западные», либо на традиционные (с учетом только что сделанных оговорок) формы и мотивации политической деятельности. А объективно армия неминуемо будет в конечном счете выступать в качестве агента модернизации. И конечно, совсем особое место занимают те случаи, когда военные, придя к власти, избирают для своей страны путь прогрессивных социально-экономических преобразований или даже социалистическую ориентацию и используют в традиции главным образом те ее элементы, которые могут быть поставлены на службу такой ориентации.

Несколько специфичный вариант ретрадиционализации представлен в Ливии. Заметная демократизация жизни страны после революции 1969 г. сочетается с усилением влияния мусульманского фундаментализма. И, таким образом, место «исконно африканских» здесь занимают столь же «исконные» ценности мусульманской политической культуры⁴⁰. Последнее обстоятельство заставляет вновь особо подчеркнуть роль мусульманской культуры как культуры референтной во многих странах Тропической Африки. Такой она выступает для достаточно многочисленных слоев населения, и с этим приходится считаться даже в условиях декларируемого светского характера государства⁴¹.

Постколониальная политическая культура вырастает из колониальной и сохраняет многие ее признаки, в том числе и один из самых важных — двуслойность в смысле присутствия в ней двух неравноправных субкультур. Однако служит постколониальная политическая культура принципиально иным целям, и неравенство ее субкультур носит тоже принципиально иной характер. Оно отражает прежде всего приоритет молодого национального государства, задача которого заключается в интеграции в единую этнополитическую общность разнородного в этническом плане населения, в преодолении сепаратистских и микронационалистических тенденций. Двуслойность новой политической культуры уже не служит выражением этнорасового раз-

граничения европейца и неевропейца, присущего колониальному обществу.

Тем не менее это касается только, так сказать, функциональных характеристик. Что же до классового аспекта проблемы сохранения в постколониальной политической культуре двух субкультур, то здесь дело обстоит сложнее. В самом деле, двуслойность колониальной политической культуры означала прежде всего одно: ее классовый антагонистический характер, то, что она выражала отношения эксплуататора-колонизатора и эксплуатируемого-колонизованного. Внешне это подчеркивалось разграничением этнорасовым.

Классовый смысл сохраняет и включение в состав постколониальной политической культуры двух субкультур. Однако, каков этот реальный классовый смысл, определяется уже выбором: путей социально-экономического развития той или иной страной после достижения ею государственной самостоятельности.

В самом деле, если бывшая колония движется по пути «свободного предпринимательства», т. е. капиталистическому пути (в современных исторических условиях это почти всегда означает и неоколониальное развитие), то и господствующая политическая субкультура по необходимости будет буржуазной, какими бы идеологическими тезисами или пропагандистскими лозунгами это ни прикрывалось. Соответственно не изменится и смысл противоречия между буржуазной и докапиталистической политической (и тем более потестарной) культурой, который характеризовал колониальную политическую культуру. Правда, из него, как уже сказано, «уходит» этнорасовый момент, неизбежный в колониальном обществе, но место эксплуататора из метрополии занимает свой «собственный» — азиатский или африканский — капиталист. Иными словами, перед нами политическая культура классово антагонистического общества, хотя сама социальная структура такого общества во многих африканских и азиатских странах еще не выявлена полностью. И в этих случаях новая политическая культура будет «работать» на консолидацию именно такой классово антагонистической социальной структуры.

В случаях же движения по пути прогрессивных преобразований новая политическая культура тоже состоит из двух субкультур, но эта двуслойность обусловлена генетически и сохраняется просто из-за сравнительного невысокого уровня социально-экономического и этнокультурного развития большинства населения страны. В идеале наличие этих двух субкультур не несет здесь в себе антагонистического противоречия между ними» (за исключением, естественно, борьбы с проявлением докапиталистических эксплуататорских политических культур). И новая политическая культура выступает как важнейшее средство интеграции этнически разнородного населения в составе новой этнополитической общности в условиях равноправия.

Впрочем, интеграционную функцию постколониальная поли-

тическая культура сохраняет и в условиях капиталистического развития. В том и в другом случае она есть активный участник процесса складывания новых, уже национальных по своему содержанию черт массового политического сознания и самосознания. Однако различие в выборе пути развития в общем определяет, каков будет в более отдаленной перспективе характер возникающей нации или же многонационального объединения, которое появится в результате интеграции в единое социально-политическое целое разных этнических общностей донационального уровня с их этнически дробными культурами.

ПРИМЕЧАНИЯ

Предисловие

¹ См.: *Куббель Л. Е.* Потестарная и политическая этнография.— Исследования по общей этнографии. М., 1979, с. 242—243.

² Об этом см., например: *Аверкиева Ю. П.* Этнография и культурная/социальная антропология на Западе.— СЭ. 1971, № 5, с. 9—16; *Бромлей Ю. В.* Этнос и этнография. М., 1973, с. 180—181.

³ См., например: Эволюция восточных обществ: синтез традиционного и современного. М., 1984, с. 6—9; *Осигова О. А.* Проблема традиции в странах Востока в американской социологии. М., 1985.

⁴ О содержании этого понятия см.: *Бромлей Ю. В.* Этнос и этносоциальный организм.— Вестник АН СССР. 1970, № 8; *он же.* Очерки теории этноса. М., 1983, с. 63—68.

⁵ *Balandier G.* Anthropologie politique. P., 1978 (editio princeps — 1967).

⁶ О содержании этого понятия см., например: *Anderson J. N.* Ecological Anthropology and Anthropological Ecology.— Handbook of Social and Cultural Anthropology. Ed. J. J. Honigmann. Chicago, 1973, с. 205—206.

Введение

¹ *Evans-Pritchard E. E.* The Nuer. A Description of the Modes of Livelihood and Political Institutions of a Nilotic People. Oxf., 1940 (русский перевод: *Эванс-Причард Э. Э.* Нуэры. Описание способов жизнеобеспечения и политических институтов одного из нилотских народов. М., 1985; далее ссылки по русскому изданию); *он же.* The Political System of the Anuak of the Anglo-Egyptian Sudan. L. 1940; African Political Systems. Ed. Fortes M., Evans-Pritchard E. E. L., 1940.

² *Morgan L., H.* The League of the Ho-de-no-sau-nee, or Iroquois. Rochester, 1851 (русский перевод: *Морган Л. Г.* Лига Ходеносауни, или ирокезов. М., 1982; далее ссылки по русскому изданию); *Maine H. S.* Ancient Law: Its Connection with the Early History of Society, and its Relation to Modern Ideas. L., 1861; *Lpwie R. H.* The Origin of the State. N. Y., 1927.

³ *Easton D.* Political Anthropology.— Biannual Review of Anthropology. Ed. Siegel B. S. Stanford, 1959, с. 210—262.

⁴ См., например: Англо-американская этнография на службе империализма. М., 1951 (Труды Ин-та этнографии, нов. сер., т. XII).

⁵ См.: *Годинер Э. С.* Национальные этнографические исследования в странах Восточной Африки.— Пути развития зарубежной этнологии. М., 1983, с. 152—204. *Никищенко А. А.* Из истории английской этнографии. Критика функционализма. М., 1986, с. 144—151.

⁶ *Radcliffe-Brown A. R.* Structure and Function in Primitive Society. L., 1958; ср. также *Lombard J. L.* L'Anthropologie britannique contemporaine. P., 1972, с. 135—161; *Веселкин Е. А.* Кризис британской социальной антропологии! М., 1977, с. 67—103.

⁷ См.: *Бочаров В. В.* Использование традиций и преемственности в британской политике косвенного управления (на примере Танганьики).— Изучение преемственности этнокультурных явлений. М., 1980, с. 170—183.

⁸ См.: *Попова А. И.* Мусульманская мысль современной Индонезии в освещении голландских исследователей. — Современная историография стран зарубежного Востока. Критика буржуазного национализма. М., 1977, с. 55—63.

⁹ *Leach E. R.* Political Systems of Highland Burma. A Study of Kaeliin Social Structure. L., 1954.

⁰ *Bailey F. G.* Stratagems and Spoils. A Social Anthropology of Politics. Oxf., 1970; *Barth F.* Political Leadership among the Swat Pathans. Cambridge, 1959.

¹ *Radcliffe-Brown A. R.* Preface.—African Political Systems, с. XII; *Fortes M., Evans-Pritchard E. E.* Introduction.—African Political Systems, с. 4—5.

² *Эванс-Причард Э. Э.* Нуэры..., с. 226.
См.: *Smith M. G.* Segmentary Lineage Systems —JRAI. 1956, vol. 86, pt II, с. 60; *Richards A.* Introduction.—East African Chiefs. A Study of Political Development in Some Uganda and Tanganyika Tribes. Ed. Richards A. L., 1960, >с. 8; *Gluckman M., Eggan F.* Introduction.—Political Systems and the Distribution of Power. Ed. Banton M. L., 1965, с. XX (ASA Monographs, II).

³ *Falters L.* Bantu Bureaucracy. A Study of Integration and Conflict in the Political Institutions of an East African People. Cambridge, 1956. Строго говоря, аналогичным оказывается и подход Д. Битти к изучению традиционного «королевства» Буньоро в той же Уганде; см.: *Beattie J.* Bunyoro. An African Kingdom. N. Y., 1960; *он же.* The Nyoro State. Oxf., 1971.

⁴ *Barnes J. A.* Politics in a Changing Society. A Political History of the Port Jameson Ngoni. Cape Town etc., 1954.

⁵ *Веселкин Е. А.* Кризис британской социальной антропологии, с. 130—161; см. также: *Whitten N. E. Jr., Wolfe A. W.* Network Analysis.—Handbook of Social and Cultural Anthropology. Ed. Honigmann J. J. Chicago, 1973, с. 717—746.

⁶ *Maquet J.* The Premise of Inequality in Ruanda. A Study of Political Relations in a Central African Kingdom. L. etc., 1961; *он же.* Pouvoir et societe >en Afrique. P., 1970; *Lombard J.* Un systeme politique traditionnel de type feodal: les Bariba du Nord Dahomey.—BIFAN, 1957, ser. B, t. XIX, № 4; *он же.* Structures de type feodal en Afrique Noire. Etude des dynamismes internes et des relations sociales chez les Bariba du Dahomey. P., 1965; *Botte R.* Processus de formation d'une classe sociale dans une societe africaine precapitaliste.—CEA, 1974, vol. XIV, № 56, с. 605—626.

⁷ *Balandier G.* Anthropologie politique. P., 1978, с. 186—217 (editio princeps—1967). В англоязычной литературе эти вопросы были включены в круг интересов политической антропологии лишь два года спустя после выхода первого издания книги Ж. Баландье; ср.: *Cohen. R.* Research Directions in Political Anthropology — Canadian Journal of African Studies (Special Issue). 1969, vol. 3, № 1, с. 23, 29; *он же.* Political Anthropology.— Handbook of Social and Cultural Anthropology, с. 861—881.

⁸ *Poulantzas N.* Pouvoir politique et classes sociales de l'Etat capitaliste. P., 1968, с. 15.

⁹ *Radcliffe-Brown A. R.* Structure and Function..., с. 180; *он же.* Method in Social Anthropology. Chicago, 1958, с. 62, 168.

¹⁰ *Swartz M. J., Turner V. W., Tuden A.* Introduction.—Political Anthropology, Ed. Swartz M. J. et al. Chicago, 1966, с. 4, 7—8.

См., например: *Copans J.* L'Anthropologie politique.— *Copans J., Tornay S., Godelier M., Baches-Clement C.* L'Anthropologie: science des societes primitives? P., 1971, с. 115—173.

¹¹ См., например: *Almond G. A., Powell C. B.* Comparative Politics. System, Process, and Policy. Boston—Toronto, 1978 (editio princeps—1966); *Adams R. N.* Energy and Structure. A Theory of Social Power. Austin. L., 1975; *Power and Control. Social Structures and their Transformation.* Ed. Burns T. R., Buckley W. L., 1976; *Almond G. A., Verba S.* The Civic Culture Reconsidered. N. Y., 1980.

¹² *Аверкиева Ю. П.* История теоретической мысли в американской этнографии. М., 1979.

¹³ *Steward J. H.* Theory of Culture Change. The Methodology of Multilinear Evolution. Urbana, 1955; *Service E. R.* Primitive Social Organisation. An Evolutionary Perspective. N. Y., 1971 (editio princeps—1962); *он же.* Origins of the State and Civilisation. The Process of Cultural Evolution. N. Y., 1975.

¹⁴ *Fried M. H.* On the Evolution of Social Stratification and the State.—Culture in History. Ed. Diamond S. N. Y., 1960, с. 713—730; *он же.* The Evolution of Political Society. An Essay in Political Anthropology. N. Y., 1967.

²⁷ См., например: *Khazanov A. M. Rank Society or Rank Societies: Processes, Stages, and Types of Evolution.* — *Development and Decline. The Evolution of Sociopolitical Organisation.* Ed. Claessen H. J. M., van de Velde P., Smith E. South Hadley (Mass.), 1985. с. 82—96.

²⁸ См., например: *Friedman J. Tribes, States, and Transformations.* — *Marxist Analyses and Social Anthropology.* Ed. Bloch M. L., 1975, с. 161—202.

См.: Исследования по общей этнографии. М., 1979, с. 161.

³⁰ См.: *The Early State.* Ed. Claessen H. J. M., Skalnik P. The Hague etc., 1978; *The Study of the State.* Ed. Claessen H. J. M., Skalnik P. The Hague etc., 1981; *Development and Decline. The Evolution of Sociopolitical Organisation.*

³¹ *Krader L. Formation of the State.* Englewood Cliffs, 1968; *Kottak C. P. Ecological Variables in the Origin and Evolution of African States: the Buganda Example.* — *Comparative Studies in Society and History.* 1972, vol. 14, № 3. Ср. также: *Origins of the State. The Anthropology of Political Evolution.* Ed. Cohen R., Service E. R. Philadelphia, 1978.

³² См.: *White L. A. Energy and the Evolution of Culture* — AA. 1943, vol. 45, № 2, с. 335—356; *он же.* *The Evolution of Culture.* N. Y., 1959. Марксистскую оценку и критику концепций Л. Уайта см.: *Левин М. Г.* История, эволюция, диффузия. — СЭ. 1947, № 2, с. 235—240; *Артановский С. Н.* Марксистская теория общественного прогресса и «эволюция культуры» Л. Уайта. — Современная американская этнография. М., 1963, с. 50—63; *Маркарян Э. С.* Культурологическая теория Лесли Уайта и исторический материализм. — ВФ. 1966, № 2, с. 78—88; *Аверкиева Ю. П.* История теоретической мысли...

³³ *Adams R. N. Man, Energy, and Anthropology: I Can Feel the Heat, but Where's the Light?* — AA. 1978, vol. 80, № 2, с. 302.

³⁴ *Adams R. N. Man, Energy, and Anthropology,* с. 307. См. также: *Adams R. N. Energy and Structure. A Theory of Social Power.* Austin and London, 1975, с. 7—8, 261—262.

³⁵ См., например: *Westen D. Cultural Materialism. Food for Thought or Bum Steer?* — С А. 1984, vol. 25, № 5, с. 639—651.

Marxist Analyses and Social Anthropology. Ed. Bloch M. L., 1975.

³⁷ *Bonte P. Marxist Theory and Anthropological Analysis: The Study of Nomic Pastoralist Societies.* — *The Anthropology of Pre-Capitalist Societies.* Ed. Kahn J. S., Llobera J. R. Atlantic Highlands. N. Y., 1981, с. 22—56; *Kahn J. S. Llobera J. R. Towards a New Marxism or a New Anthropology?* — *The Anthropology of Pre-Capitalist Societies,* с. 263—329.

³⁸ *Godelier M. L'Idéal et le matériel. Pensee, economies, societies.* P., 1984.

³⁹ См., например: *The Anthropology of Power. Ethnographic Studies from Asia, Oceania, and the New World.* Ed. Fogelson R. D., Adams R. N. N. Y. etc., 1977.

⁴⁰ *Косвен М. О.* Первобытная власть. — Революция права. 1929, № 2, с. 86—102.

⁴¹ *Потехин И. И.* Военная демократия матабеле. — Родовое общество. Материалы и исследования. ТИЭ. Н. сер. Т. XIV. М., 1951, с. 234—254.

⁴² Общее и особенное в историческом развитии стран Востока. Материалы дискуссии об общественных формациях на Востоке (азиатский способ производства). М., 1966.

⁴³ *Смирнов С. Р.* Английская политика «косвенного управления» в Юго-Восточной Нигерии. — СЭ. 1950, № 3, с. 137—153; *он же.* История Судана (1821—1956). М., 1968.

⁴⁴ *Адео́йе С. О.* Традиционные вожди в колониальном обществе йоруба, 1914—1939 («косвенное управление» в Западной Нигерии). Автореф. канд. дис. М., 1974; *Зотова Ю. Н.* Проблема косвенного управления в англоязычной западноафриканской этнографии. — СЭ. 1973, № 6, с. 126—134; *она же.* Традиционные политические институты Нигерии. Первая половина XX в. М., 1979; *Балезин А. С.* Колониализм и традиционные институты в Уганде, 1918—1939 (Место традиционных властей в колониальном обществе). Автореф. канд. дис. М., 1979; *он же.* Африканские правители и вожди в Уганде (эволюция традиционных властей в условиях колониализма. 1862—1962). М., 1936; *он же.* Традиционные власти и колониальные вожди в Восточной Африке (К вопросу о терминологии и типологии). — СЭ. 1987, № 3, с. 35—43; *Бочаров В. В.* Ис-

пользование традиций и преемственности в британской политике косвенного» управления (на примере Танганьики); *он же*. Трансформация традиционной власти и управления в колониальных обществах Восточной Африки. Автореф. канд. дис. Л., 1983.

⁴⁵ Бромлей Ю. В. Опыт типологизации этнических общностей.— СЭ. 1972, № 5, с. 63; *он же*. Этнос и этнография. М., 1973, с. 15.

⁴⁶ Олдероге Д. А. Проблемы происхождения государства (по африканским материалам). Доклад в ЛО ИЭ АН СССР. Л., 1970; *Томановская О. С.* Изучение проблемы генезиса государства на африканском материале.— Основные проблемы африканистики. Этнография. История. Филология. М., 1973, с. 273—283; *она же*. О древних общественных структурах у народов Нижнего Конго (Опыт реконструкции).— Этническая история Африки. Доколониальный период. М., 1977, с. 91—137.

⁴⁷ Кейзеров Н. М., Мальцев Г. В. Современные буржуазные теории происхождения власти.— СЭ. 1974, № 6, с. 148—160; *Першиц А. И.* Проблемы номативной этнографии.— Исследования по общей этнографии, с. 210—240; *Куббель Л. Е.* Потестарная и политическая этнография.— Исследования по общей этнографии, с. 241—277.

⁴⁸ Венгеров А. Б., Куббель Л. Е., Першиц А. И. Этнография и науки о государстве и праве.— Вестник АН СССР. 1984, № 10, с. 88—101.

⁴⁹ См., например: *Неусыхин А. И.* Дофеодальный период как переходная стадия развития от родо-племенного строя к раннефеодальному (на материале истории Западной Европы раннего средневековья).— ВИ, 1967, № 1, с. 75—87; *он же*. Очерки истории Германии в средние века (до XV в.).— *Неусыхин А. И.* Проблемы европейского феодализма. Избранные труды. М., 1974, с. 211—366; *он же*. Военные союзы германских племен около начала нашей эры.— *Неусыхин А. И.* Проблемы европейского феодализма, с. 390—412; *Сказкин С. Д.* К вопросу о непосредственном переходе к феодализму на основе разложения первобытнообщинного способа производства.— *Сказкин С. Д.* Избранные труды по истории. М., 1973, с. 261—287; *Колесницкий Н. Ф.* Феодальное государство (VI—XV вв.). М., 1967; *он же*. К вопросу о раннеклассовых общественных структурах.— ПИДО, с. 618—637; *Гуревич А. Я.* Проблемы генезиса феодализма в Западной Европе. М., 1970; *он же*. Категории средневековой культуры. М., 1984.

⁵⁰ Помимо перечисленных выше см.: *Томановская О. С.* Основные черты социально-политической структуры Лоанго в XVII—XVIII вв.— *Africanica*. Африканский этнографический сборник. XI. Л., 1978, с. 103—133 (ТИЭ. Нов. сер. Т. GV); *она же*. Этнос и этнизм в предклассовом обществе: частные аспекты их соотношения.— Этнос в доклассовом и раннеклассовом обществе. М., 1982, с. 180—207; *Бочаров В.*В.* Об употреблении категории «традиционного».— Традиция и современность. М., 1983, с. 39—44; *Куббель Л. Е.* Доколониальные политические структуры Африки в западноевропейской этнографии.— СЭ. 1977, № 4, с. 155—168; *он же*. Потестарно-политическая структура докапиталистических обществ (к постановке проблемы).— СЭ. 1980, № 1, с. 2—18; *он же*. Этнические общности и потестарно-политические структуры доклассового и раннеклассового общества.— Этнос в доклассовом и раннеклассовом обществе, с. 124—146; *он же*. Традиционная потестарная и политическая культура в колониальном и современном развитии африканских государств.— Этнографические исследования развития культуры. М., 1985, с. 123—139.

⁵¹ Гуляев В. И. Некоторые вопросы становления раннеклассового общества у древних майя.— СЭ. 1969, № 4, с. 68—82; *он же*. Атрибуты царской власти у древних майя.— Советская археология. 1972, № 3, с. 116—134; *он же*. Проблема становления царской власти у древних майя.— Становление классов и государства. М., 1976, с. 191—248; *он же*. Города-государства майя (структура и функции города в раннеклассовом обществе). М., 1979.

⁵² Васильев Л. С. Становление политической администрации.— НАА, 1980, — № 1, с. 172—186; *он же*. Протогосударство-чифдом как политическая структура.— НАА. 1981, № 6, с. 157—175; *он же*. Проблемы генезиса китайского государства (формирование основ социальной структуры и политической администрации). М., 1983.

³³ Эволюция восточных обществ: синтез традиционности и современности. М., 1984.

³⁴ Чиркин В. Е. Буржуазная политология и действительность развивающихся стран. Критика концепции «политической модернизации». М., 1985; Энтин Л. М., Энтин М. Л. Политология развития и освободившиеся страны. Критика немарксистских концепций. М., 1986.

³⁵ См., например: *Cohen R. Political Anthropology.*— *Handbook of Social and Cultural Anthropology*, с. 861—881; *Balandier G. Anthropollogiques.* P., 1974; *Mair L. How Far Have We Got in the Study of Politics?*— *Studies in African Social Anthropology.* Ed. Fortes M., Patterson Sh. L. etc., 1975, с. 7—20; *Haas J. The Evolution of the Prehistoric State.* N. Y., 1982; *Development and Decline. The Evolution of Sociopolitical Organisation.*

Глава 1

¹ Философский энциклопедический словарь. М., 1983, с. 507.

² Бурлацкий Ф. М. Ленин. Государство. Политика. М., 1970, с. 47—48.

³ Ленин В. И. План статьи «К вопросу о роли государства».— Полное собрание сочинений. Т. 33, с. 340.

⁴ См., например: *Куббель Л. Е. Доколониальные политические структуры Африки в западноевропейской этнографии.*— СЭ. 1977, № 4, с. 157—158.

⁵ *Бромлей Ю. В. Опыт типологизации этнических общностей.*— СЭ. 1972, № 5, с. 63; *он же. Этнос и этнография.* М., 1973, с. 15. Следует, впрочем, сказать, что использование термина «потестарный» в отдельных случаях может представляться не вполне адекватным обстоятельством. Например, в случае взаимоотношений между двумя независимыми общественными организмами определенно потестарного характера такие взаимоотношения, по мнению отдельных авторов, едва ли можно определить как потестарные, и приходится обозначать их как политические. См.: *Томановская О. С. Предисловие.*— *Миллер Дж. Короли и сородичи. Ранние государства мбунду в Анголе.* М., 1984, с. 6. Однако эта точка зрения достаточно спорна.

⁶ См., например: *Бромлей Ю. В. Очерки теории этноса.* М., 1983, с. 35, 140.

⁷ *Куббель Л. Е. Этнические общности и потестарно-политические структуры доклассового и раннеклассового общества.*— *Этнос в доклассовом и раннеклассовом обществе.* М., 1982, с. 124—146.

⁸ *Вягр Е. Социология политических отношений.* М., 1979, с. 31.

⁹ См. например: *Cohen R. Political Anthropology.*— *Handbook of Social and Cultural Anthropology.* Ed. Honigmann J. J. Chicago, 1973, с. 879.

¹⁰ Ср.: *Pershits A. Scientific Communication and Scientific Terminology.*— *SA.* 1979, vol. 20, № 1; *Перишц А. И. Социально-экономическая терминология в понятийном аппарате этнографии.*— СЭ. 1983, № 5, с. 63—64; *Бромлей Ю. В., Перишц А. И., Трайде Д. Введение.*— *Социально-экономические отношения и соционормативная культура (Свод этнографических понятий и терминов).* М., 1986, с. 12—14.

¹¹ *Fried M. H. On the Evolution of Social Stratification and the State.*— *Culture in History.* Ed. Diamond S. N. Y., 1960, с. 713—730; *он же. The Evolution of Political Society. An Essay in Political Anthropology.* N. Y., 1967, passim

¹² См.: *Бутинов Н. А. Американская экономическая антропология (формализм и субстантивизм). Критические очерки.*— *Актуальные проблемы этнографии и современной зарубежной наука.* Л., 1978, с. 73—88; *Хазанов А. М. Классообразование факторы и механизмы.*— *Исследования по общей этнографии.* М., 1979, с. 129—132; *Dalton G. Introduction.*— *Primitive, Archaic, and Modern Economies: Essays of Carl Polanyi.* N. Y., 1968, с. IX—LIV; *Cook S. Economic Anthropology: Problems in Theory, Method, and Analysis.*— *Handbook of Social and Cultural Anthropology*, с. 795—860.

¹³ *Энгельс Ф. Об авторитете.*— *Маркс К. и Энгельс Ф. Сочинения.* 2-е изд.

¹⁴ Философский энциклопедический словарь, с. 85; *Бурлацкий Ф. М. Ленин. Государство. Политика.* с. 83.

¹⁵ *Кейзеров Н. М. Власть и авторитет: Критика буржуазных теорий.* М., 1973, с. 16.

- ⁶ Weber M. *Wirtschaft und Gesellschaft (Grundriss der Sozialökonomik)*. III. Tubingen, 1922, с. 28.
- ⁷ Ленин В. И. Экономическое содержание народничества и критика его в книге г. Струве.— Полное собрание сочинений. Т. 1, с. 439.
- ⁸ Маркс К. Критика политической экономии.— Маркс К. и Энгельс Ф. Сочинения. 2-е изд. Т. 46. Ч. II, с. 19.
- ⁹ См., например: Balandier G. *Anthropologie politique*. P., 1978, с. 43.
- ¹⁰ Семенов Ю. И. Категория «социальный организм» и ее значение для исторической науки.— ВИ. 1966, № 8, с. 94.
- ¹¹ Бромлей Ю. В. Этнос и этнография, с. 15.
- ¹² См.: Семенов Ю. И. О стадийной типологии общины.— Проблемы типологии в этнографии. М., 1979, с. 84.
- ¹³ Бромлей Ю. В. Современные проблемы этнографии. М., 1978, с. 277.
- ¹⁴ Философский энциклопедический словарь, с. 85.
- ¹⁵ Бурлацкий Ф. М. Ленин. Государство. Политика, с. 84; Бурлацкий Ф. М., Галкин А. А. Социология. Политика. Международные отношения. М., 1974.
- ¹⁶ Benton M. «Objective» Interest and the Sociology of Power.— *Sociology*, 1981, vol. 15, № 2, с. 176; см. также Miller D., Tilley C. *Ideology. Power and Prehistory: An Introduction*.— *Ideology, Power and Prehistory*. Ed. Miller D., Tilley C. Cambridge, 1984, с. 5—8.
- ¹⁷ Философский энциклопедический словарь, с. 704; см. также: Афанасьев В. Г. Научное управление обществом. М., 1968, с. 33, 43 и ел.; он же. •Человек в управлении обществом. М., 1977, с. 57—74; Гвишиани Д. М. Организация и управление. Социологический анализ буржуазных теорий. М., 1970, сс. 39—42.
- ¹⁸ Кейзеров Н. М. Власть и авторитет..., с. 40—41; он же. Управление и власть.— Философские науки. М., 1969, с. 2.
- ¹⁹ См.: Бурлацкий Ф. М. Ленин. Государство. Политика, с. 84.
- ²⁰ Афанасьев В. Г. Человек в управлении обществом, с. 75—84.
- ²¹ Optner S. L. *Systems Analysis for Business and Industrial Problems Solving*. Englewood Cliffs, 1965, с. 8; 28—29; Carlston K. S. *Social Theory and African Tribal Organisation. The Development of Socio-Legal Theory*. Urbana etc., 1968, с. 20—22. В нашей литературе эту идею С. Оптнера применил к изучению истории докапиталистических обществ И. Л. Андреев. См.: Андреев И. Л. Экономические предпосылки складывания классов.— Труды Тюменского индустриального института. Вып. 7. Ч. II 1969, с. 16—17.
- ²² Smith M. G. *On Segmentary Lineages Systems*.—JRAI. 1956, vol. 86, pt II, с. 48—50; он же. *Government in Zazzau, 1800—1950*. L. etc., 1960, с. 18—20, 22—27.
- ²³ Философский энциклопедический словарь, с. 11.
- ²⁴ Кейзеров Н. М. Власть и авторитет..., с. 76.
- ²⁵ Weber M. *Wirtschaft und Gesellschaft*, с. 122—124; он же. *Staatssoziologie*. Hrsg. Winkelmann J. B., 1966, с. 98—99; см. также: Strohal R. *Autorität, ihr Wesen und ihre Funktion im Leben der Gemeinschaft*. Freiburg — Wien, 1955.
- ²⁶ Кейзеров Н. М. Власть и авторитет, с. 38—39; Balandier G. *Anthropologie politique*, с. 45—46. В несколько иной формулировке эта асимметричность может рассматриваться как «дифференциальное поведение по отношению к общественным целям»; см.: Swartz M. J., Turner V. W., Tyden A. *Introduction*.— *Political Anthropology*. Ed. Swartz M. J., Turner V. W., Tyden A. Chicago, 1966, с. 6—7.
- ²⁷ См., например: Begler E. *Sex, Status, and Authority in Egalitarian Society*.— AA. 1978, vol. 80, № 3, с. 571—588.
- ²⁸ Классообразование может пониматься как в широком, так и в более узком смысле. В первом случае оно будет охватывать, по существу, всю историю первобытного общества с момента складывания технико-экономических предпосылок появления регулярного избыточного продукта и формирования частной собственности. Во втором случае имеется в виду этап разложения первобытнообщинного строя, непосредственно предшествующий складыванию антагонистических классов и политического общества.
- ²⁹ Эванс-Причард Э. Э. Нуэры. Описание способов жизнеобеспечения и

политических институтов одного из нилотских народов. М., 1985, с. 153—156; *Evans-Pritchard E. E. Nuer Religion*. Oxf., 1956, с. 108—111, 289—303.

³ *Морган Л. Г. Древнее общество, или Исследование линий человеческого прогресса от дикости через варварство к цивилизации*. Л., 1934, с. 329.

См.: Философский энциклопедический словарь, с. 11.

² *Weber M. Wirtschaft und Gesellschaft...*, с. 124—126; *он же. Die drei -reinen Typen der legitimen Herrschaft...* — *Weber M. Soziologie. Weltgeschichtliche Analysen. Politik*. Stuttgart, 1956, с. 151—166; *он же. Staatssoziologie*, с. 98—110.

⁴ *Weber M. Staatssoziologie*, с. 99.

⁴ См., например: *Кон И. С. Позитивизм в социологии*. Л., 1964, с. 119—120; *Кейзеров Н. М. Власть и авторитет...*, с. 105—106; *История буржуазной социологии XIX — начала XX века*. М., 1979, с. 258—262, 282—285.

⁴ Ср.: *Winkelmann J. Legitimitat und Legalitat in Max Webers Herrschaftssoziologie*. Tubingen, 1952.

⁴ См по этому поводу, например: *Poulantzas N. Pouvoir politique et classes sociales de l'Etat capitaliste*. P., 1968, с. 155—158; *Ayoade J. A. A. The Bureaucratisation of Traditional Institutions: A Case Study of Traditional Political Leadership in Western Nigeria*. — Symposium Leo Frobenius. Rapport final... Koln, Mimchen, 1974, с. 67—91.

⁴ *Falters L. A. Bantu Bureaucracy. A Study of Integration and Conflict in the Political Institutions of An East African People*. Cambridge, 1956.

⁴ *Radcliffe-Brown A. R. Method in Social Anthropology*. Chicago, 1958, с. 172.

Глава 2

¹ Я исхожу из предложенного Ю. В. Бромлеем понимания общества как системы социальных отношений, а культуры — как присущего данному обществу способа деятельности составляющих его человеческих коллективов; см.: *Бромлей Ю. В. Очерки теории этноса*. М., 1983, с. 98.

См., например: *Семенов Ю. И. Об одном из типов традиционных социальных структур Африки и Азии: прагосударство и аграрные отношения*, — *Государство и аграрная эволюция в развивающихся странах Азии и Африки*. М., 1980, с. 115—128.

² См., например: *Гуревич А. Я. Проблемы генезиса феодализма в Западной Европе*. М., 1970; *он же. Категории средневековой культуры*. М., 1984; *Бессмертный Ю. Л. Об изучении массовых социально-культурных представлений каролингского времени*. — *Культура и искусство западноевропейского средневековья*. М., 1981; *Идеология феодального общества в Западной Европе: проблемы культуры и социально-культурных представлений средневековья в современной зарубежной историографии*. Реферативный сборник. М., 1980; *Ислам. Религия, общество, государство*. М., 1984; *Duby G. Hommes et structures du moyen age*. P., 1973; *он же. Les Trois Ordres ou l'imaginaire du feodalisme*. P., 1978. Характерно, однако, что ни одно из этих исследований не посвящено политической культуре, как таковой, и она рассматривается в общем социологическом контексте средневековья.

² *Almond G. A. Comparative Political Systems*. — *The Journal of Politics*. 1956, vol. 18, № 3, с. 391—409.

См., например: *Кейзеров Н. М. О соотношении категорий «власть» и «политическая культура» (Критика буржуазных концепций)*. — СГП. 1983, № 1, с. 77—86; *он же. Формирование политической культуры развитого социализма*. — СГП. 1984, № 2, с. 18—25; *Куркин Б. А. Политическая культура*. — СГП. 1983, № 7, с. 48—55; *Бурлацкий Ф. М., Галкин А. А. Социология. Политика. Международные отношения*. М., 1974; *они же. Современный Левиафан. Очерки политической социологии капитализма*. М., 1985; *Вятр Е. Социология политических отношений*. М., 1979.

² *Куббель Л. Е. Потегстарно-политическая культура докапиталистических обществ (к постановке проблемы)*. — СЭ. 1980, № 1, с. 3—18; *он же. Традиционная политическая культура и колониальное общество*. — НАА. 1981, № 6,

с. 26—37; он же. Этнические общности и потестарно-политические структуры доклассового и раннеклассового общества.— Этнос в доклассовом и раннеклассовом обществе. М., 1982, с. 124—146.

¹ Бурлацкий Ф. М. Ленин. Государство. Политика. М., 1970, с. 55; см. также: Политические системы современности (очерки). М., 1978, с. 43; Бурлацкий Ф. М., Галкин А. А. Современный Левиафан..., с. 197—198.

² Кейзеров Н. М. Формирование политической культуры развитого социализма, с. 21.

³ Философский энциклопедический словарь. М., 1983.

⁴ Юридический энциклопедический словарь. М., 1984, с. 261.

⁵ Almond G. A. Comparative Political Systems, с. 396.

⁶ Paden J. N. Religion and Political Culture in Kano. Berkeley etc., 1973, с. 1—14.

⁷ Almond G., Verba S. The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy in Five Nations. Boston — Toronto, 1964; Political Culture and Political Development. Ed. Pye L. W., Verba S. Princeton, 1965; Almond G., Powell J. B. Comparative Politics: A Developmental Approach. Boston, 1966. Вот, например, определение, которое дает С. Верба: «Политическая культура общества заключается в системе эмпирических представлений, экспрессивных символов и ценностей, которая определяет ситуацию, в какой имеет место политическое действие. Она дает субъективную ориентацию в отношении политики» (Verba S. Comparative Political Culture.— Political Culture and Political Development, с. 513).

⁸ Обзор дискуссий вокруг проблемы политической культуры в западной немарксистской политологии см.: Бурлацкий Ф. М., Галкин А. А. Новый Левиафан..., с. 178—197.

⁹ Там же, с. 190—191.

¹⁰ Kim Y. C. The Concept of Political Culture in Comparative Politics.— The Journal of Politics. 1964, vol. 26, № 2, с. 335—336.

¹¹ О соотношении понятий этнография и антропология см.: Аверкиева Ю. П. Этнография и культурная/социальная антропология на Западе.— СЭ. 1971, № 5, с. 9—16; Бромлей Ю. В. Этнос и этнография. М., 1973, с. 180—181.

¹² Куркин Б. А. Политическая культура, с. 55.

¹³ Там же, с. 48.

¹⁴ Маркарян Э. С. Очерки теории культуры. Ер., 1969, с. 11; он же. О генезисе человеческой деятельности и культуры. Ер., 1973, с. 41—42; он же. Теория культуры и современная наука (логико-методологический анализ). М., 1983, с. 115. Обзор дискуссии вокруг этого определения см.: Боголюбова Е. В. Культура и общество (вопросы истории и теории). М., 1978, с. 194—200; Бромлей Ю. В. Очерки теории этноса, с. 97—99.

¹⁵ См., например: Маркарян Э. С. Системное исследование человеческой деятельности.— ВФ. 1972. № 10, с. 80 и ел.; Каган М. С. Человеческая деятельность. М., 1974; Соколов Э. В. Культура и личность. Л., 1972.

¹⁶ См., например: Маркарян Э. С. Очерки теории культуры, с. 27, 64; Са-рингулян К. С. Проблемы определения и видовой классификации норм культуры.— Философские проблемы культуры. Тб., 1980, с. 80—81; Firth R. Social Organisation and Social Change.— JRAI. 1954, vol. 84, pt 1, с. 10; Nadel S. F. The Theory of Social Structure. L., 1957, с. 149.

¹⁷ Соколов Э. В. Культура и личность, с. 99—153.

¹⁸ Каган М. С. Человеческая деятельность, с. 233—235; Маркарян Э. С. Теория культуры и современная наука..., с. 62.

¹⁹ В более ранней классификации Э. В. Соколова, бывшей менее дробной, чем приведенная выше, и строившейся вокруг «технических» функций культуры, информация и коммуникация были объединены именно в рамках коммуникативной функции, связанной со знаковой техникой; см.: Соколов Э. В. Культура.— Ученые записки Ленинградского педагогического института им. А. И. Герцена, 1968, с. 376—378. Эту классификацию принял и Э. С. Маркарян; см.: Маркарян Э. С. Очерки теории культуры, с. 85—86.

²⁰ См., например: Durkheim E. Les formes elementaires de la vie religieuse. P., 1912; Malinowski B. Coral Gardens and Their Magic. N. Y., 1935; Firth R.

The Work of the Gods in Tikopia. L., 1940; *он же*. Tikopia Ritual and Belief. L., 1967; *Evans-Pritchard E. E.* Nuer Religion. Oxf., 1956; *Wilson M.* Communal Rituals among the Nyakyusa. L., 1959; *Gluckman M.* Politics, Law and Ritual in Tribal Society. Oxf., 1965; *Middleton J.* Lugbara Religion: Ritual and Authority Among an East African People. L., 1960; *Munn N. D.* Symbolism in a Ritual Context: Aspects of Symbolic Action.— Handbook of Social and Cultural Anthropology. Ed. Honigmann J. J. Chicago, 1973, с. 579—612; *Errington F.* Karavar: Masks and Power in a Melanesian Ritual. Ithaca, 1974; *Leach E.* Culture and Communication: the Logic by Which Symbols Are Connected. Cambridge etc., 1979; *Turner V.* The Ritual Process. Structure and Antistructure. Ithaca, 1979; *Duncan H. D.* Communication and Social Order. L. etc., 1968; *он же*. Symbols and Social Theory. N. Y., 1969; *Edelman M.* The Symbolic Uses of Politics. Urbana, 1972.

²⁷ *Токарев С. А.* Проблема типов этнических общностей (К методологическим проблемам этнографии).— ВФ. 1964, № 10, с. 53; *Бромлей Ю. В.* Этнос и этнография, с. 52; *он же*. Очерки теории этноса, с. 124—128.

²⁸ См. об этом: *Куббель Л. Е.* «Формы, предшествующие капиталистическому производству» Карла Маркса и некоторые аспекты возникновения политической организации.— СЭ. 1987, № 3, с. 3—17.

²⁹ См.: *Smith M. G.* Pluralism in Precolonial African Societies.— Pluralism in Africa. Ed. Kuper L., Smith M. G. Berkeley etc., 1971, с. 96.

³⁰ *Перушиц А. И.* Проблемы нормативной этнографии.— Исследования по общей этнографии. М., 1979, с. 214—219; *Pershits A. I.* The Primitive Norm and its Evolution.—CA. 1977, vol. 18, № 3, с. 409—412.

³¹ В этих условиях еще сохраняется в большей или меньшей степени предположение о родственных связях между всеми членами общества, относятся ли они к рядовым общинникам или к складывающемуся правящему слою (или протоклассу)⁴, т. е., по меткому выражению М. Салинза, перефразировавшего Дж. Оруэлла, когда все — родичи и все — члены общества, но «некоторые более члены, чем прочие» (*Sahlins M. D.* Tribesmen. Englewood Cliffs, 1968, с. 24).

³² *Cohen Y. A.* Ends and Means in Political Control: State Organisation and the Punishment of Adultery, Incest, and Violation of Celibacy.— AA. 1969, vol. 71, № 4, с. 665—674.

³³ *Чебоксаров Н. Н.* Проблемы типологии этнических общностей в трудах советских ученых.— СЭ. 1967, № 4, с. 99.

³⁴ См., например: *Бромлей Ю. В.* Очерки теории этноса, с. 123—124.

³⁵ См., например: *Service E. R.* Origins of the State and Civilisation. The Process of Cultural Evolution. N. Y., 1975, с. 15, 294—295; *Cohen R.* Introduction.— Origins of the State. The Anthropology of Political Evolution. Ed. Cohen R., Service E. R. Philadelphia, 1978, с. 16. В менее категоричной форме этот же тезис высказывается и относительно ранних государств; см.: *Skalnik P.* The Early State as a Process.— The Early State. Ed. Claessen H. J. M., Skalnik P. The Hague etc., 1978, с. 615—616.

³⁶ *Radcliffe-Brown A. R.* Preface.— African Political Systems Ed. Fortes M., Evans-Pritchard E. E., с. XXI. См. также: *Heusch L., de.* Aspects de la sacralité du pouvoir en Afrique.— *Heusch L., de.* et al. Le Pouvoir et le Sacré Bruxelles, 1962, с. 140.

³⁷ См.: *Eißenstadt S. N.* Dynamics of Civilisation and Development: the Case of European Society.— Essays on Economic Development and Social Change. Chicago, 1977.

³⁸ *Naroll R.* On Ethnic Unit Classification.—CA. 1964 vol. 5, № 4, с. 286—288.

³⁹ См.: *Steward J. H.* Theory of Culture Change. The Methodology of Multilinear Evolution. Urbana, 1955, с. 36—39. В более поздней и обобщенной форме такое понимание см., например, у У. Сандерса и Б. Прайса: «Культура данного народа... может рассматриваться как комплекс технических приемов приспособления к проблемам выживания в определенной географической области» (*Sanders W. T., Price B. J.* Mesoamerica. The Evolution of a Civilisation. N. Y., 1968, с. 73). Сходная, но более широкая постановка проблемы принадлежит в нашей литературе Э. С. Маркаряну, говорящему о культуре как об «особой

совокупности средств и механизмов решения различных проблем, с которыми сталкиваются ее носители» (Маркарян Э. С. О генезисе человеческой деятельности и культуры, с. 42; *он же*. Очерки теории культуры, с. 77—78).

^{4а} См., например: *Schapera I. Government and Politics in Tribal Societies. Josiah Mason Lectures Delivered at the University of Birmingham. L., 1956., c. 8, 218; Dole G. Tribe as an Autonomous Unit.— Essays on the Problem of Tribe. Proceedings of the 1967 Annual Spring Meeting of the American Ethnological Society. Ed. Helm J. Seattle, 1968, c. 92; она же. Comment: Naroll R. On Ethnic Unit Classification. CA. 1964, vol. 5, № 4, c. 294.*

⁴ *Herskovits M. J. Man and His Works. The Science of Cultural Anthropology. N. Y., 1949, c. 585—589.*

Eggan F. Cultural Drift and Social Change.— Eggan F. Essays in Social Anthropology and Ethnology. Chicago, 1975, c. 259—262.

^{4б} См.: *Чебоксаров Н. Н. Проблемы типологии..., c. 101; Service E. R. Origins of the State and Civilisation..., c. 64.*

⁴⁴ *Southall A. W. Alur Society. A Study in Processes and Types of Domination. Cambridge, 1953, c. 248—253.*

⁴ *Арутюнов С. А., Чебоксаров Н. Н. Передача информации как механизм существования этносоциальных и биологических групп человечества.— Расы и народы. Ежегодник. 2. М., 1972, c. 19.*

⁴ *Куббель Л. Е. Традиция в информационной сети культуры: функциональные и трансформация.— СЭ. 1985, № 6, c. 17—28.*

⁴ *Казанов А. М. (при участии Куббеля Л. Е., Созиной С. А.). Первобытная периферия докапиталистических обществ.— Первобытное общество. Основные проблемы развития. М., 1975, c. 140—204; Первобытная периферия классовых обществ до начала великих географических открытий (проблемы исторических контактов). М., 1978.*

⁴ См., например: *Gibb H. A. R. The Influence of Islamic Culture on Medieval Europe.— Bulletin of the John Rylands Library. 1955—1956, № 38, c. 82—98; Rodinson M. Dynamique de l'évolution interne et des influences externes dans l'histoire culturelle de la Méditerranée.— Actes du I Congrès d'Etudes des Cultures méditerranéennes d'influence arabo-berbère. Alger, 1973, c. 22—23.*

⁴ Первобытная периферия классовых обществ..., с. 252—258.

⁴ См., например: *Goody J. Technology, Tradition, and the State in Africa. L. etc., 1971.*

⁴ *Куббель Л. Е. Потестарно-политическая культура докапиталистических обществ..., c. 14—16.*

⁴ *Маркарян Э. С. Узловые проблемы теории культурной традиции.— СЭ. 1981, № 2, c. 80.*

⁴ *Trimingham J. S. The History of Islam in West Africa. Oxf., 1962; Froelich J. C. Les Musulmans de l'Afrique Noire, P., 1962; она же. Essai sur les causes et méthodes de l'islamisation de l'Afrique de l'Ouest du XIe au XXe siècle.— Islam in Tropical Africa. Ed. Lewis I. M. L., 1966; Hunwick J. O. Religion and State in the Songhay Empire.— Islam in Tropical Africa; Hiskett M. An Islamic Tradition of Reform in Western Sudan from the XVI to XVIII Century,—BSOAS. 1962, vol. 25, № 3, c. 577—596; Stępniewska B. Portée sociale de l'Islam au Soudan Occidental aux XIVe—XVIe s.—Africana Bulletin. Warszawa, 1971, № 14.*

⁴ Сенегальский исследователь П. Диань предлагает именовать такие регионы «политическими пространствами» (espaces politiques); ср.: *Diagne P. Pouvoir politique traditionnel en Afrique Occidentale. Essai sur les institutions politiques précoloniales. P., 1967.*

⁴ *Secoy F. R. Changing Military Patterns on the Great Plains. Seattle., 1953 (American Ethnological Society Monographs, № XXI); Sahlins M. D. Tribesmen, c. 41—42.*

⁴ *Бурлацкий Ф. М., Галкин А. А. Современный Левиафан..., c. 199.*

⁴ *Бурлацкий Ф. М. Ленин. Государство. Политика, c. 108.*

⁴ См., например: *Verba S. Comparative Political Culture, c. 518, 519, примеч. 5.*

⁴ *Генинг В. Г. Этнический процесс в первобытности. Опыт исследования закономерностей зарождения и раннего развития этноса. Свердловск, 1970.,*

с. 40—41; *Бромлей Ю. В.* Этнос и этнография, с. 125—126; *он же.* Очерки теории этноса, с. 116—117.

⁵ *Bohannan L.* Political Aspects of Tiv Social Organisation.—*Tribes Without Rulers. Studies in African Segmentary Systems.* Ed. Middleton J., Tait D. L. 1958, с. 65.

См., например: *Кабо В. Р.* [рец. на кн.: *Fried M. H.* The Notion of Tribe. Menlo Park, 1976].—*НАА.* 1979, № 2, с. 229—234; *Бромлей Ю. В.* Очерки теории этноса, с. 244—273; *Fried M. H.* The Notion of Tribe,

⁶ *Schaedel R. P.* Early State of the Incas.—*The Early State*, с. 290; *Earle T. K.* Economic and Social Organisation of a Complex Chiefdom: the Halelea District, Kaua'i, Hawaii. Ann Arbor, 1978; *Kirch P. V.* The Evolution of the Polynesian Chiefdoms. Cambridge etc., 1984.

⁶ *Арутюнов С. А., Чебоксаров Н. Н.* Передача информации..., с. 25.

⁶ *Бартольд В. В.* Халиф и султан.—*Бартольд В. В.* Сочинения. Т. 6, с. 15—72; *он же.* Теократическая идея и светская власть в мусульманском государстве.—*Там же.*, с. 303—319; Ислам в истории народов Востока (сб. статей), М., 1981; Ислам. Религия, общество, государство. М., 1984; *Gardet L.* La Cite musulmane. P., 1952; *Rosenthal E.* Political Thought in Medieval Islam. Cambridge, 1962; *Lambton A.* State and Government in Medieval Islam. Oxf., 1982.

⁶ Использование этого термина не означает «автоматической» солидарности со взглядами создавшего его Дж. Фёрниволла (см., например: *Furnivall J. S.* Netherlands India: A Study of Plural Economy. Cambridge, 1939).

⁶ *Smith M. G.* Pluralism in Precolonial African Societies, с. 94.

⁶ *Ленин В. И.* Критические заметки по национальному вопросу.—*Полное собрание сочинений.* Т. 24, с. 120—121.

⁶ *Корсунский А. И.* Готская Испания. М., 1969.

⁶ *Maquet J. J.* The Premise of Inequality in Ruanda. A Study of Political Relations in a Central African Kingdom. L. etc., 1961, с. 104—159; *Heusch L., de.* Le Rwanda et la civilisation interlacustre. Etudes d'anthropologie historique et culturelle. Bruxelles, 1966, с. 403—459.

⁶ *Salzman Ph. S.* The Proto-State in Iranian Baluchistan.—*Origins of the State. The Anthropology of Political Evolution*, с. 127—128, 138—139.

См., например: *Иетрушевский И. И.* Земледелие и аграрные отношения в Иране в XIII—XIV вв. М.—Л., 1960.

⁶ *Ahmed A. G. M.* Tribal and Sedentary Elites: A Bridge between Two Communities.—*The Desert and the Sown. Nomads in the Wider Society.* Ed. Nelson C. Berkeley, 1973, с. 75—96.

⁶ *Paden J. N.* Religion and Political Culture in Kano, с. 387—397.

⁶ Об этом см.: *Waardenburg J. D. J.* Official and Popular Religion as a Problem in Islamic Studies.—*Official and Popular Religion. Analysis of a Theme for Religious Studies.* Ed. Vrijhof P. H. and Waardenburg J. The Hague etc., 1979, с. 340—386.

⁶ Ср.: *Coulon Ch.* Les musulmans et le pouvoir en Afrique noire. Religion et contre-culture. P., 1983, с. 50—51.

⁶ *Nicolas G.* Dynamique sociale et apprehension du monde au sein d'une societe hausa. P., 1975, с. 18 (Travaux et memoires de l'Institut d'Ethnologie, t. LXXVIII).

⁶ Там же, Б 523—545.

⁶ *Raques V.* Le Roi pecheur et le Roi chasseur. Strasbourg, 1977, с. 60—62.

Глава 3

¹ *Кейзеров Н. М.* Власть и авторитет: Критика буржуазных теорий. М... 1973, с. 16.

² Описание социально-психологического механизма этого явления см.: *Поршнев Б. Ф.* Социальная психология и история. М., 1979, с. 153—155.

² См., например: *Godelier M.* La Part ideale du reel. Essai sur l'ideologie.—*L'Homme.* 1978, t. XVIII, № 3—4, с. 176.

² См.: *Перицу А. И.* Проблемы нормативной этнографии.—*Исследования по общей этнографии.* М., 1979, с. 210—240.

- ⁵ Философский энциклопедический словарь. М., 1983, с. 199—200.
- ⁶ Маркс К. и Энгельс Ф. Немецкая идеология.— Маркс К. и Энгельс Ф. Сочинения. 2-е изд. Т. 3, с. 16; Энгельс Ф. Анти-Дюринг.— Маркс К. и Энгельс Ф. Сочинения. 2-е изд. Т. 20, с. 97.
- ⁷ Маркс К. и Энгельс Ф. Немецкая идеология, с. 46.
- ⁸ См., например, материалы сборника: *Heusch L., de et al. Le Pouvoir et le sacre Bruxelles, 1962*, а также: *The Study of the State. Ed. Claessen H. J. M., Skalnik P. The Hague etc., 1981.*
- ⁹ *Weber M. Wirtschaft und Gesellschaft (Grundriss der Sozialökonomik, III). Tubingen, 1922, с. 140—148; он же. Soziologie. Weltgeschichtliche Analysen, Politik. Stuttgart, 1956, с. 159—166.*
- ¹⁰ См., например: *Claessen H. J. M., Skalnik P. Ubi sumus? The Study of the State Conference in Retrospect.—The Study of the State, с. 475—480, 484.*
- ¹¹ *Balandier G. Anthropologie politique. P., 1978, с. 121—122.*
- ¹² Ср.: *Schapera I. Government and Politics in Tribal Societies. L., 1956; Sahlins M. D. Social Stratification in Polynesia. Seattle, 1958; Hocart A. M. Kings and Councillors. An Essay in the Comparative Anatomy of Human Society, Cairo, 1936, с. 131—136, 152.*
- ¹³ *Фрэзер Д. Золотая ветвь. М., 1982.*
- ¹⁴ *Claessen H. J. M. Specific Features of the African Early State.— The Study of the State, с. 66, 80.*
- ¹⁵ Там же, с. 65; *Muller J.-C. «Divine Kingship» in Chiefdoms and States. A Single Ideological Model.—The Study of the State, с. 239—241.*
- ¹⁶ *Claessen H. J. M. Specific Features..., с. 73.*
- ¹⁷ *Морган Л. Г. Лита Ходеносауни, или ирокезов. М., 1983, с. 44—46.*
- ¹⁸ *Seaton S. L. The Early State in Hawaii.—The Early State. Ed. Claessen H. J. M., Skalnik P. The Hague etc., 1978, с. 270—280.*
- ¹⁹ *Weber M. Soziologie..., с. 160.*
- ²⁰ *Hecht E. D. Der Herrscher und seine Ratgeber im afrikanischen sakralen Konigtum. Tervuren, 1969, с. 207—218; Eggan F. Social Organisation of the Western Pueblos. Chicago, 1950, с. 106—108.*
- ²¹ *Кейзеров Н. М. Власть и авторитет, с. 108—109; Куббель Л. Е. Потестарная и политическая этнография.— Исследования по общей этнографии. М., 1979, с. 262—263.*
- ²² *Маркс К. и Энгельс Ф. Немецкая идеология.— Маркс К. и Энгельс Ф. Сочинения. 2-е изд. Т. 3, с. 46.*
- ²³ *Beattie J. Checks on the Abuse of Political Power in Some African States: A Preliminary Framework for Analysis.— Comparative Political Systems. Studies in the Politics of Pre-Industrial Societies. Ed. Cohen R., Middleton J. Garden City, 1967, с. 361—363.*
- ²⁴ См., например: *Leenhardt M. Notes d'Ethnologie Neo-Caledonienne. P., 1930; Guiart J. Structure de la chefferie en Melanesie du Sud. P., 1963; Sahlins M. D. Moala: Culture and Nature on A Fijian Island. Ann Arbor, 1962.*
- ²⁵ *Balandier G. Anthropologie politique, с. 119—127.*
- ²⁶ *Эванс-Причард Э. Э. Нуэры. Описание политических институтов и способов жизнеобеспечения одного из пилотских народов. М., 1985, с. 142, 165, 166.*
- ²⁷ *Southall A. Alur Society. A Study in Processes and Types of Domination. Cambridge, 1953, с. 238.*
- ²⁸ Там же, с. 30, 31, 86, 92, 195, 239, 363—364.
- ²⁹ *Skinner E. P. An Analysis of the Political Organisation of the Mossi People.—Transactions of the N. Y., Academy of Sciences. N. Y., 1957, ser. II, vol. XIX, № 8, с. 740—750; он же. The Mossi of the Upper Volta. The Political Development of a Sudanese People. Stanford, 1964, с. 13—19, 32, 36—40, 127—128; Delobson D. A. L'Empire de Morho-Naba (Coutumes du Mossi). P., 1932; Zahan D. The Mossi Kingdoms.— West African Kingdoms in the Nineteenth Century. Ed. Forde D., Kaberry P. Oxf., 1967, с. 152—178.*
- ³⁰ *Drucker-Brown S. The Structure of the Mamprusi Kingdom and the Cult of Ndam.—The Study of the State, с. 117—131.*
- ³¹ Там же; *Claessen H. J. M., Skalnik P. Ubi sumus? с. 477.*
- ³² *Mair L. Primitive Government. Harmondsworth, 1962.*

³³ Bohannan P., Bohannan L. The Tiv of Central Nigeria. L., 1953 (Ethnographic Survey of Africa. West Africa, pt VIII); Bohannan L. Political Aspects of Tiv Social Organisation.—Tribes Without Rulers. Ed. Middleton J., Tait D. L. L., 1958, с. 33—36.

Понятия этно и эмного уровней описания культуры были предложены лингвистом К. Пайком в 1954 г. по аналогии с фонетическим (phonetic) и фонематическим (phonemic) уровнями описания лингвистического. См.: Pike K. L. Etic and Emic Standpoints for the Description of Behavior.—Communication and Culture. Ed. Smith A. N. Y., 1966, с. 152—161 (перепечатка первой главы книги, увидевшей свет двенадцатью годами раньше: Pike K. L. Language in Relation to Unified Theory of Human Behavior. Glendale, 1954); он же. Towards a Theory of the Structure of Human Behavior.—Language in Culture and Society. Ed. Hymes D. N. Y., 1964, с. 54—61.

³⁴ См., например: Geertz C. From the Native's Point of View: On the Nature of Anthropological Understanding.—Meaning in Anthropology. Ed. Basso K.-H., Selby H. A. Albuquerque, 1976; Harris M. History and Significance of the Emic—Etic Distinction.—Annual Review of Anthropology. Vol. V, 1976, с. 329—350; Feleppa R. Emics, Etics, and Social Objectivity.—CA. 1986, vol. 27, № 3 (June), с. 343—355.

³⁵ Beattie J. Rituals of Nyoro Kingship.—Africa. L., 1959, vol. XXIX, № 2, с. 141—144; он же. Bunyoro. An African Kingdom. N. Y., 1960, с. 26—29; он же. On the Nyoro Concept of Mahano.—African Studies. 1960, vol. 19, № 2; он же. The Nyoro State. Oxf., 1971, с. 95—122.

³⁶ Balandier G. Anthropologie politique, с. 121.

³⁷ Ср.: Durkheim E., Mauss M. De quelques formes de classification.—Annee Sociologique. 1901—1902, t. VI.

³⁸ См.: Block M. Les Rois-thaumaturges. P., 1924.

³⁹ Ср.: Arens W. The Demise of Kings and the Meaning of Kingship: Royal Funerary Ceremony in the Contemporary Southern Sudan and Renaissance France.—Anthropos. 1984, t. 79, № 4/6, с. 361—364.

⁴⁰ См. по этому поводу обзорную статью: Munn N. Symbolism in a Ritual Context: Aspects of Symbolic Action.—Handbook of Social and Cultural Anthropology. Ed. Honigmann J. J. Chicago, 1973, с. 579—612. Ср.: Leach E. Culture and Communication. The Logic by which Symbols Are Connected. Cambridge etc., 1979, с. 33—45.

⁴¹ Ср., например, коронационный инцест у шиллуков: Howell P. P. The Election and Installation of Reth Kur Wad Fafiti of the Shilluk.—Sudan Notes and Records. Khartoum, 1953, vol. 34, с. 197.

⁴² В данном случае я придерживаюсь понимания классовобразования как эпохи, непосредственно предшествовавшей разложению первобытнообщинного строя и формированию государства. См.: Исследования по общей этнографии. М., 1979, с. 125—126.

⁴³ В этом смысле несомненный интерес представляет анализ психологических аспектов восприятия власти и отношения к ней. См.: Вятр Е. Социология политических отношений. М., 1979, с. 272—294.

⁴⁴ Сам по себе управленческий труд, подчеркивал К. Маркс, остается трудом производительным. См.: Маркс К. Капитал. Т. III.—Маркс К. и Энгельс Ф. Сочинения. 2-е изд. Т. 25. Ч. I. с. 422.

⁴⁵ Fried M. H. The Evolution of Political Society. An Essay in Political Anthropology. N. Y., 1967; Service E. R. Origins of the State and Civilisation. The Process of Cultural Evolution. N. Y., 1975; Origins of the State. The Anthropology of Political Evolution. Ed. Cohen R., Service E. R. Philadelphia, 1978; The Early State. Ed. Claessen H. J. M., Skalnik P. Мне не кажется плодотворной попытка Л. С. Васильева ввести в русский обиход транскрипцию английского chiefdom. См.: Васильев Л. С. Протогосударство-чифдом как политическая структура.—НАА. 1980, № 1; он же. Проблемы генезиса китайского государства. М., 1983.

⁴⁶ См.: Куббель Л. Е. Формирование отношений зависимости и эксплуатации в доколониальной Африке.—НАА. 1986, № 3, с. 72—81; История первобытного общества. Эпоха классовобразования (в печати).

⁴⁷ Firth R. We, the Tikopia: A Sociological Study of Kinship in Primitive

Polynesia. L., 1957, с. 345—361; *Sahlins M. D.* Social Stratification in Polynesia, с. 139—180.

³ *Gluckman M.* The Kingdom of Zulu.—African Political Systems. Ed. Fortes M., Evans-Pritchard E. E. L., 1940, с. 25—55; *он же.* Order and Rebellion in Tribal Africa. L., 1963; *Kuper H.* An African Aristocracy: Rank among the Swazi. L., 1947.

³¹ *Gluckman M.* Order and Rebellion..., с. 19.

³ См., например: *Fortes M.* The Political System of the Tallensi of the Northern Territories of the Gold Coast.—African Political Systems, с. 238—271 *он же.* The Dynamics of Clanship among the Tallensi. L., 1945.

³² *Морган Л. Г.* Лига Ходеносауни, или ирокезов, с. 16, 58.

³³ *Kuper H.* An African Aristocracy..., с. 47—49, 68—71.

³⁴ *Gluckman M.* Order and Rebellion..., с. 22.

³⁵ *Gluckman M.* Politics, Law, and Ritual in Tribal Society. Oxf., 1965, с. 216—267.

³⁶ *Gluckman M.* Order and Rebellion..., с. 102—106; *он же.* Politics..., с. 45, 48—50; *Schapera I.* Government and Politics in Tribal Societies. L., 1956, с. 205, 207; *он же.* Kinship and Politics in Tswana History.—JRAI. 1963, vol. 93, pt 1, с. 159—173; *Sellnow I.* Zur Rolle der Volksmassen im Prozess des Staatenbildung. Ein Beitrag auf der Grundlage ethnographischen Materials.—Beiträge zur Entstehung des Staates. Hrsg. Hermann J., Sellnow I. 2. Aufl. B., 1974, с. 134—146.

³⁷ *Fried M. H.* On the Evolution of Social Stratification and the State.—Culture in History. Essays in Honor of Paul Radin. Ed. Diamond S. N. Y., 1960, с. 713—730; *он же.* The Evolution of Political Society..., с. 185—191, 224—226.

³⁸ *Dumezil G.* Mitra-Varuna. Essai sur deux representations europeennes de la souverainete. P., 1948, с. 92—94. Чередование римских царей Ж. Дюмезиль рассматривает как проявление более общего принципа, собственного общественно-психологической организации всех индоевропейских народов, хотя позднейшие исследователи считают, что сфера действия этого принципа не ограничивалась индоевропейцами и что он имеет универсальный характер. См., например: *Miller D. A.* Royaute et ambiguïté sexuelle.—Annales. Economies. Societes. Civilisations. 1971, 26-е année, № 3 et 4 (Numero special. Histoire et structure), с. 640. Сводку материалов, освещающих процессы синхронного становления военных дружин и королевской власти у индоевропейских народов, и их осмысления в общественном сознании, см.: *Hallpike C. R.* Principles of Social Evolution. Oxf., 1986, с. 349—364.

³⁹ *Gluckman M.* Order and Rebellion..., с. 118—135.

⁴⁰ *Perrot C.-H.* Be di murua: un rituel d'inversion sociale dans le royaume agni de l'Indenie.—CEA. 1967, vol. VII, № 27, с. 434—443. Фигура, аналогичная *abuqahenne*, использовалась и в Буньоро при смене правителей в доколониальную эпоху. См.: *BeaShe J.* Bunyoro..., с. 28; *он же.* The Nyoro State, с. 116.

⁴¹ См., например: *Heusch L., de.* Essais sur le symbolisme de l'inceste royal en Afrique. Bruxelles, 1959; *он же.* Le Roi iyre ou l'origine de l'Etat. P., 1972; *Verdier R.* Observations preliminaires a une étude sociologique des systemes politiques negro-africains traditionnels.—Recueil de la Societe Jean Bodin pour l'Histoire comparative des institutions. XXII. Gouvernants et gouvernes. Bruxelles, 1969, с. 153—196; *Makarius L.* Le Sacre et la violation des interdits. P., 1970.

⁴² См., например: *Mailer J.-C.* «Divine Kingship» in Chiefdoms and States..., с. 246; ср.: *Girard R.* La Violence et le sacre. P., 1972.

⁴³ *Beattie J.* Checks on the Abuse of Political Power..., с. 355—373.

⁴⁴ Об этой категории см., например: *Гуренко Н. М.* К вопросу об эволюции систем родства у некоторых народов Экваториальной и Тропической Африки.—Africana. Африканский этнографический сборник. XI. Л., 1978, с. 13—53; *он же.* Система терминов родства и система социальных категорий.—СЭ. 1974, № 6^А с. 41—50.

⁴⁵ См.: *Hackenbergh R. A.* Genealogical Method in Social Anthropology: the Formation of Structural Demography.—Handbook of Social and Cultural Anthropology, с. 289—325.

- ⁸⁸ *Goody J.* Introduction.— *Succession to High Office*. Ed. Goody J. Cambridge etc., 1979, c. 29—39; *Verdier R.* Observations préliminaires..., c. 158.
- ⁸⁷ *Bohannan L.* A Genealogical Charter.—Africa. 1952, vol. XXII, № 1, c. 301—315; *Vansina J.* Afterthoughts on the Historiography of Oral Tradition.— African Historiographies. What History for Which Africa? Ed. Jewsiewicki B., Newbury. D. Beverly Hills, 1986, c. 108.
- ⁸⁶ *Moniot H.* Profile of a Historiography. Oral Tradition and Historical Research in Africa.— African Historiographies..., c. 56.
- ⁷⁹ *Drucker-Brown S.* The Structure of the Mamprusi Kingdom..., c. 127.
- ⁷⁰ *Nadel S. F.* A Black Byzantium. The Kingdom of Nupe in Nigeria. L. etc., 1942, c. 72.
- Помимо уже упоминавшихся работ Я. Вансины и А. Моньо см. статьи А. Баззана, Ж.-П. Кретъена и Д. Хениджа в кн.: African Historiographies..., c. 59—104.
- ⁷ *Bloch M.* Introduction.— Political Language and Oratory in Traditional Society. Ed. Bloch M. L. etc., 1975, c. 4.
- ⁸ Там же, c. 13.
- ⁷⁴ *Goody J.* The Domestication of the Savage Mind. Cambridge etc., 1977, c. 112—128.
- ⁵ *Bloch M.* Decision-Making in Council among the Merina. Councils in Action. Ed. Richards A., Kuper A. Cambridge, 1971 (Cambridge Papers in Social Anthropology, № 6); *Keenan E.* A Sliding Sense of Obligatoriness: The Polystructure of Malagasy Oratory.— Political Language and Oratory in Traditional Society, c. 93—112.
- ⁷⁰ *Bloch M.* Introduction.— Political Language and Oratory in Traditional Societies, c. 13.
- ⁷¹ *Weber M.* Wirtschaf und Gesellschaft (Grundriss der Sozialökonomik. III), c. 130—140.
- ⁸ *Firth R.* Speech-Making and Authority in Tikopia.— Political Language and Oratory in Traditional Society, c. 39.
- ⁹ *Guiart J.* Structure de la chefferie en Melanesie du Sud, c. 132.
- ⁸⁰ *Goody E.* Greeting, Begging and the Presentation of Respect.— The Interpretation of Ritual. Ed. La Fontaine J. L. L., 1977, c. 39—73; *Drucker-Brown S.* The Structure of the Mamprusi Kingdom..., c. 123—124; *Seattle J.* Bunyoro. An African Kingdom, c. 29.
- ³ *Leach E. R.* Ritual — International Encyclopedia of Social Sciences. Vol. 13. N. Y., 1968.
- ⁸² *Goody E.* Greeting, Begging and Presentation..., c. 56—57.
- ⁸³ *Gluckman M.* Politics, Law and Ritual in Tribal Society, c. 109.
- ⁸⁴ *Abeles M.* «Sacred Kingship» and Formation of the State.— The Study of the State, c. 11.
- ⁸⁵ *Кнорозов Ю. В.* Иероглифические рукописи майя. Л., 1975, c. 254.
- ⁸⁶ *Godelier M.* Economy and Religion. An Evolutionary Optical Illusion.— The Evolution of Social Systems. Ed. Rowlands A., Friedman G. L., 1977, c. 8; *он же.* La Part idéale du réel, c. 179—180.
- ⁸⁷ *Leach E. R.* The Structure of Symbolism.—The Interpretation of Ritual, c. 240.
- ⁸⁸ *Richards A.* Social Mechanisms for the Transfer of Political Rights in Some African Tribes.—JRAI. 1960, vol. 90, pt 2, c. 177—179; *она же.* General Characteristics.— East African Chiefs. A Study of Political Development in Some Uganda and Tanganyika Tribes. Ed. Richards A. L., 1960, c. 33; *Cunnison I.* History and Genealogies in a Conquest State.— AA. 1957, vol. 59, № 1, c. 20—31; *он же.* The Luapula Peoples of Northern Rhodesia. Manchester, 1959, c. 14.
- ⁸⁹ *Fortes M.* The Dynamics of Clanship among the Tallensi Oxf¹ 1945 c. 26.

Глава 4

- ¹ *Schapera I.* Government and Politics in Tribal Societies. L., 1956 c. 41-
Marshall L. IKung African Bands.—Africa. 1960, vol. XXX, № 90, c. 351—352;

Meggitt M. I. Desert People. A Study of the Walbiri Aborigines of Central Australia. Sydney, 1962, с. 251 и ел. Кроме того, само по себе поддержание авторитета внутри группы представляет достаточно деликатную задачу: как подчеркивает К. Тернболл, говоря о пигмеях-мбути, «если охотничьи способности и придают определенный вес, то слишком большие способности могут повести к осмеянию. То есть мужчина, который изображает себя великим охотником и слишком громко похвалится своими достижениями, порой вызывает недоверие, и любая его попытка использовать свою репутацию для того, чтобы приобрести больше влияние, чем остальные, немедленно вызовет насмешки»; см.: *Turnbull C. The Wayward Servants. The Two Worlds of African Pygmies.* N. Y., 1965, с. 178—179.

² *Fried M. H. The Evolution of Political Society. An Essay in Political Anthropology.* N. Y., 1967, с. 83.

³ *Маркс К. и Энгельс Ф. Немецкая идеология.— Маркс К., и Энгельс Ф. Сочинения. 2-е изд. Т. 3, с. 27; Энгельс Ф. Происхождение семьи, частной собственности и государства.— Маркс К. и Энгельс Ф. Сочинения. 2-е изд. Т. 21.*

⁴ *Maine H. S. Ancient Law. Its Connections with Early History of Society and its Relation to Modern Ideas.* L., 1880, с. 129—131.

⁵ *Морган Л. Г. Древнее общество, или Исследование линий человеческого прогресса от дикости через варварство к цивилизации.* Л., 1934, с. 148—159, 189—194.

⁶ *Миллер Дж. Короли и сородичи. Ранние государства мбунду в Анголе.* М., 1984, с. 107—134.

⁷ *Томановская О. С. Лоанго, Каконго и Нгойо. Историко-этнографический очерк.* М., 1980, с. 97—101; *Fortes M. The Dynamics of Clanship among the Tallensi. L. etc., 1945, с. 32—40; Southall A. W. Alur Society. A Study in Processes and Types of Domination.* Cambridge, 1953, с. 158.

⁸ *Томановская О. С. О древних общественных структурах у народов Нижнего Конго (опыт реконструкции).— Этническая история Африки. Доклоны альпийского периода.* М., 1977, с. 131, примеч. 6.

⁹ *Fortes M., Evans-Pritchard E. E. Introduction.— African Political Systems.* Ed. Fortes M., Evans-Pritchard E. E. L., 1940, с. 6—8.

¹⁰ См., например: *Leach E. R. Political Systems of Highland Burma. A Study of Kachin Social Structure.* L., 1954, с. 86—87; *Barnes I. A. Politics in a Changing Society. A Political History of the Fort Jameson Ngoni.* Cape Town etc., 1954, с. 48—51; *Smith M. G. Segmentary Lineage Systems.— JRAI. vol. 86, pt II, с. 40—42; Eisenstadt S. N. Primitive Political Systems. A Preliminary Analysis.— AA. 1959, vol. 61, № 2, с. 206—207. Sahlins M. D. The Segmentary Lineage: An Organisation of Predatory Expansion.— AA. 1961, vol. 63, № 2, с. 333—334; Owusu M. Ethnography of Africa: The Usefulness of the Useless.— AA. 1978, vol. 80, № 2, с. 321—324 (в последнем случае критика концепции сегментного общества включена в общий контекст полного отрицания ценности работ европейских авторов для изучения африканских обществ).*

¹¹ Ср.: *Middleton I., Tail D. Introduction— Tribes Without Rulers. Studies in African Segmentary Systems. 1. , 195», с. 9—16.* К тому же в число сегментных обществ, как оказалось, вполне можно включить и некоторые кочевые и полуседельные общества, нахолящиеся на гораздо более высоком уровне социально-экономического развития, чем те, на материале которых была выработана сама концепция, например кочевых арабов Киренаики или пакистанских патанов. См.: *Evans-Pritchard E. E. The Sanusi of Cyrenaica.* Oxf., 1949; *Barth F. Political Leadership among Swat Pathans.* L., 1959; *Gellner E. Saints of the Atlas.* L., 1969; *Ahmed A. S. Religion and Politics in Muslim Society. Order and Conflict in Pakistan.* Cambridge etc., 1983,

¹² Ср.: *Lewis H. Problems in the Comparative Study of Unilineal Descent.— The Relevance of Models for Social Anthropology.* Ed. Gluckman M., Eggan F. (ASA. Monographs, 1). L—N. Y., 1965, с. 87—112.

¹³ *Калиновская К. Л. Возрастные группы народов Восточной Африки. Структура и функции.* М., 1976, с. 123.

¹⁴ *Калиновская К. Я. Возрастные группы народов Восточной Африки; Prins A. H. I. East African Age-Class Systems. An Inquiry into the Social Order of Galla, Kipsigis and Kikuyu.* Groningen, Djakarta, 1953; *Huntingford G. W.*

The Southern Nilo-Hamites L., 1953 (ESA, East Central Africa, pt. VI); *он же*. The Galla of Ethiopia. The Kingdoms of Kaffa and Janjero. L., 1955 (ESA, North-East Africa, pt. II).

⁵ Эванс-Причард Э. Э. Нуэры. Описание способов жизнеобеспечения и политических институтов одного из нилотских народов. М., 1985, с. 223—224.

⁶ Mair L. Primitive Government. Harmondsworth, 1962, с. 78.

⁷ Kuper H. An African Aristocracy. Rank among the Swazi. L., 194/, с. 120—121, 203; *она же*. The Swazi: A South African Kingdom. N. Y., 1963, с. 55—56.

⁸ Wilson H. Good Company: A Study of Nyakyusa Age-Villages. L., 1951, с. 22—31.

⁹ Eisenstadt S. N. From Generation to Generation. N. Y., 1956.

²⁰ Coult A. D., Habenstein R. W. Cross Tabulations of Murdock's World Ethnographic Sample. Columbia, 1965, с. 27.

²¹ Firth R. We, The Tikopia. A Sociological Study of Kinship in Primitive Polynesia. L., 1957, с. 345—361, 371; Kirchhoff P. The Principle of Clanship in Human Society.— Readings in Anthropology. Ed. Fried M. H. Vol. 2. N. Y., 1959, с. 259—270

²² Sahlins M. D. Social Stratification in Polynesia. Seattle, 1958, с. 140.

²³ Там же, с. 249—250; Seaton L. S. The Early State in Hawaii.— The Early State. Ed. Claessen H. J. M., Skalnik P. The Hague — Paris — New York, 1978, с. 269—287; Earle T. Economic and Social Organisation of a Complex Chiefdom: the Halelea District, Kana'i Hawaii. Ann Arbor, 1978; Goldman I. The Evolution of Polynesian Societies.— Culture in History. Essays in Honor of Paul Radin. Ed. Diamond S. N. Y., 1960, с. 696—698.

²⁴ См., например: Sanders W. T., Price B. J. Mesoamerica: The Evolution of a Civilisation. N. Y., 1968, с. 156—158.

²⁵ Southall A. W. Alur Society..., с. 104—106, 215—216.

²⁶ Balandier G. Anthropologie politique. P., 1978, с. 102—103.

²⁷ Fried M. H. The Evolution of Political Society..., с. 183.

²⁸ Ленин В. И. Великий почин.— Полное собрание сочинений. Т. 39, с. 15.

²⁹ Маркс К. и Энгельс Ф. Немецкая идеология.— Маркс К., и Энгельс Ф. Сочинения. 2-е изд. Т. 3, с. 46.

³⁰ Маркс К. и Энгельс Ф. Капитал. Т. III.— Маркс К. и Энгельс Ф. Сочинения. 2-е изд. Т. 25. Ч. I, с. 422.

³¹ Burrows E. G. Ethnology of Futuna.— В. P. Bishop Museum Bulletin, № 138, 1936, с. 43; Handy E. S. C. History and Culture in the Society Islands.— В. P. Bishop Museum Bulletin. № 79, 1930, с. 43; Beaglehole P. Ethnology of Pukapuka.— В. P. Bishop Museum Bulletin. № 150, 1938, с. 246; Firth R. The Work of Gods in Tikopia !., НМО, с. 2.)!>; *он же* Primitive Polynesian Economy. N. Y., 1950, с. 19B; Sahlins /VI. /). Sncial Stratification in Polynesia, с. 31—32, 98; *он же*. Moala: Culture and Nature in a l-'ijian Island Ann Arbor, 1962, с. 340—345; Guiart J. Structure de la chefferie en Melanesie du Sud. P., 1963, с. 652—660; Seaton S. L. The Early State in Hawaii, с. 280—286.

³² Union R. The Study of Man. N. Y., 1936, с. 113—115; Nadel S. F. The Theory of Social Structure. L., 1957, с. 82—83; Goodenough W. H. Rethinking «Status» and «Role». Toward a General Model of the Cultural Organisation of Social Relationships.— The Relevance of Models for Social Anthropology, с. 1—24.

³³ Fried M. H. On the Evolution of Social Stratification and the State.— Culture in History..., с. 718—720.

³⁴ Godelier M. Rationaite et irrationalite en economie. P, 1966, с. 255; См. также: Godelier M. L'Anthropologie economique.— Copans /, Tornay S., Godelier M., Backes-Clement C. L'Anthropologie: science des societes primitives? P 1971, с. 208—212.

³⁵ По этому поводу см., например: Carneiro R. The Four Faces of Evolution.— Handbook of Social and Cultural Anthropology. Ed Honigmann J J Chicago, 1973, с. 105—108.

³⁶ Энгельс Ф. Анти-Дюринг.— Маркс К. и Энгельс Ф. Сочинения 2-е изд Т. 20, с. 183—186.

³⁷ См., например: Gellner E. State Before Class: the Soviet Treatment of

African Feudalism.— Politics in Leadership. A Comparative Perspective. Ed. Shack W. A., Cohen P. S. Oxf., 1979, с. 193—220.

за Бромлей Ю. В., Першиц А. И. Ф. Энгельс и современные проблемы первобытной истории.— ВФ. 1984, № 4, с. 60.

³⁹ Goodenough W. H. Rethinking «Status» and «Role», с. 2. ^- 40 О соотношении понятий «государство» и «элементы государственности» см.: Куббель Л. Е. (Koubbel L. Ye.). Le Probleme de l'apparition des structures etatiques au Soudan Occidental.— Congres International des Africanistes. Deu-xieme session. Dakar, 11—20 Decembre 1967. P., 1972; он же. Сонгайская держава. Опыт исследования социально-политического строя. М., 1974, с. 345—346.

⁴ Ленин В. И. Государство и революция.— Полное собрание сочинений. Т. 33, с. 89.

⁴² Энгельс Ф. Происхождение семьи, частной собственности и государства.— Маркс К. и Энгельс Ф. Сочинения. 2-е изд. Т. 21, с. 170—171.

⁴³ См.: Гуревич А. Я. Свободное крестьянство и феодальное государство в Норвегии X—XII вв.—Средние века. XX. М., 1961, с. 13, 25, 27; Неусыхин А. И. Дофеодальный период как переходная стадия развития от родоплеменного строя к раннефеодальному (на материале Западной Европы раннего средневековья).— ВИ. 1967, № 1, с. 70, 81; Колесницкий Н. Ф. К вопросу о раннеклассовых общественных структурах.— Проблемы истории докапиталистических обществ. Кн. 1. М., 1968, с. 635.

⁴⁴ См., например: Кочакова Н. Б. Города-государства йорубов. М., 1968, <. 134—167; Heskovits M. J. Dahomey, an Ancient West African Kingdom. Vol. 2. Locust Valley. N. Y., 1938, с. 70—84; Akinjogbin J. A. Dahomey and Its Neighb. bourg, 1708—1818. Cambridge, 1967, с. 110—117.

⁴⁵ См., например: Кобищанов Ю. М. «Полудье» в Тропической Африке.— НАД. 1972, № 4, с. 65—78; Камерон В. Л. Пересекая Африку. М., 1981, с. 287—292.

⁴⁶ Fried M. H. The Evolution of Political Society, с. 240—242; он же. The State, the Chicken, and the Egg: or, What Came First? — Origins of the State. The Anthropology of Political Evolution. Ed. Cohen R., Service E. R. Philadelphia, 1978, с. 37; Price B. J. Secondary State Formation: An Explanatory Model.— Origins of the State..., с. 179—184; Khazanov A. M. Some Theoretical Problems of the Study of the Early State.— The Early State, с. 81—84.

⁴⁷ Энгельс Ф. К жилищному вопросу.— Маркс К. и Энгельс Ф. Сочинения. 2-е изд. Т. 18, с. 239.

⁴⁸ См. по этому поводу: Поршнев Б. Ф. Роль социальных революций в смене формаций.— Проблемы социально-экономических формаций. Историко-типологические исследования. М., 1975, с. 34.

⁴⁹ Бромлей Ю. В., Першиц А. И. Ф. Энгельс и современные проблемы первобытной истории, с. 58; Венгеров А. Б., Куббель Л. Е., Першиц А. И. Этнография и науки о государстве и праве.— Вестник АН СССР. М., 1984, № 10, с. 91.

⁵⁰ Sahlins M. D. Poor Man, Rich Man, Big Man, Chief. Political Types in Melanesia and Polynesia.— Comparative Studies in Society and History. 1963, vol. 5, № 3, с. 285—293.

⁵¹ Errington S. Order and Power in Karawar.— Anthropology of Power. Ethnographic Studies from Asia, Oceania, and the New World. Ed. Fogelson R. D., Adams R. N. N. Y., etc., 1977, с. 26.

⁵² Ср.: Hogbin H. I. Transformation Scene: The Changing Culture of a New Guinea Village. L., 1951, с. 131; Oliver D. A. Solomon Islands Society. Cambridge (Mass.), 1955, с. 446; Sahlins M. D. Stone Age Economics. L. 1974, с. 135—139.

⁵³ Errington S. Order and Power in Karawar, с. 36—37, 42.

⁵⁴ Mead M. Introduction.— Cooperation and Competition among the Primitive Peoples. Ed. M. Mead. N. Y., 1937, с. 32—33.

⁵⁵ Chowning A. An Introduction to the Peoples and Cultures of Melanesia. Menlo Park. Cal., 1973, с. XIV, 45.

⁵⁶ Brown P. From Anarchy to Satrapy — AA. 1963, vol. 65, № 1, с. 1—15; Salisbury R. Despotism and Australian Administration in the New Guinea Highlands—AA. 1964, vol. 66, pt 2 (4) [Special Publication], с. 225—239; Strat-

hern A. Despots and Directors in the New Guinea Highlands.— Man, 1966, vol. 1, № 1, с. 356—357; *Watson J. B.* Tairora: the Politics of Despotism in A Small Society.— Politics in New Guinea. Ed. Berndt R. M., Lawrence P. Perth, 1971, с. 224—275; *Godelier M.* La production des Grands Hommes. Pouvoir et domination masculine chez le Baruya de Nouvell-Guinee. P., 1982, с. 174—175.

⁵⁷ *Godelier M.* La production des Grands Hommes, с. 172—173.

⁶⁸ *Bulmer R.* Political Aspects of the Moka Ceremonial Exchange System among the Kyaka People of the Western Highlands of New Guinea.— Oceania. 1960, vol. XXXI, № 1, с. 1—13; *Read R. E.* Leadership and Consensus in a New Guinea Society.— AA. 1959, vol. 61, № 3, с. 425—436; *Lowman-Wayda Ch.* Maring Big Men.— Anthropological Forum. 1968, vol. II, № 2, с. 199—243; *Langness L. L.* Bena Bena Political Organisation.— Politics in New Guinea, с. 298—316; *Sillitoe P.* Big Men and War in New Guinea.— Man. 1978, vol. 13, № 2, с. 252—271; *Godelier M.* La production des Grands Hommes, с. 289.

Buxton J. «Clientship» among the Mandari of the Southern Sudan.— Comparative Political Systems. Studies in the Politics of Pre-Industrial Societies. Ed. Cohen R., Middleton J. Garden City, 1967, с. 231—236; *Leach E.* Political Systems of Highland Burma, с. 84 и ел.; *Maquet J.* The Premise of Inequality in Rwanda. A Study of Political Relations in Central African Kingdom. L. etc. 1961, с. 100—101, 134—142; он же. Institutionalisation feodale des relations de dependence.— CEA. 1969, vol. IX, № 3 (35), с. 408—411; *Heusch L., de.* Le Rwanda et la civilisation interlacustre. Etudes d'anthropologie historique et structurale. Bruxelles, 1969, с. 436—459; *Barth F.* Political Leadership among Swat Pathans, с. 90—92, 119—122; *Malr L.* Clientship in East Africa.— CEA. 1961, vol. II, № 6, с. 324—325; *Kabore G. V.* Garactere feodal dtesysteme politique, mossi.— CEA. 1962, vol. II, № 8, с. 613.

⁶⁹ *Маркс К.* Капитал. Т. I.— *Маркс К. и Энгельс Ф.* Сочинения 2-е изд. Т. 23, с. 377.

⁷⁰ *Миклухо-Маклай Н. Н.* Остров Уауп. Антрополого-этнографические заметки из дневника.— Собрание сочинений в пяти томах. Т. III. М.— Л., 1951; он же. Путешествие в Западную Микронезию и Северную Меланезию. Архипелаг Палау.— Собрание сочинений в пяти томах. Т. III; *Шаревская Б. И.* Старые и новые религии Тропической и Южной Африки. М., 1964; *Аверкиева Ю. П.* Индейцы Северной Америки. От родового общества к классовому. М., 1974, с. 81—82; *Андреев Ю. В.* Мужские союзы в поэмах Гомера.— ВДИ. 1964, № 4, с. 37—49; *Schurtz H.* Altersklassen und Mannertinde, Eirte Darstellung der Grundformen der Gesellschaft. B., 1902; *Webster H.* Primitive Secret Societies: A Study in Early Politics and Religion. N. Y., 1968; *Rivers W. H. R.* The History of Melanesian Society. Vol. I. Cambridge, 1914, с. 138 и ел.;

⁷¹ *Dennett R. E.* The Ogboni and other Secret Societies in Nigeria.— JAS. 1916, vol. 16, № 6; *Butt-Thompson F. W.* West African Secret Societies. Their Orga-

⁷² nisations, Officials and Teaching. L., 1929; *Harley G. W.* Notes on the Poro in Liberia. Cambridge (Mass.), 1941; *Hickerson H.* The Feast of the Dead among the Seventeenth-Century Algonkinians of the Upper Great Lake.— AA. 1960, vol. 62, № 1, с. 81—107; он же. Notes on the Post-Contact Origin of the Midewiwin.— Ethnohistory. 1962, vol. 9, № 4, с. 404—423.

⁷³ *Biobaku S.* The Egba and Their Neighbours, 1842—1872. L., 1957, с. 6.

⁷⁴ ⁶⁹ от как описывал эту диалектику У. Риверс: союзы—это-де организация, «посредством которой приобретает богатство. А так как продвинуться в этих корпорациях могут лишь богатые или же лица, имеющие богатых друзей, организация эта служит средством закрепления и даже демонстрации социального ранга, коль скоро ранг этот зависит от обладания богатством»; см.: *Rivers W. H. R.* The History of Melanesian Society. Vol. I, с. 141.

⁷⁵ ⁶⁴ *Ajisafe A. K.* The Laws and Customs of Yoruba Peoples. L., 1924, с. 90—91.

⁷⁶ ⁶⁵ *Burger F.* Die Kusten- und Bergvolker der Gasellenhalbinsel. Ein Beitrag zur Volkerkunde von Neuguinea unter besonderer Hervorhebung rechtlicher und sozialer Einrichtungen. Stuttgart, 1913, с. 11.

⁷⁷ ⁶⁶ *Hecht E. D.* Der Herrscher und seine Ratgeber im afrikanischen sakralen Konigtum — Musee Royal de l'Afrique Centrale. Annales, № 65. Tervuren, 1969, с. 216—217.

- ⁸⁷ Ср.: *Labouret H.* Les Manding et leur langue. P., 1934, с. 98—99.
- ⁶ *Hecht E. D.* Der Herrscher..., с. 31—32.
- ⁶⁹ *Энгельс Ф.* Происхождение семьи, частной собственности и государства. — *Маркс К.* и *Энгельс Ф.* Сочинения. 2-е изд. Т. 21, с. 164.
- ⁷⁰ *Морган Л. Г.* Древнее общество..., с. 86—87, 100.
- ⁷¹ Там же, с. 84—133.
- ⁷² *Морган Л. Г.* Ли́га Ходеносауни, или ирокезов. М., 1983, с. 58—61; *Goldenweiser A.* Iroquois Social Organisation.— *The North American Indians. A Source Book.* N. Y., 1967, с. 567—571. Правда, сам Л. Г. Морган демократизм Лиги оценивал довольно критически: скорее не столько как демократию, сколько как олигархию, т. е. в буквальном смысле слова «правление немногих», при том число этих немногих все более ограничивалось; см.: *Морган, Л. Г.* Ли́га Ходеносауни, или ирокезов, с. 59, 76—77.
- Потехин И. И.* Военная демократия матабеле.— Родовое общество. ТИЭ. М. сер. Т. XIV, 1949, с. 246—248.
- См., например: *Толстой С. П.* К вопросу о периодизации первобытной истории.— СЭ. 1946, № 1, с. 26, 30; *Косвен М. О.* К вопросу о военной демократии.— Проблемы истории первобытного общества. ТИЭ. Н. сер. Т. LIV. М.—Л., 1960, с. 241—261; *Аверкиева Ю. П.* О месте военной демократии в истории индейцев Северной Америки.— СЭ. 1970, № 5, с. 33—45; *Авдиев В. И.* Военная демократия и классовый характер древнейшего государства.— ВИ. 1970, № 1, с. 89—102; *Абрамзон С. М.* Некоторые вопросы социального строя кочевых обществ.— СЭ. 1970, № 6, с. 61—74; *Лашук Л. П.* О характере классовообразования в обществах ранних кочевников.— ВИ. 1967, № 7, с. 111 и ел.
- ⁷⁶ *Хазанов А. М.* «Военная демократия» и эпоха классовообразования.— ВИ. 1968, № 12, с. 93—97; *он же.* Социальная история скифов. М., 1975, с. 217; *Первобытное общество. Основные проблемы развития.* М., 1975, с. 128; *Гуревич А. Я.* Свободное крестьянство феодальной Норвегии. М., 1967, с. 90—91; *Неусыхин А. И.* Дофеодальный период..., с. 80—82; *Перишц А. И., Монгайт А. Л., Алексеев В. П.* История первобытного общества. 3-е изд. М., 1982, с. 188, 194—195; *Венгеров А. Б., Куббель Л. Е., Перишц А. И.* Этнография и науки о государстве и праве, с. 90.
- Gluckman M.* The Kingdom of Zulu in South Africa.— *African Political Systems*, с. 54—55; *Hecht E. D.* Der Herrscher..., с. 208—216; *Kubbel L. E.* Ideologie und Ritual bei der Herausbildung einer obersten Macht beim Übergang zur frühen Klassengesellschaft.— *EAZ.* 1982, 23, Jg., H. 1, с. 63—72.
- ⁷⁷ *Harris M.* Cannibals and Kings. The Origins of Cultures. N. Y., 1977, с. 78.
- ⁷⁸ *Кобищанов Ю. М.* Системы общинного типа.— Община в Африке. Проблемы типологии. М., 1978, с. 254—260; *он же.* Мелконатуральное производство в общинно-кастовых системах Африки. М., 1982, с. 145—149.
- ⁷⁹ *Первобытное общество. Основные проблемы развития*, с. 126. Реальное содержание таких систем зависит во многом от того смысла, который вкладывается разными исследователями в понятие «каста»; ср.: *Кобищанов Ю. М.* Системы общинного типа, с. 256; *Кудрявцев М. К.* Община и каста в Хиндустане (из жизни индийской деревни). М., 1971, с. 37 и ел.; *Leach E. R.* Aspects of Caste in South India, Ceylon, and Pakistan. Cambridge, 1960, с. 6; *Maquet L.* Pouvoir et société en Afrique. P., 1970, с. 148; *Vaughan L. H.* Caste Systems in Western Sudan.— *Social Stratification in Africa.* Ed. Tuden A., Plotnikov L. N. Y.—L., 1970, с. 62; *Todd D. M.* Caste in Africa.— *Africa.* 1977, vol. 47, № 4, с. 398—412.
- ⁸⁰ *Maquet I.* The Premise of Inequality in Rwanda, с. 110—117; *он же.* Rwanda Castes.— *Social Stratification in Africa*, с. 93—122.
- ⁸¹ Ср.: *Back L.* Traditional Rwanda: Deconsecrating a Sacred Kingdom.— *The Study of the State.* Ed. Claessen H. J. M., Skalnik P. The Hague etc., 1981, с. 15—33.
- ⁸² См., например: *Маретина С. А.* Община у горных народов Ассам.— Община и социальная организация у народов Восточной и Юго-Восточной Азии. Л., 1967, с. 24—25, 35—38.
- ⁸³ *Первобытное общество...*, с. 126.
- ⁸⁴ *Итс Р. Ф., Яковлев А. Г.* К вопросу о социально-экономическом строе

лянынаньской группы народности и.— Община и социальная организация у народов Восточной и Юго-Восточной Азии, с. 106.

⁸⁶ См., например: *Бромлей Ю. В.* Очерки теории этноса. М., 1983, с. 247. *Fried M. H.* The Evolution of Political Society, с. 154—174; *он же.* The Notion of Tribe. Menlo Park, 1975; *Hymes D.* Linguistic Problems in Defining the Concept of «Tribe».— Essays on the Problem of Tribe. Seattle, 1968, с. 23—48; *Southall A. W.* The Illusion of Tribe.—JAAS. 1970, vol. 5, № 1, с. 28—50; *Leach E. R.* Political Systems of Highland Burma, с. 290—291, а так же предисловие к изданию 1977 г. (L., 1977, с. XV).

Кабо В. Р. [рец. на кн.: *Fried M. H.* The Notion of Tribe].— НАА. 1979, № 2, с. 229—234; *Бромлей Ю. В.* Очерки теории этноса, с. 247—248.

Морган Л. Г. Лига Ходеносауни, или ирокезов, с. 27—31; *Аверкиева Ю. П.* Индейцы Северной Америки..., с. 230—231.

⁸⁹ *Аверкиева Ю. П.* Индейцы Северной Америки..., с. 230. *Oberg K.* Indian Tribes of Northern Matto Grosso.— Smithsonian Institution (Institute of Social Anthropology Publications, № 15). Wash., 1953.

Service E. Primitive Social Organisation. An Evolutionary Perspective. N Y 1971, с. 132—169; *он же.* Origins of the State and Civilisation. The Process of Cultural Evolution. N. Y., 1975, с. 74—78, 86—97, 294—296; *он же.* Profiles in Ethnology. N. Y., 1967, с. 496—498.

⁹² *Fried M. H.* On the Evolution of Social Stratification and State, с. 720 и ел.; *он же.* The Evolution of Political Society..., с. 185—226.

⁹³ *Васильев Л. С.* Проблема генезиса китайского государства (формирование основной социальной структуры и политической администрации). М., 1983, с. 32—40.

⁹⁴ Там же, с. 40. ⁹⁵ *Васильев Л. С.* Протогосударство-чифдом как политическая структура.—НАД. 1981, № 6, с. 159, примеч. 13.

⁹⁶ *Васильев Л. С.* Становление политической администрации.— НАА, 1980, № 1, с. 192 и ел.; *он же.* Протогосударство-чифдом как политическая структура, с. 157, 174—175.

⁹⁷ *Першиц А. И.* Социально-экономическая терминология в понятийном аппарате этнографии.— СЭ. 1983, № 5, с. 67.

⁹⁸ *Васильев Л. С.* Проблема генезиса китайского государства..., с. 40—43.

⁹⁹ *Harris M.* Cannibals and Kings, с. 76. В этом смысле представляет несомненный интерес замечание Дж. Фридмена о том, что «логика фетиши зированного представления о трудовом процессе определяет форму, принимаемую политическим развитием»; см.: *Friedman J.* Tribes, States, and Transformations.— Marxist Analyses and Social Anthropology. Ed. Bloch M. L., 1975, с. 173.

¹⁰⁰ См., например: *Spencer B., Gillen F.* The Native Tribes of Central Australia. L., 1899, с. 10; *Howitt A. W.* The Native Tribes of South-Western Australia. L., 1904, с. 293; *Marshall L.* IKung African Bands, с. 344 и ел.

Forde C. D. Habitat, Economy, and Society. L., 1934, с. 135; *Stirling M. W.* Historical and Ethnographic Material on the Jivaro Indians.— Smithsonian Institution. Bureau of American Ethnology. Bulletin № 117. Wash., 1938, с. 56; *Metraux A.* Native Tribes of Eastern Bolivia and Western Mato Grosso.— Smithsonian Institution. Bureau of American Ethnology. Bulletin № 134. Wash., 1942, с. 125; *Reay M.* The Kuma. Freedom and Conformity in the New Guinea Highlands. Melbourne, 1959, с. 47—48; 84—85, 97—98, 161.

¹⁰¹ *Lenski G. E.* Power and Privilege. A Theory of Social Stratification. N. Y. etc., 1966, с. 44—46, 132 и ел.

¹⁰⁵ См., например: *Kottak C. P.* Ecological Variables in the Origin and Evolution of African States: the Buganda Example.— Comparative Studies in Society and History. 1972, vol. 14, № 3; *Khazanov A. M.* Some Theoretical Problems of the Study of the Early State.— The Early State. Ed. Claessen H. J. M., Skalnik P. The Hague etc., 1978, с. 77—92.

¹⁰⁶ *Seaton S. L.* The Early State in Hawaii, с. 270—274; *Earle T. K.* A Reappraisal of Redistribution: Complex Hawaiian Chiefdoms.— Exchange Systems in Prehistory. Ed. Earle T. K., Ericson. N. Y., 1977, с. 213—232; *он же.* Economic

and Social Organisation..., с. 167—196; *Kirch P. V.* The Evolution of the Polynesian Chiefdoms. Cambridge etc., 1984, с. 217—263.

¹¹⁵ *Claessen H. J. M., Skalnik P.* The Early State: Theories and Hypotheses.— *The Early State*, с. 22—23.

¹¹⁶ *Claessen H. J. M., Skalnik P.* Limits: Beginning and End of the Early State.— *The Early State*, с. 633—634.

¹¹⁷ *Cohen R.* State Origins: A Reappraisal — *The Early State*, с. 67—69.

¹¹⁸ *Энгельс Ф.* Происхождение семьи, частной собственности и государства.— *Маркс К- и Энгельс Ф.* Сочинения. 2-е изд. Т. 21, с. 171.

¹¹⁹ *Маркс К- и Энгельс Ф.* Сочинения. 2-е изд. Т. 21, с. 171.

¹²⁰ *Hocart A. M.* Kings and Councillors. An Essay in Comparative Anatomy of Human Society. Cairo, 1936, с. 158. Аргументацию Э. Хокарта воспроизводят Э. Сервис и Л. С. Васильев: *Service E. R.* Origins of the State and Civilisation, с. 297, 307; *Васильев Л. С.* Проблема генезиса китайского государства, с. 288, примеч. 20 к гл. 1, см. также: *Godelier M.* L'Anthropologie économique, с. 209—210.

¹²¹ *Fried M. H.* On the Evolution of Social Stratification and the State, с. 713—714, 782; *он же.* Warfare, Military Organisation, and the Evolution of Society.— *Anthropologica*. 1961, vol. 3, с. 134—147; *он же.* The Evolution of Political Society, с. 214.

См., например: *Barnes J. A.* Politics in a Changing Society; *Carneiro R. L.* A Theory of the Origin of the State.—*Science*. 1970, vol. 169, № 3947, с. 733—738; *он же.* Political Expansion as an Expression of the Principle of Competitive Exclusion.—Origins of the State. Ed. Cohen R., Service E. R. Philadelphia, 1978, с. 205—224; *он же.* Foreword.—*Otterbein K.* The Evolution of War. New Haven, 1970, с. XII и ел.; критику концепции Р. Карнейро см.: *Хазанов А. М.* Классообразование: факторы и механизмы.— Исследования по общей этнографии. М., 1979, с. 137—139; *Haas J.* The Evolution of the Prehistoric State. N. Y., 1982, с. 135—136.

¹²² Детальный анализ таких теорий см.: *Cohen R.* Introduction.—Origins of the State, с. 1—20; *он же.* Warfare and State Formation: Wars Make States and States Make Wars.— *Warfare, Culture, and Environment*. Ed. Ferguson R. B. Orlando etc., 1984, с. 329—358. См. также: *Otterbein K. F.* The Anthropology of War.— *Handbook of Social and Cultural Anthropology*. Ed. Honigmann J. J., с. 940—948.

¹²³ См.: *Meggors D. J.* Amasonia: Man and Culture in a Counterfeit Paradise. Chicago, 1971, с. 109.

¹²⁴ *Gardner R., Heider K. G.* Gardens, Environment, and Society in the Central Highlands of New Guinea. Seattle, 1972; *Morren G. E. B. Jr.* Warfare on the Highland Fringe of New Guinea: The Case of the Mountain Ok.— *Warfare, Culture, and Environment*, с. 169—207.

¹²⁵ См., например: *Stevenson R. F.* Population and Political Systems in Africa. N. Y., 1968, с. 160—187, 228—232; *Carneiro R. L.* On the Relationship between Size of Population and Complexity of Social Organisation.— *SWJA*. 1967, vol. 23, № 2, с. 234—243.

¹²⁶ Первобытная периферия классовых обществ до начала великих географических открытий (проблемы исторических контактов). М., 1978, с. 254—258..

¹²⁷ *Wittfogel K.* Oriental Despotism. A Comparative Study of Total Power. New Haven, 1957, с. 324.

¹²⁸ *Перишиц А. И.* Проблемы нормативной этнографии.— Исследования по общей этнографии. М., 1979, с. 221—223.

¹²⁹ *Claessen H. J. M.* The Early State: A Structural Approach.—*The Early State*, с. 559—561.

¹³⁰ *Куббель Л. Е.* Доколониальные политические структуры Африки в западноевропейской этнографии (критический обзор тенденций). — *СЭ*. 1977, № 4, с. 155—168.

Глава 5

4/1 *Чебоксаров Н. Н.* Проблемы типологии этнических общностей в трудах советских ученых.—*СЭ*. 1967, № 4, с. 96; *Арутюнов С. А., Чебоксаров Н. Н.*

Передача информации как механизм существования этносоциальных и биологических групп человечества.— *Расы и народы*. Ежегодник. 2. М., 1972, с. 10.

² *Бромлей Ю. В.* Этнос и этнография. М., 1973, с. 40; он же. Очерки теории этноса. М., 1983, с. 63.

Бромлей Ю. В. Этнос и этнография, с. 38—39.

⁴ См.: *Balandier G.* Sens et puissance. Les Dynamiques sociales. P., 1981, с. 43—67.

⁵ *Maquet J.* Pouvoir et societe en Afrique. P., 1970, с. 13.

⁶ Более подробно О понимании этнической общности в зарубежной и советской науке см.: *Шнирельман В. А.* Проблема доклассового и раннеклассового этноса в зарубежной этнографии.— *Этнос в доклассовом и раннеклассовом обществе*. М., 1982, с. 207—252; *Бромлей Ю. В.* Очерки теории этноса, с. 7—21.

⁷ *Токарев С. А.* Проблема типов этнических общностей (К методологическим проблемам этнографии).— ВФ. 1964, № 11, с. 53.

⁸ *Naroll R.* On Ethnic Unit Classification.—CA. 1964, vol. 5, № 4, с. 283—285; он же. The Culture-Bearing Unit in Cross-Cultural Surveys.— *Handbook of Method in Cultural Anthropology*. Ed. Naroll R, Cohen R. N. Y., 1973, с. 731—732; *Dole G.* Tribe as the Autonomous Unit.— *Essays on the Problems of Tribe*. Ed. Helm J. Seattle—London, 1968, с. 92.

Бромлей Ю. В. Этнос и этносоциальный организм.— *Вестник АН СССР*. 1970, № 8; он же. Этнос и этнография, с. 37, 42—43; он же. Современные проблемы этнографии, с. 28, 37; он же. Очерки теории этноса, с. 59, 70.

¹ *Козлов В. И.* О понятии этнической общности.— СЭ. 1967, № 2, с. 106.

¹ *Balandier G.* Anthropologie politique. P., 1978, с. 162—163.

² См., например: *Barth F.* Introduction.— *Ethnic Groups and Boundaries*. Ed. Barth F. Oslo etc., 1969, с. 19—20; *Peterson J. T.* Hunter-Gatherer/Farmer Exchange.—AA. 1978, vol. 80, № 2, с. 346—348.

³ *Кушнер П. И.* (Кнышев). Этнические границы и этнические территории.— *ТИЭ*. Н. сер. Т. XV, 1951, с. 21.

⁴ *Barth F.* Introduction, с. 14—17.

⁵ *Арутюнов С. А., Чебоксаров Н. Н.* Передача информации, с. 26—27.

⁶ *Чебоксаров Н. Н.* Проблемы типологии этнических общностей..., с. 100.

⁷ См., например: *Nadel S. F.* The Theory of Social Structure. L., 1957, с. 122.

⁸ *Хлопин И. Н.* Сегментация в истории первобытного общества.— *ВИ*. 1968, № 8, с. 100, 104—105.

⁹ См., например: *Казанов А. М.* Классообразование: факторы и механизмы.— *Исследования по общей этнографии*. М., 1979, с. 138—140; *Бромлей Ю. В., Першиц А. И.* Ф. Энгельс и современные проблемы первобытной истории.— ВФ. 1984, № 4, с. 44—61; *Бромлей Ю. В.* Очерки теории этноса, с. 274—294; *Sahlins M. D.* The Segmentary Lineage: An Organisation of Predatory Expansion.—AA. 1961, vol. 63, № 2, с. 332—345.

¹⁰ См., например: *Smith M. G.* On Segmentary Lineage Systems.—JRAI. 1956, vol. 86, pt 2, с. 40—42; *Leach E. R.* Political Systems of Highland Burma. A Study of Kachin Social Structure. L., 1954, с. 86—87; *Lombard J.* Structures de type feodal en Afrique Noire. Etude des dynamismes internes et des relations sociales chez les Bariba du Dahomey. Paris, La Haye, 1965, с. 349—350.

¹¹ *Арутюнов С. А., Чебоксаров Н. Н.* Передача информации, с. 24—26; *Куббель Л. Е.* Этнические общности и потестарно-политические структуры доклассового и раннеклассового общества.— *Этнос в доклассовом и раннеклассовом обществе*, с. 128; *Service E. R.* Primitive Social Organisation. An Evolutionary Perspective. 2nd ed. N. Y., 1971, с. 100—109.

¹² *Маркс К.* Критика политической экономии.— *Маркс К. и Энгельс Ф.* Сочинения. 2-е изд. Т. 46. Ч. 1, с. 100.

¹³ *Лашук Л. П.* О формах донациональных этнических общностей.— *ВИ*. 1967, № 4, с. 83—85; он же. Введение в историческую социологию. Вып. 2. Конкретные проблемы исторической социологии. М., 1977, с. 64—76.

¹⁴ *Энгельс Ф.* Франкский период.— *Маркс К. и Энгельс Ф.* Сочинения. 2-е изд. Т. 19, с. 496.

² Эванс-Причард Э. Э. Нуэры. Описание способов жизнеобеспечения и политических институтов одного из нилотских народов. М., 1985, с. 169—215; Fortes M., Evans-Pritchard E. E. Introduction.—African Political Systems. Ed. Fortes M., Evans-Pritchard E. E. L., 1940, с. 1—24; Fortes M. The Dynamics of Clanship Among the Tallensi. L., 1945 (passim); Smith M. G. On Segmentary Lineage Systems (passim); Middleton J., Tait D. Introduction.— Tribes Without Rulers. Studies in African Segmentary Systems. Ed. Middleton J., Tait D. L., 1958, с. 5—29; Bohannan L. Political Aspects of Tiv Social Organisation.— Tribes Without Rulers..., с. 33—66; Lienhardt G. The Western Dinka.— Tribes Without Rulers..., с. 97—135; Mair L. How Far Have We Got in the Study of Politics?— Studies in African Social Anthropology. Ed. Fortes M., Patter-son S. L., New York—San Francisco, 1975, с. 7—20.

³ Эванс-Причард Э. Э. Нуэры..., с. 81—84.

⁴ Sahlins M. D. The Segmentary Lineage, с. 334.

⁵ Энгельс Ф. Происхождение семьи, частной собственности и государства.— Маркс К- и Энгельс Ф. Сочинения. 2-е изд. Т. 21, с. 164.

⁶ Ср.: Берзин Э. О. Некоторые вопросы возникновения раннеклассовых обществ.— Общее и особенное в историческом развитии стран Востока. Материалы дискуссии об общественных формациях на Востоке (азиатский способ производства). М., 1966, с. 63—64; Андреев И. Л. Экономические предпосылки складывания классов.— Труды Тюменского индустриального института, Вып. 7. Ч. II, 1969, с. 10.

В данном случае речь идет не об общем обозначении этнической общности, какое предлагал в свое время В. И. Козлов [см.: Козлов В. И. О классификации этнических общностей (состояние вопроса).— Исследования по общей этнографии, с. 14—15], а об этносоциальном организме, воспринимаемом со стороны его потестарных или политических функций. Хотя нельзя не признать, что предложенное В. И. Козловым понимание термина «потестарный» как таксона более высокого порядка, обозначающего любые отношения власти, включая и политические, заслуживало бы внимательного рассмотрения.

⁷ Southall A. W. Alur Society. A Study in Processes and Types of Domination. L., 1953, с. 200, 201, 233.

⁸ См., например: Чумтик Г. Н. Побережье Восточной Африки.— Железный век Африки. М., 1982, с. 85—107; Chittick N. The «Shirazb Colonisation of the East African Coast — JAH, 1965, vol. VI, № 3, с. 275—294; Matveiev V. V. The Development of Swahili Civilisation.— General History of Africa from the Twelfth to the Sixteenth Century. Ed. Niane D. T. Berkeley, 1984, с. 455—480.

⁹ Maquet J. The Premise of Inequality in Ruanda. A Study of Political Relations in a Central African Kingdom. L., 1961, с. 138—139; D'Hertefelt M. Les Clans du Rwanda ancien. Elements d'ethnopsychologie et d'ethnohistoire. Tervuren, 1971; Back L. Traditional Rwanda: Deconsecrating a Sacred Kingdom.— The Study of the State. Ed. Claessen H. J. M., Skalnik P. The Hague etc., 1981, с. 17—18, 30—31.

¹⁰ Першиц А. И. Этнос в раннеклассовых 'оседло-кочевнических' обществах.— Этнос в доклассовом и раннеклассовом обществе, с. 165—168.

¹¹ Southall A. W. Alur Society..., с. 242; он же. Rank and Stratification Among the Alur and Other Nilotic Peoples.— Social Stratification in Africa. Ed. Tuden A., Plotnikov L. N. Y., 1970, с. 31—46.

¹² Чебоксаров Н. И. Проблемы типологии этнических общностей..., с. 101; Southall A. W. Alur Society..., с. 249; Service E. R. Origins of the State and Civilisation. The Process of Cultural Evolution. N. Y., 1975, с. 64.

¹³ Cohen R., Middleton J. Introduction.— From Tribe to Nation in Africa. Ed. Cohen R., Middleton J. Scranton, 1970, с. 12—17.

¹⁴ Leach E. R. Political Systems of Highland Burma, с. 9, 106—107, 213—226.

¹⁵ См.: Морган Л. Г. Древнее общество, или Исследование линий человеческого прогресса от дикости через варварство к цивилизации. Л., 1934, с. 7, 40, 72; История первобытного общества. Общие вопросы. Проблемы антропосоциогенеза. М., 1983, с. 118—120.

¹⁶ Leach E. R. Political Systems of Highland Burma, с. 107.

¹⁷ Smith M. G. Pluralism in Precolonial African Societies.— Pluralism in

Africa. Ed. Kuper L., Smith M. G. Berkeley, 1971, с. 93—97. Обзор типологии-Смита см.: *Шнирельман В. А.* Проблема доклассового и раннеклассового этноса..., с. 243 (необходимо только иметь в виду, что у Смита «сегрегация» необязательно связана с «угнетенным, неравноправным положением некоторых из них»).

Smith M. G. Pluralism in Precolonial African Societies, с. 97.

⁴⁶ См.: *Алексеев В. П., Бромлей Ю. В.* К изучению роли переселений в формировании новых этнических общностей.— СЭ. 1968, № 2, с. 35—36.

См.: *Кузеев Р. Г., Бабенко В. Я.* Малые этнические группы: основные этапы этнокультурного развития (по материалам СССР).— СЭ. 1985, № 4, с. 17—18.

⁴⁵ Ср.: *Pageard R.* Note sur le peuplement du pays de Segou — JSA. 1961, t. XXXI, fasc. I—2, с. 83—90.

⁴⁶ *Barth F.* Introduction, с. 17. «*»

⁴⁷ *Поршнев Б. Ф.* Социальная психология и история. М., 1979, с. 78—84; *Бромлей Ю. В.* Этнос и этнография, с. 28—29; *он же.* Современные проблемы этнографии, с. 15, 24; *он же.* Очерки теории этноса, с. 48, 56.

Маркс К. Формы, предшествующие капиталистическому производству.— *Маркс К. и Энгельс Ф.* Сочинения. 2-е изд. Т. 46. Ч. I, с. 466.

См., например: *Oberg K.* The Kingdom of Ankole in Uganda.— *African Political Systems*, с. 121—162; *Nadel S. F.* The Kede. A Riverain State in Northern Nigeria.— *African Political Systems*, с. 164—195; *он же.* A Black Buzantui. The Kingdom of Nupe in Nigeria. L., 1942, с. 122—135; *Verdier R.* Observations preliminaires a une etude sociologique des systemes politiques negro-africains. Recueils. Societe Jean Bodin pour l'histoire comparative des institutions. XXII. Gouvernes et gouvernants. Bruxelles, 1959, с. 162—163; *Plou T.* Servility and Political Control. Bothlanka among the BaTswana of Northern Botswana, ca. 1750—1906.— *Slavery in Africa. Historical and Anthropological Perspectives.* Ed. Miers S., Kopytoff I. Madison, 1977, с. 367—390.

⁵⁰ *Генинг В. Ф.* Этнический процесс в первобытности. Опыт исследования закономерностей зарождения и раннего развития этноса. Свердловск, 1970, с. 40—41; *Бромлей Ю. В.* Этнос и этнография, с. 126; *он же.* Современные проблемы этнографии, с. 46—49; *он же.* Очерки теории этноса, с. 81—84.

⁵¹ *Бромлей Ю. В.* Современные проблемы этнографии, с. 47; *он же.* Очерки теории этноса, с. 83.

⁵² *Васильева Э. К., Пименов В. В., Христолюбива Л. С.* Современные этнокультурные процессы в Удмуртии: программа и обследования.— СЭ. 1970, № 2, с. 57.

⁵³ *Бромлей Ю. В.* Современные проблемы этнографии, с. 47; *он же.* Очерки теории этноса, с. 83.

⁵⁴ *Маркс К.* Формы, предшествующие капиталистическому производству.— *Маркс К. и Энгельс Ф.* Сочинения. 2-е изд. Т. 46. Ч. I, с. 473.

⁵⁵ *Брук С. И., Чебоксаров Н. Н.* Метаэтнические общности.— *Расы и народы.* Ежегодник. 6. М., 1976, с. 28. Этнополитические общности определены здесь как такие, которые «складывались большей частью внутри существующих государств у народов, связанных между собой экономически и культурно и осознающих свою принадлежность к единому политическому целому, независимо от того, говорят ли эти народы на родственных или неродственных языках».

⁵⁶ *Крюков М. В.* Этнические и политические общности: диалектика взаимодействия.— *Этнос в доклассовом и раннеклассовом обществе*, с. 160—161.

⁵⁷ См., например: *Колесницкий Н. Ф.* Донациональные этнические общности (На материале средневековой Германии).— *Расы и народы.* Ежегодник 8. М., 1978, с. 23—24; *Lombard J.* Structures de type feodal..., с. 342.

⁵⁸ *Арутюнов С. А., Чебоксаров Н. Н.* Передача информации, с. 29.

⁵⁹ *Чебоксаров Н. Н.* Проблемы типологии этнических общностей..., с. 101; *Генинг В. Ф.* Этнический процесс..., с. 23; *Арутюнов С. А., Чебоксаров Н. Н.* Передача информации..., с. 23; *Чебоксаров Н. Н., Чебоксарова И. А.* Народы, расы, культуры. М., 1971, с. 70; *Бромлей Ю. В.* Этнос и этнография, с. 131; *он же.* Очерки теории этноса, с. 253—256; *Арутюнов С. А.* Этнические общ-

ности доклассовой эпохи.— Этнос в доклассовом и раннеклассовом обществе, с. 69 и ел.

⁶⁰ *Периц А. И.* Этнос в раннеклассовых оседло-кочевнических общностях, с. 177—178.

См., например: *Чебоксаров Н. Н., Чебокеарова И. А.* Народы, расы, культуры, с. 71—72.

Обзор дискуссии вокруг понятия племени см.: *Шнирельман В. А.* Проблема доклассового и раннеклассового этноса..., с. 226—241. См. также: *Fried M. H.* The Evolution of Political Society. An Essay in Political Anthropology. N. Y., 1967, с. 154—173; *он же.* On the Concept of «Tribe» and «Tribal Society».— Essays on the Problem of Tribe, с. 3—20; *он же.* The Notion of Tribe. Menlo Park, 1975; *Bessac F.* Cultunit and Ethnic Unit.— Essays on the Problem of Tribe, с. 58—71; *Hynes D.* Linguistic Problems of Defining the Concept of «Tribe».— Essays on the Problem of Tribe, с. 23—48; *Gearing F.* Sovereignities and Jural Communities in Political Evolution.— Essays on Problem of Tribe, с. 111—119; *Lewis H. S.* Typology and Process in Political Evolution.— Essays on Problem of Tribe, с. 101—110; *Cohen R., Schlegel A.* The Tribe as a Socio-Political Unit. A Cross-Cultural Examination.— Essays on Problem of Tribe, с. 120—149; *Cohen R., Middleton J.* Introduction.— From Tribe to Nation in Africa, с. 5—10; *Southall A. W.* The Illusion of Tribe — JAAS. 1970, vol. 5, с. 28—50; *Berndt R. M.* Territoriality and the Problem of Demarcating Sociocultural Space.— Tribes and Boundaries in Australia. Canberra, 1976, с. 133—161.

См.: *Кабо В. П.* [рец. на кн.: *Fried M. H.* The Notion of Tribe].— НАА. 1979, № 2, с. 229—234; *Бромлей Ю. В., Периц А. И., Ф. Энгельс* и современные проблемы первобытной истории.— ВФ. 1984, № 4, с. 61.

⁶¹ *Кушнер П. И.* [Кнышев]. Этнические границы..., с. 42 и ел.

⁶² *Хлопин И. Н.* Сегментация..., с. 108—109.

⁶³ *Козлов В. И.* Проблема этнического самосознания и ее место в теории этноса.— СЭ. 1974, № 2, с. 88—89.

⁶⁴ *Delafosse M.* La Langue mandingue et ses dialectes (malinke, bambara, dioula). T. 2. P., 1955, с. 475; *Westermann D., Bryan M. A.* Languages of West Africa. L., 1952, с. 34; *Ki-Zerbo J.* Histoire de l'Afrique Noire. D'Hier a Demain. P., 1972, с. 130.

⁶⁵ *Куббель Л. Е.* Сонгайская держава. Опыт исследования социально-политического строя. М., 1974, с. 81.

⁶⁶ *Толстовская О. С.* Этнос и этноним в предклассовом обществе: частные аспекты их соотношения.— Этнос в доклассовом и раннеклассовом обществе, с. 197—203.

⁶⁷ *Zamani.* A Survey of East African History. Nairobi, 1971, с. 82—83.

⁶⁸ *Томановская О. С.* Проблема происхождения яка-яга.— Africana. Африканский этнографический сборник. XIV. Труды ИЭ АН СССР. Н. сер. Т. СХIII Л., 1984, с. 82—84; *Миллер Дж.* Короли и сородичи. Ранние государства мбунду в Анголе. М., 1985, с. 135—154.

⁶⁹ *Колесщкий Н. Ф.* Донациональные этнические общности, с. 37.

⁷⁰ *Nadel S. F.* A Black Byzantium, с. 115—116, 121—122; *он же.* The Foundations of Social Anthropology. L., 1953, с. 149.

Г л а в а 6

¹ *Balandier G.* Sens et puissance. Les dynamiques sociales. P., 1981.

² *Weber M.* Wirtschaft und Gesellschaft (Grundriss der Sozialökonomik. III). Tubingen, 1922, с. 132—134; *он же.* Staatssoziologie. Hrsg. Winkelmann. J. B., 1966, с. 101—104.

³ См. об этом, например: *Симония Н. А.* Страны Востока: пути развития. М., 1975, с. 174—199; Эволюция восточных обществ: синтез традиционного и современного. М., 1984, с. 150—193.

⁴ *Конакова Н. Б.* Особенности производства и присвоения прибавочного продукта в странах Бенинского залива (Традиционные формы).— Социальные структуры доколониальной Африки. М., 1970, с. 17, примеч. 1.

⁵ См.: *Потехина Г. И.* Колониальные режимы и культура (на примере литературы Западной Африки).— Фольклор и литература народов Африки. Сб. статей. М., 1970, с. 289—300; *Ерасов Б. С.* Тропическая Африка: идеология и проблемы культуры. М., 1972, с. 5—82; *он же.* Социально-культурные традиции и общественное сознание в развивающихся странах Азии и Африки. М., 1982, с. 121—126; *Ольдерогге Д. А.* Колониальное общество — этап в этническом развитии народов Африки (Постановка проблемы).— Проблемы населения и хозяйства стран Африки. Л., 1973, с. 3—11.

⁶ Само понятие «колониальная ситуация» было предложено в литературе О. Маннони в 1950 г. (*Mannoni O.* Psychologic de la colonisation. P., 1950). Он, однако, сводил такую ситуацию к столкновению двух типов личности, т. е. сугубо социально-психологической стороне дела, за что и подвергся резкой критике со стороны Ж. Баландьё; см. его рецензию: *Cahiers Internationaux de Sociologie*. P., 1950, vol. 9, с. 183—186.

См.: *Balandier G.* Aspects de revolution sociale chez les Fang du Gabon.— *Cahiers Internationaux de Sociologie*. P., 1950, vol. 9, с. 76—106; *он же.* Sociologie actuelle de l'Afrique Noire. P., 1955. Анализ вопроса о колониальной ситуации и соответствующей ей форме общества в общетеоретическом плане см.: *Balandier G.* La Situation coloniale: approche theorique.— *Cahiers Internationaux de Sociologie*. P., 1951, vol. 11.

Исследования последних лет как у нас в стране, так и за рубежом все более раскрывают условность самих этих понятий. См.: *Зотова Ю. Н.* Проблема косвенного управления в англоязычной западноафриканской историографии.— СЭ. 1973, № 6, с. 126—134; *она же.* Традиционные политические институты Нигерии. Первая половина XX в. М., 1979, с. 129—133; *Адеоёе С. О.* Традиционные вожди в колониальном обществе йоруба, 1914—1939 гг. («Косвенное управление» в стране йоруба в межвоенный период). Автореф. канд. дне. М., 1974. *Ikime O.* Reconsidering Indirect Rule: The Nigerian Example.— *Journal of the Historical Society of Nigeria*. 1968, vol. IV, № 3; *Afigbo A. E.* The Warrant Chiefs. Indirect Rule in South-Eastern Nogeria, 1891—1929. London—Bristol, 1972; *он же.* The Establishment of Colonial Rule, 1900—1918.— *History of West Africa*. Ed. A. J. F. Adjayi, Crowder M. Vol. II. L., 1974, с. 463—465.

Термины, предложенные Л. И. Рейснером, см.: Эволюция восточных обществ, с. 107—149.

¹ *Balandier G.* Anthropologie politique. P., 1978, с. 188.

² Там же, с. 189.

³ Там же, с. 194.

⁴ *Bailey F. G.* Stratagems and Spoils. A Social Anthropology of Politics. Oxf. 1970, с. 195.

⁵ *Арутюнов С. А.* Инновации в культуре этноса и их социально-экономическая обусловленность.— Этнографические исследования развития культуры. М., 1985, с. 33—34.

⁶ *Bailey P. G.* Stratagems and Spoils..., с. 211—216.

⁷ *Арутюнов С. А., Чебоксаров Н. Н.* Передача информации как механизм существования этносоциальных и биологических групп человечества.— Расы и народы. Ежегодник. 2. М., 1972, с. 18—20; *Куббель Л. Е.* Традиция в информационной сети культуры: функционирование и трансформация.— СЭ 1985, № 6, с. 17—28.

⁸ *Sahlins M. D.* Moala. Culture and Nature on A Fijian Island. Ann Arbor, 1962, с. 380—384.

См.: *Френкель М. Ю.* Общественная мысль Британской Западной Африки во второй половине XIX в. М., 1977, с. 29—84; *Кочакова Н. Б.* Историко-африканцы в английских колониях Западной Африки в XIX в. Национальные историографии Нигерии и Ганы.— Историческая наука в странах Африки, М., 1979, с. 87—99.

См., например: *Яблочков Л. Д.* Проблемы деколонизации африканского общества.— Социальные сдвиги в независимых странах Африки. М. 1977, с. 25—26.

⁹ *Ерасов Б. С.* Социально-культурные традиции и общественное сознание..., с. 233—234. Мне представляется, что в принципе вопрос можно поста-

вить и шире: «двойная» апелляция к традиции — в охранительных и модернизаторских целях — достаточно типична и для тех государственных структур в развивающихся странах, которые Н. А. Симония определяет как парламентский авторитаризм и как неонапартистские режимы, или «контролируемую демократию» (см.: Эволюция восточных обществ, с. 296—390). Да и режимы, относимые исследователем к абсолютистско-монархическим [там же, с. 391—395], вовсе не чужаются такой практики в своей идеологически-пропагандистской деятельности. И кстати сказать, в значительной мере именно по такой модели строятся и все теории «исламского социализма».

² Bailey F. G. Stratagems and Spoils..., с. 156—166.

Там же, с. 146 («Перед какой фигурой мы ни оказываемся — рядовым членом кхондского племени, вождем-орией, бюрократом, кандидатом на выборах в местные советы или в законодательные собрания штата, она предстает не просто дуаликим Янусом, но также и многоголовой Гидрой»).

³ Ср.: Kuper H. The Swazi: A South African Kingdom. N. Y., 1963, с. 57: «В племенном обществе человек есть точка схождения разных индивидуальностей — как сиблинг, как член линиджа, как член возрастной группы».

⁴ О понятиях этного и эмного уровней описания культуры см. выше, гл. 3, примеч. 34.

⁵ Куббель Л. Е. Традиционная политическая культура и колониальное общество.— НАА. 1981, № 6, с. 31, 35—36; он же. Традиционная потестарная и политическая культура в колониальном и современном развитии африканских государств.— Этнографические исследования развития культуры, с. 123—139.

⁶ См. об этом: Куббель Л. Е. Этнические общности и потестарно-политические структуры доклассового и раннеклассового общества.— Этнос в доклассовом и раннеклассовом обществе. М., 1982, с. 127—129.

⁷ Анализ таких явлений см., например: Балезин А. С. Африканские правители и вожди в Уганде (эволюция традиционных властей в условиях колониализма, 1862—1962). М., 1986, с. 101—115; он же. Традиционные власти и колониальные вожди в Восточной Африке (К вопросу о терминологии и типологии).—СЭ. 1987, № 3, с. 35—43.

⁸ Куббель Л. Е. Традиционная политическая культура и колониальное общество, с. 34—35.

⁹ Ср.: Смирнов С. Р. Английская политика «косвенного управления» в Юго-Восточной Нигерии.—СЭ. 1950, № 3, с. 137—153.

¹⁰ Godelier M. La production des Grands Hommes. Pouvoir et domination masculine chez les Baruya de Nouvelle-Guinee. P., 1982, с. 30, 310; Salisbury R. Despotism and Australian Administration in the New Guinea Highlands.—АА. 1964, vol. 66, pt 2 (4), Special Publication, с. 225—239.

¹¹ Bailey G. F. Stratagems and Spoils, с. 154.

¹² Обзор этих исследований см.: Комар Ю. И. Социально-политические установки и мотивация поведения африканского городского населения.— Африканский город (критический очерк зарубежных концепций). М., 1979, с. 179—220.

¹³ Balandier G. Anthropologie politique, с. 113—119.

¹⁴ Ср., например: Parkin D. The Rhetoric of Responsibility: Bureaucratic Communication in a Kenya Farming Area.— Political Language and Oratory in Traditional Society. Ed. Bloch M. L. etc., 1975, с. 113—119.

¹⁵ Ogot B. A. Introduction.— War and Societies in Africa. Ten Studies. Ed. Ogot B. A. L., 1972, с. 1; Uzoigwe G. N. Pre-Colonial Military Studies in Africa.—Journal of Modern African Studies. 1975, vol. 13, № 3, с. 469.

¹⁶ См., например: Pye L. W. Armies in the Process of Political Modernization.— The Role of the Military in Underdeveloped Countries. Ed. Johnson J. J. Princeton, 1962, с. 80—89; Lefever E. W. Spear and Sceptre: Army, Police and Parliament in Tropical Africa. Wash., 1970. Надо к тому же заметить, что исследования последних лет, с одной стороны, обнаружили методологическую некорректность жесткой дихотомии «традиция — модернизация», что признают сейчас в большинстве своем и западные исследователи-немарксисты (см., например: Осипова О. А. Проблема традиции в странах Востока в американской социологии М., 1985, с. 108 и ел.), а с другой — доказали несостоятель-

ность попыток свести всю сложность социально-политических процессов и и¹ вободившихся странах к политической модернизации; см.: *Чиркин В. Е.* 1>ур- жуазная политология и действительность развивающихся стран. Критика концепций «политической модернизации». М., 1980, с. 9—30, 170—171; *Энтин Л. М.*» *Энтин М. Л.* Политология развития и освободившиеся страны. Критика не- марксистских концепций. М., 1986, с. 10—23.

² *Mazrui A. A.* Soldiers as Traditionalizers. Military Rule and the Re- Africanization of Africa.— *The Warrior Tradition in Modern Africa.* Ed. Maz- rui A. A. Leiden, 1977, с. 236—258.

³ См.: *Чистов К. В.* Традиционные и «вторичные» формы культуры.— *Расы и народы.* Ежегодник. 5. М., 1975; *Куббель Л. Е.* Культурная традиция в информационной сети культуры: функционирование и трансформация.— *СЭ.* 1985, № 5, с. 25—26.

^{3p} Cp.: *Vansina J.* Knowledge and Perception of the African Past.— *African Historiographies. What History for Which Africa?* Ed. Jewsiewicki B., New- bury D. Beverly Hills etc., 1986, с. 33—35; *Chretien J.-P.* Confronting the Une- qual Exchange of the Oral and the Written.— *African Historiographies. What History for Which Africa?* — с. 80—87.

⁴ Там же, с. 255, 258.

Coulon Ch. Les musulmans et le pouvoir en Afrique Noire. Religion et centre-culture. P., 1983, с. 151—164.

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

- ВДИ — Вестник древней истории. М.
ВИ — Вопросы истории. М.
ВФ — Вопросы философии. М.
НАЛ — Народы Азии и Африки. М.
ПИ ДО — Проблемы истории докапиталистических обществ. Кн. 1, М., 1968.
СПП — Советское государство и право. М.
СЭ — Советская этнография. М.
ТИЭ — Труды Института этнографии им. Н. Н. Миклухо-Маклая АН СССР. М.—Л.
AA — American Anthropologist. Chicago.
BIFAN — Bulletin de l'Institut Fondamental d'Afrique Noire. Dakar.
-BSOAS — Bulletin of the School of Oriental and African Studies, University of London, L.
CA — Current Anthropology. Chicago.
CEA — Cahiers d'Etudes Africaines. P.; La Haye.
EAZ — Ethnographisch-Archaeologische Zeitschrift. Lpz.
ESA — Ethnographic Survey of Africa. L.
JAAS — Journal of Asian and African Studies. Toronto.
JAH — Journal of African History. Cambridge.
JAS — Journal of the African Society. L.
JRAI — Journal of the Royal Anthropological Institute of Great Britain and Ireland. L.
JSA — Journal de la Societe des Africanistes. P.
SWJA — Southwestern Journal of Anthropology. Albuquerque.

ПОНЯТИЙНО-ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ

- Авторитет 27, 28, 33—36, 40, 115, 116, 126, 135, 136, 140, 198, 209
- Антропология 4, 12
- власти 18
 - культурная 27
 - политическая 4—14, 17, 18, 22, 24, 27, 35, 37, 162, 192
 - социальная 7—9, 18, 27, 46
 - экономическая 28 *Дрижи*
- ПО, 125 Аристократия 135, 142, 145
- военная 135, 145, 148
 - общинно-родовая 143, 151
 - родо-племенная 135, 145, 147, 148, 151
 - служилая 105—106
 - тутси 174
- Бигмен* 136—138
- статус 136—138
- Бикультурализм 72, 217
- Биполитизм 72, 217
- Властвование 41, 51, 54, 120, 123
- организация 134, 163, 211
 - отношения 3, 12, 15, 18, 19, 24, 25, 27, 31—33, 35, 36, 42, 48, 51, 55, 57, 58, 67, 77, 106, 117, 120, 121, 125, 134, 158, 169, 181, 192, 199, 200
- Власть 3, 4, 7, 12, 16, 19, 20, 22, 27—31, 33—42, 48, 51, 54, 66, 77, 81, 83, 84, 86—101, 106, 107, 111, 112, 114—117, 120, 121, 123, 132, 134, 147, 160, 169, 174, 181, 192, 197, 198, 200, 201, 209, 211—213
- амбивалентность 39, 40, 85, 91, 100, 101
 - асимметричность 36, 39, 40
 - буржуазно-демократическая 39
 - бюрократическая 39, 198
 - верховная 81—83, 97—101, 103, 104, 106, 107, 113
 - виды 29, 83
 - государственная 158, 162, 218, 219
 - делигирование 92, 161
 - доклассовой 37
 - дополитическая 3 — идеологическая 131
 - идеологическое обеспечение 40, 93, 121, 148, 220
 - как возмездие 28, 29, 33
 - институционализация 4, 7, 98, 123, 124, 126, 127, 132, 134—136, 138, 140—142, 146, 148—151—механизмы 140, 149
 - колониальная 211
 - легальная 39
 - легитимация 69, 80, 88, 113
 - ограничения 85, 105, 106
 - организация 18, 19, 40, 58, 122, 134, 145, 147, 148, 154, 163, 211
 - отношения 20, 21, 24, 25, 27, 31—33, 51, 54, 57, 58, 67, 78, 79, 81, 93, 114, 116, 117, 125, 175, 199, 200
 - позднепотестарная 30, 40
 - политическая 19, 22, 30, 37, 38, 67, 84, 97, 123, 124, 148—150, 162
 - потестарная 22, 30, 37, 38, 5Б, 67, 97, 113, 118, 131, 148, 149
 - предполитическая 30, 123
 - представления о 148
 - у алуруп 87
 - у аиби 104, 10Б
 - у аулу 99, 101
 - у мамприси 89, 90
 - у моси 88, 89 - у нуэров 86, 87
 - у ньоро 92, 93
 - у свази 99, 101
 - у тив 90, 91
 - публичная 86, 87, 96, 107, 112, 132—134, 138—139, 160, 161
 - раннеполитическая 40
 - религиозная 80
 - ритуальная 54, 55
 - сакральная 40, 80—82, 95, 112, 143, 202
 - «собственность» 99, 154, 155
 - социально-бытовая 181
 - социология 37
 - традиционная 8, 38, 198, 212
 - харизматическая 38, 81, 198, 208
 - царская 103
 - центральная 99, 187
 - экономическая 131

- Вожество 15—18, 22, 31, 51, 55, 56, 70, 81, 83, 98, 100, 150, 154, 155, 159, 161
 — как форма позднепотестарной организации 81, 150, 153
 — «сложное» 69, 154
 «Вожди Сосны» 145, 146
 Вождь 87, 98—100, 104, ПО, 111, 125, 127, 142, 147, 148
 — военный 83, 144, 145, 147, 219
 — наследственный 144
 — «носитель леопардовой шкуры» 37, 86
 — племенной 144
 — сакральный 80, 82, 95, 112, 202
 — традиционный 20
 — харизматический 83, 219
 Возрастные группирования 120—122
 — классы 120—122, 124
- Генеалогии 106—108, 112, 118
 — фиктивные 1 18 Господство 37, 39, 87, 91, 155
 — классовое 30
 — и подчинения отношения 33, 37, 43, 69, 72, 80, 84, 91, 94, 118, 157, 160, 180, 187
 Государственность 15, 16, 22, 83, 129, 131, 155, 159, 163, 166, 218
 — элементы 132
 Государство 4, 13, 15—16, 21, 24, 31, 32, 51, 57, 81, 89, 124, 128, 130—133, 135, 146, 153, 155, 158—160, 186, 197, 218, 220
 — «вторичное» 15, 133, 160
 — раннее 15, 82, 83, 133, 154, 156—158, 161—163, 186
 — зарождающееся 156
 — переходное 156, 157
 — типическое 156, 157
 — «первичное» 15, 160
 — «сегментное» 58, 59, 172
 — «становящееся» 53
 — теория завоевательного происхождения 14, 159
- Демократия 145
 — буржуазная 199, 202, 214
 — военная 19, 145—147
 Деятельность 25, 47, 81, 119, 200
 — военная 143, 147, 173
 — организационно - управленческая 125
 — политическая 12, 13, 25, 32, 164, 201, 220
 — потестарная 164, 220
 Дружина 145—147
- Жрецы 98, 142
- Зависимость 12, 137, 138
 — отношения 115, 128, 139
 Знать родо-племенная см. аристократия Идеология 78, 84, 97, 101, 102, 199
 — как «ложное отражение» действительности 80
 — как система взглядов 79
 — потестарная 102
 — религиозная 79
- Институты 13, 27
 — административные 23
 — власти 19, 21, 23, 142
 — инкорпорация и адаптация 12, 13
 — общественные 162, 180
 — социальные 167
 — специализированные 196
 — традиционные 19, 22, 27, 162, 218, 219
 — политические 12, 19, 20, 23
 — потестарные 12 *Никоей* 98, 100, 101, 121 Институционализация неравенства 97 Иноормация 49, 61, 05, 108, 109, 111, 133
 — культурная 205
 — социальная 59, 205
 — социокультурная 65
 Инцест ритуальный 96, 105
 Ислам 66, 71
- Кадару* 109
 Клан конический, рэмедж 122, 123, 154 Классогенез (классообразование) 72, 81, 96, 97, 99, 113, 115, 127—129, 131, 135, 142, 143, 146, 150, 151, 160, 168, 169, 171, 174
 Контактная группа 57, 58
 Контроль 37
 Конфедерация криков 152 Конфликт ритуализованный 18, 96, 101, 102, "10Г", 111, 200 Культура 25, !>7, 42, 49, 53—56, 63, ">Г", 71, 72, 112, 124, 156, 164, 200, 203, 204, 222
 — национальная 191, 197, 215, 217
 — позднепотестарная 62
 — политическая 5, 20, 25, 27, 41—59, 61—80, 109, 113, 124, 123, 139, 156, 158, 164, 175, 180—182, 190—193, 195—199, 202, 204—208, 210, 213, 214, 216, 219, 221
 — буржуазная 191, 193—196, 198, 199, 201—203, 205, 209, 211, 214, 216, 221
 — докапиталистическая 28, 195, 196, 200, 201, 221

- капиталистическая 43, 195—197, 202
 - колониальная 64, 192, 195, 198, 204—205, 207, 210, 211, 213—215, 217, 220, 221
 - постколониальная 197, 198, 204, 205, 208, 217, 220—222
 - социалистическая 199, 216
 - традиционная 22, 66, 190—192, 195—200, 202—205, 207, 210—212, 218
 - мусульманская 196, 220
 - феодальная 196, 201
 - позднепотестарная 178
 - потестарная 5, 25, 28, 41—44, 46—54, 56—59, 61—69, 71, 72, 74—80, 113, 128, 139, 153—154, 156, 164, 180—182, 190, 193, 195, 198, 201, 202, 205, 206, 213, 214, 221
 - традиционная 25, 26, 66, 117, 190—192, 194—197, 199, 200, 202—205, 207, 210—213, 218
 - потестарно-политическая 5, 27, 31, 43, 114, 131, 175, 204, 206, 212
 - раннеполитическая 62, 72, 73, 76, 178
 - ритуальные формы 49, 54
 - соционормативная 31, 51, 54, 79 — как способ деятельности 114
 - средневековая 21
 - традиционная 199—202, 209, 213, 215
 - традиционно-бытовая 24, 165, 181, 196
 - уровень изучения, эмный 91, 92, 210
 - этный 91, 92, 210
 - функции 48
 - инструментальная 48, 57, 63, 64
 - информационная 48, 49
 - коммуникативная 48—50, 57, 64—67
 - нормативная 48, 50—52, 57, 64—67, 69, 70
 - сигнификативная 48—50, 54, 57, 64—67, 70
 - этническая 20, 53, 58, 200
 - этноса 20, 53, 56, 58
- Лига (федерация) ирокезов 100, 144, 145, 152
- Лидер 98, 116
- Материализм культурный 17 Миф 112, 113, 201 Мифология 112, 113, 203 Модернизация 196, 220
- Мононорма первобытная 52, 161
- «расщепление» 96
 - Монополизация общественной должностной функции 128—130
 - средств производства 128, 130
 - Мораль 78, 95, 96, 161
 - Моро-наба* 88, 89
 - Мукама* 93
 - Наба* 89
 - Народность 167, 168 —
 - «вторичная» 168
 - «первичная» 70, 168, 186, 188, 189
 - раннесредневековая 187
 - Насилие 78, 79
 - Неоэволюционизм 17
 - Непрерывность 176
 - культурная 177
 - социально-потестарная 175, 177
 - этническая 175
 - Норма социальная 29, 85, 161
 - традиционная 161, 200 \
- Обряд 100
 - *бе ди муру а* 104
 - *инчвала* 100, 103 104, ПО, 121, 201
 - первых плодов (первинок) ПО
 - *пилу-пилу* 110
 - «питья молока» 111
 - раздачи орехов кола 111
- Общество 25—27, 32, 34—36, 44, 54, 62, 84, 155, 159, 160, 162, 164, 167—169, 171
 - «азиатское» (политарное) 42, 54
 - акефальное (безгосударственное) 55, 176
 - античное 25, 92
 - восточное 25
 - государственное 28, 185
 - догосударственное 28
 - докапиталистическое 41, 43, 52, 54, 76, 85, 94, 118, 193, 199
 - доклассовое 19, 20, 22, 24, 28, 31, 38, 41, 47, 67, 80, 81, 114, 117, 128, 131, 140, 155, 158, 162, 166, 167, 180, 186, 202
 - доколониальное 21
 - капиталистическое 3, 5, 25—27, 42, 43, 54, 55, 80
 - классовое 19, 20, 22, 24, 25, 53, 55, 62, 81, 83, 84, 96, 97, 112, 114—116, 122, 128, 129, 131, 133, 134, 140, 147, 150, 160, 166, 168, 171, 178, 193
 - колониальное 191—196, 198, 202—204, 207—212
 - первобытное 52, 116, 170
 - политическое 42, 112
 - постколониальное 209 — потестарное 112
 - предклассовое 28, 37, 39, 47, 53,

- 55, 62—64, 69, 102, 147, 167, 171, 176
- рабовладельческое 42, 54, 158
- развивающееся 22
- ранжированное 14
- раннего государственное 148
- раннеклассовое 15, 24, 28, 38, 40, 41, 62—64, 69, 114, 138, 147, 148, 167, 168
- раннеполитическое 92 —
- раннепотестарное 176
- родовое 36, 40, 52, 56, 118
- сегментное 18, 40, 92, 119, 120, 169, 184
- социалистическое 3, 5, 25—27
- стратифицированное 14, 31, 101, 123, 153
- традиционное 26, 85, 193, 208, 209, 218
- феодальное 21, 25, 42, 43, 54, 63, 79, 92
- эгалитарное 14, 97, 98, 115, 133
- Община 31, 51, 55, 109, 151, 171
- деревенская 91
- Общность 158, 167, 169, 176, 184, 210
- конфессиональная 71, 189 —
- макродническая 189
- национальная 164
- позднепотестарная 188
- политическая 71, 180, 182, 212
- потестарная 175, 180, 183, 212
- раннеполитическая 183, 188—189
- социальная 165
- социально-потестарная 151, 185
- этническая 70, 72, 73, 119, 164, 167, 168, 171—175, 180, 182, 183, 185, 186, 205 — этноконфессиональная 71
- этнокультурная 179
- этнополитическая 182, 217
- Организация военная 152
- государственная см. организация политическая
- деятельность 47
- культуры 47
- общественная 183
- — племенная 184, 185
- позднепотестарная 138
- политическая 3, 4, 9, 14—16, 19, 25, 27, 53—57, 59, 60, 73, 82, 122, 123, 127—129, 134, 138, 146, 149, 154, 156, 160, 166, 169, 170, 172, 173, 177, 179, 181, 197 —
- традиционная 9
- потестарная 25, 54—57, 59, 60, 73, 100, 127, 149, 150, 154, 156, 169, 170, 172, 173, 175, 179, 181, 197
- потестарно-политическая 9, 164, 183
- предполитическая 138
- принципы 119
- сегментная 68
- социальная 47, 177
- социально-потестарная 176
- у кахинов 176
- Отношения докапиталистические 193
- «дополняющей оппозиции» 119, 172
- «патрон — клиент» 139, 140, 149
- позднепотестарные 176
- политические 31, 32, 77, 81, 93, 115, 118, 122, 123, 127, 131, 149, 165, 166, 194, 213
- потестарные 31, 32, 77, 81, 102, 115—120, 123, 127, 131, 165, 166
- раннеполитические 165
- раннепотестарные 176
- родственные 115—117, 120, 122, 123, 173
- социальные 84
- Племя 57, 70, 109, 143, 152, 179, 183—185
- как социально-потестарный организм 150
- как этнопотестарный организм 151
- как этносоциальный организм 31, 32, 51, 69
- как этникос 183
- Плюрализм этнический 177, 178
- Подавление внутреннее 69
- Поле политическое 12, 13
- социальное 13
- Политика 23, 24, 44, 92, 108, 109, 198
- Политогенез 21, 81, 83, 84, 97, 99, 115, 124, 128, 131—135, 142, 159, 160, 169, 176
- механизмы 135
- военно-демократические 135
- военно-иерархические 135
- пути 134, 135
- аристократический 134—136
- военный 134—136
- плутократический 134—138
- Политология 3, 4, 7, 13, 18, 23, 25—28, 196
- Политоним 186, 187
- Право 78, 95, 96, 130, 161
- Правосудие 161
- Правотворчество 162
- Престиж 126, 140
- Принуждение 77—79, 131, 132
- внешнее 131
- внутреннее 131
- государственное 161
- идеологическое 78
- моральное 115
- психологическое 78, 80, 87, 113, 161

- Производство общественное 30, 32, 100, 124, 125, 128—130, 139, 160, 167, 168
- духовное 96
 - материальное 32, 96, 125
 - традиционное 147
 - управление 117, 139 «Пророки» (у нуэров) 86
- Пространство историко-культурное 60, 205, 208 Психология общественная 100
- Ранг 103, ПО, 123, 160
- Регулирование 29, 169
- Религия 79—81, 94—96, 113, 201
- Ремх* 94
- Речь церемониальная 108—111
- Ритуал 49, 54, 55, 70, 90, 92, 94—98, 100, 102—104, 110—112, 201, 203
- как знаковый язык потестарно-политической культуры 95
- Руководство 3, 28, 32—34, 37, 48, 66, 68, 83, 126, 134, 169, 181
- специализации функции 125, 126
- Самосознание 186
- колониальное 209, 210
 - профессиональное 188
 - политическое 67—69, 186, 201, 209—211, 215
 - классовое 216
 - традиционное 216
 - потестарное 67—69, 185, 201, 209, 216
 - традиционное 216
 - потестарно-политическое 201
 - раннеполитическое 70, 189
 - этническое 67—69, 173, 176, 179, 185—188, 201
 - у качинов 177
 - массовое 217, 222
 - этнопотестарное 187, 188
- Сахемы 83, 144
- Сеть информационная 59, 60, 70, 182, 183, 207, 208
- культуры 60, 64, 71
- Сознание общественное 88, 97, 173, 210
- классовое 216
 - колониальное 209, 210
 - профессиональное 188
 - массовое 97, 102, 117, 217
 - политическое 26, 67—69, 186, 201, 209—211, 215, 216, 222
 - потестарное 67, 68, 201, 209, 216
 - потестарно-политическое 201
 - раннеполитическое 70, 189
 - этническое 68, 69, 179, 185—188, 201
 - специализация функции 131
 - физическое 78, 161
- Продукт общественный 33, 125—127
- избыточный 124, 128—130, 172"
 - отчуждение 128, 130
 - необходимый 129
 - прибавочный 33, 129, 152
 - этнопотестарное 187, 188
- Соплеменность 180, 183 «Социальной сети» концепция 10, II Социология 11, 12
- политических отношений 18, 23* 25, 27, 28, 41, 196
- Союз дакота 152 Союзы женские 143, 219
- мужские («тайные») 135, 140, 219
 - Бонду 141
 - Дук-дук 142
 - Ингиет 142
 - Мидевивин 141
 - Огбони 141, 142
 - Огбони 141, 142
 - Поро 141, 142
 - Эгунгун 141
 - как механизм институционализации власти 140—143 Союзы племен 69, 70, 152, 184 Статус социальный 84, 87, 103, ПО, 123, 126, 131, 136, 137, 142, 148, 149, 160
 - аристократический 88
 - достигаемый 126
 - присвоенный 126
 - ритуальный 92 Стратификация социальная 123, 159, 160
 - социально-политическая 180
 - социально-потестарная 180
- Структура власти 8, 12, 14, 16, 18, 19, 91, 120, 121, 155, 166, 168—169, 170, 177, 181, 202
- военно-демократическая 143, 151
 - военно-иерархическая 143, 146—148, 151—
 - докапиталистическая 193
 - идеологическая 85
 - классовая 106, 128, 130, 162
 - культурная 194 —
 - надплеменная 67
 - общественная 111, 120, 166
 - общественно - психологическая 114, 194
 - общинно-кастовая 135, 149, 150
 - организационная 114, 169, 170
 - позднепотестарная 160, 169, 173, 178
 - политическая 4, 10—12, 20, 32, 58, 63, 95, 106, 119, 130, 163, 164, 167, 169—175, 177—179, 182, 185, 194, 204
 - потестарная 4, 58, 63, 68, 95, 106,

- 119, 122, 145, 149, 155, 162, 164, 167, 169—177, 179, 182, 185, 204
- раннеполитическая 82, 83, 86, 112, 160, 169, 173, 178
- сословно-кастовая 135, 149, 160
- социальная 56, 59, 112, 114, 124, 134, 168, 174, 177, 187
- социально-культурная 194
- социально-экономическая 115, 121, 193, 194
- социопотестарная 11
- этнопотестарная 176
- Субкультура 75, 175, 178
 - классовая 75
 - политическая 72—74, 158, 214, 217, 220, 221
- Субструктура
- потестарно-политическая 178
- Суд 160—162

- Табу 100, 105, 106
 - ритуальное нарушение 105, 106
- Традиция 25, 36, 60, 61, 69, 102, 133, 147, 153, 193, 201, 205—207, 213, 220
 - «вторичная» 220
 - идеологическая 84, 100
 - культурная 60, 61, 117, 183, 205, 208
 - «ложная» 208, 220
 - потестарно-политической организации 60, 64, 68, 190
 - социально-бытовой власти 181
- Труд 124, 126
 - производительный 97, 125
 - разделение общественное 36, 97, 100, 124, 143, 149 —
 - половозрастное 36, 116, 120
 - умственный 126
 - управленческий (организационно-управленческий) 34, 97, 124—126
 - физический 125
- Управление 28, 33—37, 66, 68, 125
 - колониальное 8, 9
 - «непрямое» 8, 195, 202, 204
 - «прямое» 9, 11, 195, 202
 - специализация функции 125
- Формация общественно-экономическая 14, 42
 - вторичная 32
 - доклассовая 193
- Функционализм 10

- Харизма 38, 81
- «Хозяева (вожди) земли» 90, 110

- «Чистых типов» власти теория 10, 37, 38, 193, 213

- Эксплуатация 30, 32, 79, 115, 133, 138, 140, 143, 152, 155, 187, 194
 - внешняя 152
 - внутренняя 152, 153
 - отношения 115, 127, 128, 137, 155, 160
- Этникос 167, 171, 175
- Этнография 4, 23, 27, 46
 - нормативная 21, 79, 81
 - политическая 4, 13, 18, 19, 21—23, 25—27, 36, 39, 67, 76, 81, 114, 162, 191
 - потестарная 4, 21, 23, 26, 36, 39, 67, 76, 81, 114, 162, 191
 - потестарно-политическая 4, 7, 22, 23, 25—29, 114, 115, 139, 196
- Этнология 8
- Этноним 186, 187
- Этнос 164, 175, 176, 187, 211 * —
- древнекитайский 182

- Язык церемониальный 108—111

**УКАЗАТЕЛЬ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ
И ЭТНИЧЕСКИХ НАЗВАНИЙ**

- австралийцы, этн. 18, 155 Азиатский континент 192, 195 азиаты 203 Азия 8, 22, 141, 192, 204, 205, 208, 216—218 алуры, этн. 9, 58, 59, 86, 87, 90, 118, 123, 174, 175, 177
Амазония 159 Америка, Латинская 10
— Северная 135, 141, 152
— Центральная 112, 192
— Южная 112, 192
Ангола 118, 187 ануаки, этн. 7 аньи, этн. 103, 104 арабы, этн. 71, 75, 146
— среднеазиатские 178
Аравия 71
Аттика 171
Африка 19, 21, 22, 24, 83, 85, 102, 120, 152, 163, 180, 192, 204, 205, 208, 211, 216—218
— Восточная 21, 120, 133
— Западная 63, 76, 186
— Экваториальная 21
— Северная 63, 188
— Северо-Восточная 120
— Тропическая 6, 71, 73, 75, 82, 132, 180, 192, 196, 215, 219, 220
— Центральная 19, 152
— Юго-Восточная 99, 121, 135, 146
— Южная 99, 135, 146, 152
Африканский континент 6, 19, 82, 85, 92, 180, 195
африканцы 203, 211

Багирми 76 Бали, о-в 109
Банкса, о-ва 141
баньяруанда, этн. 73, 174'
барма, этн. 76 белуджи, этн. 73, 74 Белуджистан 73
Бельгия 8
берибери см. канури
Бирма 176 боро, этн. 155 Бразилия 191
Британия 59
британцы 9, 192
Буганда 155

Буньоро 92, 93
Буркина Фасо 9
Бусога 10 бушмены, этн. 155

Великобритания 8, И, 14, 54 Восток Ближний 71, 174, 178, 188
— Средний 71

Габон 194
Гавайи (Гавайские о-ва) 83, 135, 151
Газели, п-в 142
Гана 110, Г99, 204, 207, 218
Гвинея 199
Германия 187
германцы, этн. 59, 135, 144
голландцы, этн. 192
Гонджа 111
гонджа, этн. ПО, 111
Греция древняя 25, 51, 182
гуантуна, этн. 142
гуроны, этн. 152

Дагомья 204 дакота, этн. 152
делавары, этн. 152 динка, этн. 86, 172, 173, 176

Европа 18, 21, 141, 146
— Западная 39, 63, 132, 193
— Северо-Западная 59
— Центральная 132
— Юго-Восточная 132
европейцы 203

Заир 58, 174, 187, 219
Золотой Берег см. Гана
зулу, этн. 99, 101, 121

и (носу), этн. 149 ибо, этн. 20, 213 иджо, этн. 213 имбангала, этн. 187
индейцы, этн. 141, 159
— Южной Америки 155
Индия 191, 192, 194, 216
Индонезия 9, 194, 203
Индостанский п-ов 10
ирокезы, этн. 7, 83, 100, 144, 145, 150, 152, 185 Иран 71, 74, 195, 196

Испания 73
испанцы, эти. 191
итсекири, эти. 213

йеке, эти. 187 йомбе,
эти. 118 йоруба, эти.
133, 141

Камерун 218
Кано 75, 76
канури (берибери), эти. 75 .
кэчины, этн. 9, 176, 177
кельты, этн. 59

Китай 22, 182, 195, 196
Китайская равнина 182
китайцы, этн. 182, 183

Конго, р. 133
Конго, гос-во 194
Кот-д'Ивуар (Республика Кот-д'Иву-
ар) 103

кпелле, этн. 142 крики, этн.
152 Кухак 73, 74 кхонды
(кандхи), этн. 204

Лациум 163
ленду, этн. 174, 177
Либерия 142
Ливия 220
Лоанго (берег Лоанго) 118
лоанго, этн. 187
Ляншань 149

Мадагаскар 109
майя, этн. 112
малагасийцы, этн. 108, 109
Мали 186
малинке, этн. 186
Мампруси 88
мампруси, этн. 89, 107, 111
Маради 75, 76
масаи, этн. 86, 121
массагеты, этн. 152
Мату-Гросу 153
мбунду, этн. 118
Междозерье восточноафриканское 73,
149, 174, 175, 180
меланезийцы 203 Меланезия 81,
85, 135, 138, 141 менде, этн. 141,
142 мерина см. малагасийцы
Месоамерика 123, 191
Микронезия 141 Моала, о-в 206
моей, этн. 88, 89

ндебеле (матабеле), этн. 19 Нигерия
20, 68, 90, 172, 204, 207, 218
— Юго-Восточная 213
Новая Гвинея 159, 213
Новая Каледония ПО

Новый Свет 10, 191, 192
нупе, этн. 187
нуэры, этн. 7, 10, 86, 119, 120, 172,
173

ньоро, этн. 92, 111
ньякьюса,- этн. 122
нямвези, этн. 187

Объединенные Арабские Эмираты 196 .
овимбунду, этн. 187 оджибве, этн. 141
Ойо 204

Океания 22, 195, 205
окебо, этн. 174 Орисса,
штат 204, 208 ория, этн.
208 Османская империя
73

папуасы, этн. 159
— баруйя 138, 213
— кума 155
патаны (пуштуны), этн. 10
Персидский залив 174
Перу 191

Полинезия 81, 82, 85, 123, 125
Португалия 8
португальцы, этн. 9, 191
Прибалтика 73
Пукапука, о-в 125
пуэбло, этн. 99

Республика Нигер 75
Республика Судан 86
Рим 51, 103 Руанда
73, 174

Самоа 135
Саудовская Аравия 196
Сахара 21, 152
свази, этн. 99—101, 103, 121, 201
скифы, этн. 152
сога, этн. 9, 39
Соединенные Штаты Америки (США)
8, 12—14, 18, 99

Сонгай 187 сонгаи, этн.
187 Судан 20, 94, 172,
174
— Западный 66, 178, 201
— Центральный 66, 178, 201
сунди, этн. 187 Сьерра-Леоне 207
Сычуань, провинция 149

талленси, этн. ИЗ, 118, 119
Танганьика 9, 20
Танзания 9, 187
темне, этн. 141, 142
тив, этн. 68, 86, 90, 91, 119, 172
Тикопиа, о-в 109
Тонга, о-ва 109, 135
Тробриан, о-ва 24

-туареги, эти. 152, 175, 178
— кель-ахагар 175 -
турки, эти. 73 Турция
74, 195, 196

Уагадугу 88

Уганда 20, 39, 54, 204, 219

фанги, эти. 194

Фиджийцы, эти. 206

Фоны, этн. 133 •

фракийцы, этн. 152 -

Франция 8, 11, 12, 94

«фульбе, этн. 75, 186

•4>утуна, о-в 125

хауса, этн. 75

хиваро, этн. 155

Центральноафриканская Республика
(ЦАР) 191

чикито, этн. 155

шаны, этн. 176, 177

шауни, этн. 152

шахри, этн. 73, 74

шиллуки, этн. 94

шона, этн. 152

яга (яка), этн. 187

- Аверкиева Ю. П. 14, 19
 Адаме Р. Н. 16, 17
 Алмонд Г. 43, 45
 Арутюнов С. А. 59, 165, 168, 183, 204, 205
- Баландье Ж. 5, 12, 18, 22, 82, 86, 93, 197—198, 205, 209
 Барнс Дж. 9, 11
 Барт Ф. 10, 168, 178
 Бейли Ф. 10, 200, 204, 208
 Бентон М. 33
 Битти Дж. 85, 106
 Блайден Э. У. 211
 Блок Марк 12
 Блок Морис 15, 108
 Бочаров В. В. 21
 Бромлей Ю. В. 32, 165, 167, 183
 Брук С. И. 182
 Бурлацкий Ф. М. 23, 28, 33, 34, 44
 Бьюкенен Л. 119
 Бьюкенен П. 119
- Васильев Л. С. 22, 153—155, 157
 Вебер М. 10, 11, 29, 36—39, 81, 83, 109, 193
 Веселкин Е. А. 11
 Витфогель К. 160
- Глакмэн М. 9, 111
 Годелье М. 15, 18, 112
 Гуди Дж. 108
 Гуляев В. И. 22
 Гумплович Л. 7, 159
 Гурвич Ж. 166
 Гуревич А. Я. 21
- Делафосс М. 12
 Доул Г. 166
 Дюмезиль Ж. 102
- Истон Д. 8, 13, 22
- Кейзеров Н. М. 29, 35, 44, 77, 83
 Ким И. 46
 Кинан Э. 108
 Кирхгоф П. 122
 Классен Х. 15, 156, 161
 Кнорозов Ю. В. 112
 Козлов В. И. 168, 186
 Колесницкий Н. Ф. 187
 Копан Ж. 18, 22
- Косвен М. О. 19
 Коттак Ч. 16
 Кочакова Н. Б. 193
 Коэн И. 53
 Коэн Р. 15
 Кроутер С. 211
 Крэйдер Л. 16
 Крюков М. В. 182, 183
 Кушнер П. И. 168, 186
- Лашук Л. П. 171
 Леенар М. 12
 Ленин В. И. 30, 72
 Лич Э. 9, 111, 112, 176, 177
 Ломбар М. 12
 Лоуи Р. Г. 7, 13
- Макэ Ж. 12, 166
 Малиновский Б. 43
 Мамут Л. С. 47
 Маркарян Э. С. 47
 Маркс К. 30, 80, 125, 171.1, 181
 Мейн Г. С. 7, 117
 Мид М. 137
 Миллер Д. 118
 Монтей Ш. 12
 Морган Л. Г. 7, 37, 100, 117, 144, 145, 150, 177, 185
 Мэр Л. 9, 90, 121
- Надель З. Ф. 47—48, 107, 177, 187
 Неусыхин А. И. 21
 Нкрума К. 199
 Нэролл Р. 57, 58, 166
- Оберг К. 153
 Ольдерогге Д. А. 19
 Оппенгеймер Ф. 7, 14, 159
 Орзуэлл Дж. 87
- Перро К.-Э. 104
 Першиц А. И. 19, 52
 Потехин И. И. 19
 Пригожий И. 16
 Пуланцас Н. 12
 Пэден Дж. 45
- Рэдклиф-Браун А. Р. 9, 10, 13, 40, 43, 55
- Салинз М. Д. 15, 16, 122, 137, 138, 172, 206

Саутхолл Э. 9, 58, 59
Семенов Ю. И. 31
Сервис Э. Р. 14, 153
Сказкин С. Д. 21
Скальник П. 156
Смирнов С. Р. 20
Смит М. Дж. 9, 35, 52, 177, 178
Соколов Э. В. 48
Солцман Ф. 73, 74
•Стюард Дж. 14, 57
Сукарно А. 203

Тимур 178
Токарев С. А. 19, 166
Толстое С. П. 19
Томановская О. С. 21, 118, 187
Туре А. С. 199

Уайт Л. 16

Фсвр Л. 12 Ферс Р. ПО, 112
Фоллерс Л. 9, 10, 39 Фортес М. 7,
10, 113, 119, 120 Фрэзер Дж.
106
Фрид М. Г. 14, 16, 28, 31, 101, 150,
159, 160, 185

Харрис М. 17
Хлопин И. Н. 186

Чака 121
Чебоксаров Н. Н. 59, 165, 168, 182,
183, 205

Эванс-Причард Э. Э. 10, 43, 86, 119,
120 Энгельс Ф. 80, 128, 129, 132,
134, 143,
153, 154, 171, 173

SUMMARY

L. Ye. Kubbel. *Essays of Potestal and Political Ethnography*. Potestal and political ethnography is a special branch of ethnology (ethnography), studying the relations of power and authority in pre-capitalist, above all pre-class and early class social organisms. The emergence of its Western analogue usually termed political anthropology traditionally dates back to 1940, when appeared the work *African Political Systems* by a team of British anthropologists and *The Nuer* by E. E. Evans-Pritchard. However, problems related to the organization of power in the so-called traditional societies had sufficiently been studied earlier, for instance by L. Morgan and H. Maine in the 19th century and R. Lowie in the 20th century.

National schools of political anthropology emerged in the West in the last half-century. Their approaches to the subject differ reflecting the national academic tradition. The British school was closely associated with the functional method then prominent in the British anthropology; the French school, in turn, emphatically focused on the historical method combining political anthropology and history; the American political anthropology was linked with the sociological studies, and from the late 1950s was strongly influenced by the concepts of neoevolutionism, particularly the advocates of cultural ecology.

In this country special studies in potestal and political ethnography started only in the 1970s; however, many earlier general ethnographic studies gave much attention to the relations and organization of power. The basic difference between Soviet and Western studies lies in the delimitation of the relations of power and authority in pre-class and class societies: only the latter may be regarded as genuinely political, and for their designation at the earlier stages of development the definition 'potestal' (Lat. *potestas*, authority) seems more appropriate. This explains a combined name of this discipline. In this country, studies in potestal and political ethnography have been closely related to the study of Medieval mass mentality.

Potestal and political ethnography has much in common and, to certain extent, overlaps with the political science and political sociology. The difference between them lies in the approaches to power and authority: specifically, potestal and political ethnography uses as a basis of study a related cultural sphere defined as potestal and political culture. The book draws on this particular approach.

The central idea of potestal and political ethnography is the idea of power as volitional relations between people in a definite socio-economic framework that ensures the integrity of social organism and its normal functions as a system of self-reproduction. The development and execution of power generates 'dialectic pairs' with notions such as control, management, and authority. Power is initially asymmetrical suggesting inequality between the subject and object of the relations of power. And as society evolves from pre-class to class relations, the idea emerges of power being ambivalent, as something both beneficial

and dangerous. A situation when the relations of supremacy and subordination begin gradually to dominate in society constitutes a major watershed in the functional development of power from potestal to political.

Potestal and political culture, as a special cultural aspect of society as a whole, has the same cultural functions as the latter: communicative, significative, normative, protective, etc. In pre-class societies it does not form a specific division of culture in general and so we may regard the development from potestal to political culture as gradual and, still, incessant specialization of this aspect and its derivation from the syncretic culture of pre-class society. Traditional continuity is very important for the evolution of potestal and political culture, just as of culture in general. Its contacts with other potestal and political cultures occurring at the juncture of ethnocultural areas are also very important. As potestal culture evolves into a political one their influence becomes evermore prominent so that political culture invariably assumes a multistructural pattern: in addition to inevitable class differentiation it was also ethnically stratified, and ethnic distinctions were usually a form of manifestation of class distinctions.

The exercise of power requires a combination of measures and instruments of coercion without which power cannot exist. The coercion can both be physical and psychological. That is why we must consider in detail the most common forms of psychological coercion based on the premise that any power (demands that the subject and object of power relations accept certain common values. These are ideological forms (religious authorization of power, its consecration, mythologization and genealogization), ritual forms through which the related ideological ideas are realized (ideology in this case is interpreted as a distorted reflection of social realities), and various types of etiquette, in-Deluding language.

At the same time, specific forms of power organization and authority are interesting and considered above all as a reflection of evolution from potestal to political organization as class society emerges. This approach inevitably involves, in particular, an attempt to analyse ways and mechanisms of the emergence of political organization (politogenesis).

Potestal and political culture is closely associated with the ethnic aspect in the development of any society. Particularly as a mechanism of culture protection it helps to conserve culture which is the most important quality of an ethnos; at the same time, it importantly functions as a delineator between 'we' and 'they', which also is a major instrument for the conservation of integrity and identity of ethnic culture. Specifically, potestal and political consciousness and self-consciousness are among the most important elements of ethnic consciousness.

Contemporary potestal and political culture in developing countries of Asia and Africa is a result of protracted interaction between formationally different cultures—bourgeois political culture and traditional potestal and political cultures of formerly colonial and semicolonial nations. These cultures had essentially opposite parametres: ethnically isolated and fragmentary aboriginal culture was opposed above all by class-determined and, under the colonial conditions, ethnically almost neutral culture of the colonialists. The latter, destroying the boundaries of ethnopolitical and ethnopotestal entities, did irreparable damage to iraditional culture, on the one hand, and stimulated the rise of the anticolonial

sentiment among the entire ethnically heterogeneous population of a colony, on the other. The colonial political culture emanating therefrom invariably was two-fold, and this quality was inherited by the political culture of emergent countries. Numerous attempts to appeal to 'tradition', be it Muslim ideas of the political organization of society or the traditional image of a ruler and his socially-indispensable qualities, have essentially been made by the ruling groups to do away with this phenomenon so as to create certain functionally national unity.

RESUME

L'ethnographie potestaire—politique est une branche speclallili dl graphie/ethnologie etudiant les rapports de pouvoir et d'autoritt dfliu Iwi ofgl--nismes sociaux pre-capitalistes; il s'y agit surtout des societes pri-clitifi Mil eel-. les n'ayant atteint que le stade de classes a ses debuts. L'appai'ltlul! A l'fhltrt d'une discipline ethnologique analogue designee par le terme d'ltillil'opfliiglf politique (political anthropology) est traditionnellement rapportef A IB4U, il«l(a laquelle ont fait leur apparition deux oeuvres des chercheurs brlttllillii|«i, i savoir l'etude collective "African Political Systems" et le livre de H, 8, HviMi> Pritchard "The Nuer". Cependant, les problemes en rapport avec l'or|in(ii(l(HI du pouvoir dans les societes dites traditionnelles ont ete etudies in *x((H1Я dii avant cette date; on pourrait rappeler les noms de L. H. Morgan ou H. S, Miiilp au XIXe siecle, celui de R. H. Lowie au XXe.

A partir des annees 40, plusieurs ecoles nationales de recherche polltlN«i<lllllh> ropologique se sont constituees en Europe Occidentale et aux EtiiU tlnli dll* ferant par leur approche a l'objet d'etude et manifestant, en memo tempi, atfi tains traits propres a la tradition academique d'un tel ou tel pays. Alnii l'ioftli britannique etait etroitement lie a la methode fonctionnelle-structurale (liillllllHill longtemps l'anthropologie sociale britannique; au contraire, l'ecole fraiiffftlu Я ete marque par un historicisme accentue, ce qui a trouve son expression d>tll II lien intime entre les etudes politico-anthropologiques et historiques; l'anthropdlo- gie politique americaine se developpait au contact immediat avec les fctuede « sociologie; en outre, des la fin des annees 50, elle a ete profondemerit InilueneA par des conceptions neo-evolutionnistes, notamment par les theories de Ideologic culturelle.

En l'U.R.S.S., des etudes speciales dans le domaine de l'ethnographie potoi- taire—politique n'ont commence qu'aux annees 70 quoique dans les etudes de •caractere general de l'epoque anterieure assez d'attention ait ete consacrf aux rapports de pouvoir et a l'organisation de celui-ci. И y a une difference de prln- •cipe entre l'approche des ethnologues sovietiques et celle de nos collegues de l'Ouest. Pour nous, ne peuvent etre consideres comme poiitiques strictement par- lant que les rapports de pouvoir et d'autorite dans une societe de classes, tandis •que pour les designer aux stades d'evolution precedent celle-ci le terme "po- testaire" (du Latin potestas — "autorite; pouvoir") a ete propose en 1968. C'est justement cela qui explique la "double" appellation de cette branche d'eth- nographie/ethnologie. On y peut ajouter que les recherches dans le domaine de J'ethnographie potestaire—politique a l'Union Sovietique allaient de pair avec l'etude des mentalites de masse par les medievistes sovietiques et l'elaboratlon d'une theorie globale de l'ethnie et en subissaient l'influence.

L'ethnographie potestaire—politique a bien de points communs avec la poll- logie et la sociologie des rapports poiitiques, leurs domaines respectifs sc re- couvrant en partie. Cependant, leur approche a l'objet d'eture est differente.

En particulier, en ethnographic potestaire—politique les rapports de pouvoir et d'autorite sont examines a travers une sphere specialisee de la culture, qu'est la culture potestaire—politique. C'est ce concept-ci qui est a la base du livre present.

La notion centrale de l'ethnographie potestaire—politique est celle du pouvoir, defini en tant que rapport volitif entre les hommes dans le cadre d'une certaine structure socio-economique assurant le maintien de l'integrite de l'organisme social et son fonctionnement normal en tant que systeme se reproduisant. Dans son developpement, le pouvoir constitue, disons, des "paires dialectiques" avec des notions tels la direction, l'administration, l'autorite. D'entree de jeu il est marque par une asymmetrie, i. e. par une inegalite structurelle entre les gouvernants et gouvernes. Dans la mesure ou la societe evolue de la condition pre-classes a celle de classes l'idee de l'ambivalence du pouvoir, de son caractere, benefique et dangereux en meme temps, surgit et s'accroit. Le moment le plus important de l'evolution du pouvoir temoignant de son transformation, du point de vue fonctionnel, en pouvoir politique c'est l'acquisition d'une predominancy par des rapports de domination et de sujelion.

La culture potestaire—politique etant un domaine a part de la culture err general remplit les memes fonctions que cette derniere, a savoir: communicative, significative, normative, protective etc. D'ailleurs dans les societes pre-classes elle ne s'est pas separe d'avec la culture en general; vue sous cet angle, l'evolution d'une culture potestaire vers une culture politique peut etre considere comme une specialisation graduelle mais certaine, de cette sphere, son degagement de la culture syncretique de la societe pre-classes. De meme qu'au developpement de la culture en general, c'est la tradition transmise de generation en generation qui joue un role enorme dans l'evolution de la culture potestaire—politique. Une place importante appartient aussi aux contacts avec d'autres cultures aux confins des areaux ethnoculturels. L'ascendant de tels contacts est renforce au cours de la transition a la culture politique. C'est pourquoi celle-ci est inevitablement composee de plusieurs strates: en dehors de son division de classes elle est ires souvent stratifiee du point de vue ethnique; dans ce cas, les differences ethniques servaient d'ordinaire comme une des formes d'expression des differences de classes.

La realisation des rapports de pouvoir exige le fonctionnement de tout un systeme de mesures et moyens de coercion, physique aussi bien que psychologique, sans quoi un pouvoir quelconque soit impensable. Cela nous fait a regarder de pros les formes les plus repandues de la coercion psychologique. celle-ci etant fondee sur le fait que le fonctionnement de n'importe quel pouvoir ou autorite doit faire les gouvernants et les gouvernes accepter quelques valeurs communes legitimant les rapports de pouvoir. Ce sont la des formes ideologiques proprement dites, c'e.— a—d. la sanction religieuse du pouvoir, son sanction inythologique ou genealogique, de meme que les formes rituelles d'expression des notions ideologiques correspondantes (l'ideologie etant ici une image distordue des realites de la vie sociale) ou les types divers de l'etiquette y compris celle de la parole.

En meme temps, les formes concretes de l'organisation des rapports de pouvoir et d'autorite sont d'un grand interet et doivent etre traitees, en premier lieu, en tant que realisation des etapes successives de l'evolution d'une organisation potestaire a une organisation politique a mesure de constitution d'une-

société de classes. Une telle approche entraîne inévitablement 1111 essai d'analyse des voies de la politogénèse.

La culture potestaire—politique est intimement associée au facteur ethnique du développement de toute société. C'est comme un mécanisme défensif de la culture en général qu'elle contribue au maintien de celle-ci en tant que trait essentiel de l'ethnie. Et, en même temps, elle remplit une fonction de première importance à la réalisation d'une délimitation entre "nous" et "eux", cette délimitation étant en elle-même un des principaux moyens pour assurer le maintien de la culture de l'ethnie en son qualité d'un tout autonome. Et surtout la conscience et l'identité potestaire et politique sont un des éléments les plus actifs de la conscience ethnique.

L'état actuel de la culture potestaire et politique dans les pays du Tiers-monde asiatique et africain résulte d'une interaction assez longue de cultures appartenant aux stades différents de l'évolution socio-économique: culture politique bourgeoise et cultures traditionnelles, potestaires et politiques, des peuples d'anciennes colonies et quasi-colonies. Les caractéristiques des cultures en question étaient, par leur essence, diamétralement opposées: face à plusieurs cultures ethniquement closes et morcelées des colonies fonctionnait une culture politique de classe, presque neutre du point de vue ethnique en ce qui concerne les populations subjuguées — la culture politique du colon. En brisant les cadres des communautés ethnopotestaires et ethnopolitiques des autochtones elle, d'une part, portait atteinte irréparable à la culture traditionnelle, mais, d'autre part, favorisait la formation des prémisses d'une unité anticoloniale de toute la population colonisée non-obstant son appartenance ethnique. Une culture politique coloniale constituée au cours de cette évolution était invariablement composée de deux strates au moins; une telle stratification est dans une large mesure héritée par des nouveaux États apparus en place d'anciennes colonies. C'est vers l'élimination de cette composition à deux strates visant la formation d'unité nationale, fonctionnellement parlant, que sont orientées des nombreuses tentatives des groupes dirigeants des pays en voie de développement de faire appel à la "tradition", soit-elle la théorie musulmane de l'administration publique ou l'idée traditionnelle du chef d'ilal el de ses coutumes socialement nécessaires.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие	3
Введение. Из истории политической этнографии / антропологии	7
Глава 1. Предмет и понятийный аппарат потестарно-политической этнографии	23
Глава 2. Потестарная и политическая культура	42
Глава 3. Потестарная и политическая культура: идеологическое обеспечение отношений властвования	77
Глава 4. Потестарная и политическая культура в реальных проявлениях	114
Глава 5. Потестарно-политическое и этническое – проблема соотношения	164
Глава 6. Традиционная потестарная и политическая культура и современность	190
Примечания	223
Список сокращений	252
Понятийно-терминологический указатель	253
Указатель географических и этнических названий	259
Указатель имен	262
Summary	264
Resume	267

Лев Евгеньевич Куббель

**ОЧЕРКИ
ПОТЕСТАРНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ
ЭТНОГРАФИИ**

*Утверждено к печати
Институтом этнографии им.
И. Н. Миклухо-Маклая
Академии наук СССР*

Редактор *Н. В. Баринова* Младший
редактор *М. С. Грикурова* Художник *А.
П. Дегтярев* Художественный редактор *Э.
Л. Эрман* Технический редактор *Г. А.
Никитина* Корректор *Р. Ш. Чемерис*

ИБ № 16000

Сдано в набор 01.11.87. Подписано к печати 03.03.88. Формат 60X90/16. Бумага типографская № 2. Гарнитура литературная. Печать высокая. Усл. п. л. 17,0. Усл. кр.-отг. 17,0. Уч.-изд. л. 19,95. Тираж 1800 экз. Изд. № 6288. Зак. № 829. Цена 3 р. 40 к.

Ордена Трудового Красного Знамени
издательство «Наука»
Главная редакция восточной литературы
103031, Москва К-31, ул. Жданова, 12/1

3-я типография издательства «Наука»
107143, Москва Б-143, Открытое шоссе, 28